



ЮРИЙ ЛЕЙДЕРМАН

# **ОСТАНАВЛИВАЯ ПОТОКИ**

(Части I-V)

2015 – 2023



*В Украине тем, кого я люблю*



# I ДНЕСТР

Сегодня вечером, мы зайдем за ними. "Джудит! Джудит!" – таков будет крик.

Всего лишь?

Не знаю, края рамы упрямы, но, может, подарят мне еще какого-нибудь малыша, как подарили уже Украину.

При неуклонном отрицании заснеженного Симбирска на это можно надеяться.

"Надеяться всегда можно!" – говорит гнусавый, самодовольный Ширвиндт.

Нет, жопа-Ширвиндт! Надо не просто надеяться, надо молиться, надо пытаться. Занозисты края рамы, упрямы. Ну пусть уж выйдет как выйдет – на этом удаленном рынке, привозе жизни.

Чересполосица, петух, что-то очень киевское. "Украинские заметки" – так можно назвать этот текст, если получится.

А если не получится – "В шуме поездном" назвать.

Совсем ничего не получится – назвать "Шахматы".

Я не знаю, что приятнее – писать или перекрещивать. Перехрещивать. Перехлестывать. Изображение всегда сзади. Оно на дальних поездах. Если получится.

Хотя можно черпать и из никчемной речи, вроде Всеволода Некрасова. Не забывая при этом, конечно, и Блока Александра.

Крошками сдвинуть градусник, и пусть снег идет.

– Что? Где? Где снег идет?

Подслеповатый Сеня Зильберштейн и глуховатый Леня Войцехов идут по Одессе:

– Сеня, ты посмотри какая женщина прошла!

– Где?!

– Что?!

А белый снег акациевого цвета все падает, застилает Одессу, ее садочки, скважины, ставенки. И в полях за Одессой, за городом. Уже нет ни Лени, ни

Сени, только Стасик Подлипский знай себе идет по степи с гитарой, он поет "Ты ж моя краина, ридна Украина...", или "Христос любит тебя!" – поет он, или еще что-нибудь бестолковое, на одни и те же три аккорда. Снег или акациевый цвет заполняет впадинки земли, крошки возгоняют градусник, мыши кота хоронят, ты стоишь в сторонке – будто спишь беспробудным мировым сыном.

Это пространство, в котором ты отвечаешь за битву, за Троянскую войну. Пусть взмыленные кони отнесли ее далеко-далеко, к берегам египетского тумана. Но США тут как тут. Они взяли новый холст, прислонили к стене и уже грунтуют его.

Я не знаю, когда они начали – наверное не так уж и рано, с полудня или даже с фэйф-о-клока. Но холст уже весь в пятнах краски, в клочьях мощных – потрудились и Джексон Поллок, и Филип Гастон. Великие дороги американской депрессии, рузвельтовского курса, ведущие в Мексику. Великие небоскребы, ведущие Рериха в Тибет. Великие лайнеры, переправляющие нас в Париж. Стриж, вечный стриж летает над пирамидами, не дает успокоиться.

Поллок пинает Мемнона ногой:

– Вставай, мой лунный мальчик. Нет, ты не станешь сверчком, ты наденешь поножи и бросишься в бой! Две картины стоят под углом – в них переплетения и схватки. И если даже опять двойку получишь, они утешат тебя своими загадками.

Если одеяло не затвердеет, его на выставку не возьмут.

Только затвердевшие поверх раскладушек войны и мира, вмняемые одеяла, вроде работ Томаса Хиршхорна – их включают в выставки. Хотя и не клей они высшей мудрости, и не ложа богов, лишь оловянные солдатики карабкаются по их склонам.

"Перед лицом цветущего луга – все мы халтурщики", – сказал другой швейцарец, Роберт Вальзер. Перед лицом цветущего дерева, перед лицом сна – все мы тупоконечники, мнящие себя великанами и что-то мялящие про справедливость.

Хоть и мучаемся в наушниках, но гордо говорим: "Для!" – вешаем для крестьян и прочего прекарата, скачем на охоту, этакие синергисты, киношколами руководим и школами кураторов.

Обладал ли Христос разумом? Обладал ли он чувством? А чем обладают шимпанзе, живущие в Уганде?

(Это история про еще одну швейцарку, кураторшу. Вообще-то она была по образованию этолог и уже подыскала себе уже таргетную группу шимпанзе где-то в джунглях Уганды, но тут началась гражданская война, до шимпанзе было не добраться, так что она переключилась на таргетное изучение художников в джунглях современного искусства.)

Мотыльками на подносе неба здесь возникают строчки из Булдакова или Окуджавы: "Кладбищенская калитка уж мучилась уж сапогами..."

А я все сижу сам по себе – буду музыку слушать напрямую. В зазоре неба повидая ости. Мой младший брат Сережа разливает чай на станции Раздельная. И нет стола краше.

И вдруг какой-то отдаленный ход окажется верным! Понимаете ли вы это?!

А есть траву не помешает – вдруг и Христом съешь яблочко.

Я не хочу ужасного в безопасной степени. Если оно легко – пусть остается само по себе, пусть горит. Я не хочу от легкого отдираТЬ клевет-скорлупки.

– Остановитесь! Остановитесь!

Но кто это говорит?

О, этот вопрос извечный: кто говорит, кто поет с балкона, кто нигерийским солдатам приносит песен слова?!

И что значит рефрен петушковый: "А ведь мама была права, матушка была права..."?

– Смотришь на крышу – одень колготки!

А я будто всё не слышу, не слышу! Мне все равно уже: детский он сад или с вишнями.

– Чем ждать такого мороза, не лучше ли прыгнуть с мачты?! – говорили матросы на броненосце "Потемкине", плечом к плечу.

Лишь только боящиеся, замешанные в дела еврейских тлей, говорят: "Одень колготки, стыдись смотреть на крышу – там высоко!" (Уже забыли, как Юдифь снимала колготки – о, эта страшная, розовощекая Юдифь!)

Ставка Вакуленчука – больше, чем жизнь. Это держава, до самой пяточки опущенная в воду, ее расходящиеся лучи.

(Там очень мелко, в гирле Дуная. Чтобы развернуть лодку, кормчий прыгивает, упирается ногами, ему по колено.)

Но вот можно ли решить международные вопросы там, где так мелко?! Международная конференция по Украине в пансионате у дунайского нулевого километра – что она сможет решить?! Впрочем, до этого нет дела Вакуленчуку, для него пяточка – всегда дзеновское отталкивание в темечко, всегда дымящая труба "Потемкина", всегда сияние-сияние, всегда в воде.

Во второй половине дня – когда Муза принимает Удар и становится толще, когда твоя Одесса садится на ягодицы, и дорога в Лес странным образом безлюдна. Банки уже только силишься тянуть, вместо того, чтобы открывать. Большинство, рассевшись по периметру комнаты, травит анек-

доты. Думаю, это безопасно – "Циклон" им все равно не пустят. Пустят узкоколейку.

А сам я буду проводить линии до победного. Пусть знатоки давно уже утверждают, что я только трачу время зря, что белый цвет является нецветом, но ядом. Утешь меня, пятка! Я зайду в бар или лес. Усядусь у стены, но не буду анекдоты. Уж лучше проглочу пуговицу, залью спиртом, чтобы скорее растворить пуговицу. Стена становится стеной, ворота – воротами.

Какой-то результат меня магически в пустыне отметелил. Подошла в трусах женщина деbeatая. А я сам стоял как птица. И только бормотал про себя: "ляжки голые, мясистые...". У печки, у Бога за пазухой, в пустыне египетской...

Ее, женщину, отверг в конце концов.

Так что и не знаю до сих пор: я призван? Отозван? Я – мелкозвон?

Учитель?... где учитель?!

И день восходит в уютном мерзком беспокойстве "так поступают все", и я опять иду в пустыню, школу, детский сад, и женщина в трусах опять магически подходит.

Чем объяснить этот стул, престол мировой, отрицающий всякую подлодку, подземку?

Чем объяснить эти шорох и гам, так никогда и не переходящие в звук? Будто черепашонок Штирлиц в нежности драпировок.

Разве никто не пел в школе "Взвейтесь кострами..."? Пели, конечно, но теперь звук исчезает в актовом зале – нет акустики в актовом зале.

Даже самые отчаянные революционеры начинают забывать, что должно стучать себя в голову, когда оно стучит. Вот и остается на все рыхлый глупейший ответ: "Ничего не понимаю! Мне еще надо об этом подумать!". (Так сказал на открытии выставки Мортон Фельдман своему другу Филипу Гастону, когда тот от абстрактной живописи вернулся к фигуративной.)

Не знаю, может, договориться о швейцарском стуле с длинной резной спинкой?

Чтобы надежда еще трепетала в разрыве утреннем – как шествующая в школу пелеринка.

– Я сделал в высшей степени крутую афишу! – Ленчик Войцехов кричит. Будто сизый медвежонок опять разжимает вежды.

– Но ведь это должно же быть с какой-то задачей! – ему говорят. – Вроде автовокзала, или стальной кисти...!

А что, задача таинственного причала – вас уже не устраивает?! ...В Украине, конечно, в Украине... Всё в просвете, где девичья пелеринка. Мы опять проникаем в дома, где никто не живет. Европа переворачивается на

свой толстенький живот. Отчаянье становится зеркалом ручья, текущей воды.

Не будем пикейными дурачками, у которых слюни летят – ссылки из газет. Лучше пусть прилетит звездолет – Ленчик засовывает руки в карманы макинтоша: "В этих домах никто не живет!"

Это Япония, чистый восторг, восход, вдохновение – загрунтованная пластинка, пляжная подстилка переворачиваются.

Достичь трещины мира, чтобы продолжить. Этакая Сечь, покоящаяся в центре Альп. Нет, несколько ниже центра, на склоне, этакая линза, пизда. Достиг ли я ее? Не уверен. Будущее покажет. Подобно тому, как фокусник не уверен в своих взаимоотношениях с миром. Даже если фокус удачный. Пожалуй, именно удачный фокус далек от этой альпийской пизды.

Кудрявцев, волк я или не волк? Можешь ответить сложненько. Я знаю, раскладушки живописи не могут быть порукой. Мы все в доме несчастном принца, поварята на кухне его. Не Атриды, хоть тоже в сети можем попасть раз в столетие. Но остальное – лишь глупый скрежет поварешек, шипение брызг на раскаленной сковородке... Уснуть, уснуть, и видеть сны – как новогоднюю колбасу. Такая участь, миленький Кудрявцев. Такая наша участь, кудрявится листок.



И шел я и плакал другой стороной, когда мой товарищ прощался со мной.

Части ломая, переставляя, сделал вид мой товарищ, будто войны не было и нет, будто просто "Запад нас наебал". Так сказал мой глупый товарищ, и раму сломал, и переплет.

Значит, не было войны?! И войны со всемирной пошлостью тоже не было? Так что ли, товарищ мой?! Не было Эвереста в переплете? В курином залете? Ну вот ты и сам теперь курица двуглавая, товарищ мой, только мящая себя эскадром летучим. Остался с Москвой. "Ах, ах, Запад наебал наш маленький гороховец", – нахохлился Додон. Подставляй, Додон, спину! Да и вообще не отмоешься, Додон!

Елка у Ивановых, вечер у Кашалота, а все вместе – вроде Гогольфест. Неизбывная дремота курочки в вечеряющих полях. Один участок – с анашой, другой, заросший – с колбасой. Еще под вишней зарыта свинка-золотая щетинка. Все ворочаешься теперь – по-прежнему живой, а заснуть не можешь. Вроде как одел когда-то лапоточки, и теперь в них всю жизнь ходишь. Вроде так заставила Салтычиха.

"Революция вносит пл-а-а-а-ны", – так поет наркоман, так мудак-игровец щелкает фэйсбуком: дескать, надо всего лишь избавиться от совка. Но при этом сохранить дистанцию. Нелепые и скользкие попытки. Да засуньте вы эту дистанцию в жопу своему жан-жаку!

И другое с ранних лет я слышал: "истина где-то посередине" (типа – не у нас, не у американцев, и т.п.)

Лишь теперь, изъездив свет, я знаю: она всегда с краю. Только страшно подумать, сколько буддистских медитаций надо пройти, чтобы взять ее.

Суть цифры – не корчма. Мы едем все дальше. Пусть будут распетые, растягиваемые слова до самых границ мира. Вот она цифра – сколько ты сможешь протянуть букву "а", сколько протянуть букву "е". Надо помнить, что смерть – это тоже конь, отнюдь не прекращение скачки. Все пребывает в растягиваемом на скаку – и это не песок, и даже не Одесса.

Усилил насилие в Газе. Усилил прочую хуйню. Мой маленький пресветлый автобус по-прежнему пробивается через весенний Экибастуз, так что жди теракта. То ли Путин придет арестовать, то ли Толик, то ли вообще не знамо что – какая-нибудь Белая Криница. Очень упрямое желание, вопреки Ницше, не тушить свет в автобусе. Не становиться мразью. Все мы вышли из Африки? Нет, некоторые из зачарованной Америки.

"Будем жить как раньше", – говорит старик.

Скажешь тоже, Толик или Аркадий! Когда регулярно кладешь валидол под язык, много уж не наговоришь. Лишь два круга под насыпью ж/дорожной – видишь ли их?! Подобно абстрактной картине: молчание-Зевс, и лиман, и Сенгай-слепозмейка. Правь парус свой, молчаливый старик! Не пройдешь меж кругами, но править на них в сознании, что ты не пчела и что "завтра" не будет "вчера" – на это всегда ты способен. О, сын мой Овин, о, старик, ты велик и при этом всегда слепозмейка.

Гуси во время длительных перелетов делают не больше четырех взмахов крыльями в минуту. Как достигается подобная эффективность? Гусь летит спиной вперед и валится навзничь, в свое будущее. Может, у гуся есть осознание самого себя, и он чувствует в этот момент какую-то истому, засыпание.

Мне почему-то вспомнилось, как мы ездили с Малышкиными в Одессу в 2010 году, последний раз до того, как все началось. Когда казалось, что самое страшное – это всего лишь то, что я много пью и опрокидываюсь назад. Я писал тогда "Раджпутов", текст об индийских миниатюрах. Странно и вспомнить. Со всей глупостью, со всей отвисшей губой. И последний раз, когда я видел в живых Перца.

- Кто это сделал?! – спрашивает Леня.
- Это сделала Россия!
- Что сделала Россия?! Да у нас уже два года не могут... то да сё... газ какой-то подключить...
- И все равно, это сделала Россия!
- Как же быть теперь?!
- Избрать неосновной путь. Скажем, сделать твою книжку. Украсить стебельками букву М. Как это делал в Праге Карел Малих. Он, впрочем, называл себя "визионером". Нас с тобой, Ленчик, не назовут "визионерами". Мы лишь сеточки и пояса этого дурацкого мира.
- Пояса на животике жирного Ройтбурда?
- Пусть бы и так. Колпак дурака несменяемый тоже нужен, потому что какая без него коррида, – спроси хоть у Гойи!

Маньяско – это проникновение и порог. Предельная открытость жеста – но ты не можешь за нее пройти. Сгустки фигур a la prima. Когда экспрессия колышется стеной, закрывающей суть. Ты смотришь и видишь угол рта, как два холста, приставленные друг к другу. Ну что же, хочешь исполнить – исполняй! Я буду смотреть на тебя примерно в течение десяти дней.

Можно сфокусироваться на белых ключьях Маньяско. Можно сфокусироваться на красных плащах икон. Там, где много народу – битва новгородцев с суздальцами. Можно сфокусироваться даже на трюке Тернера – чтобы убить соседнюю картину Констебля с красномундирными солдатами, он пририсовал на своей марине такого же цвета ярко-красный буй.

Я первый раз увидел репродукцию Маньяско в той жалкой книжице "Сокровища музеев Одессы". Что там было еще? Саркофаг фараонши Нети-туведзет-Ахет, если я более-менее правильно запомнил ее имя... Танагрская статуэтка – они есть в каждом античном собрании. Это из Археологического Музея. Из Музея Западного и Восточного искусства – "Лука" Франса Хальса, прославленный фильмом "Возвращение святого Луки". Караваджо, естественно. Из Художественного Музея – Костанди, и один из вариантов "Петр I в Монплезире" Серова. Как он мучился с этим сюжетом: Петр I выглядывает в окно – то самое, которое он прорубил в Европу. И что он в нем видит? И что происходит с ним? Его руки – как отрубленные по локоть. Его хуй, по легенде, засунутый в ботфорт. "Любопытной Варваре нос оторвали", – говорит пр-т Путин и отправляется на святки в очередную синагогу. Жесткач, жесткач, звездной канителью обитый Петербург, дождями омытая Одесса. А слезами кто умоется, матушка?

Хочешь, Наташа, я буду каждый день покупать тебе коня?

Хочешь, я буду покупать тебе слона?

Хочешь, я куплю тебе курочку на вершине колумбария? Она несет белые яички. В нишах колумбария черные тычки.

Хочешь, мы слезами умоемся?

Мы все слезами умоемся?

Мои занятия живописью имеют примерно такое же отношение к ней, как бенедиктинцы к св. Бенедикту. Или, точнее, ликер бенедиктин, зелье – к св. Бенедикту. Однако его можно пить. Эта фраза звучит очень в духе патафизики. Недаром вся махина дюшановского "Большого Стекла" управляется движениями "бутылки бенедиктина с переменной плотностью". Собор с переменной плотностью. Или икона с переменной плотностью. Не так ли следует думать о живописи вообще? Как о некоем и неуклонном "вообще" с переменной плотностью?

У осаждения пыли могут быть разные модусы: забвение, скорбь, посыпание пеплом. Но может быть и как на фотографии "Большого Стекла" Ман Рэя – марсианские каналы, улыбка Джоконды.

Истощение Поллока: ему животных уж не рисовать, только рожи, заклинающие близостью к синематографу. Разъехались индейцы и колдуны, опадает пухлая жирафья стать, дети забираются под стул в страхе грозы, и дриппинг возвращает нас к кадке с фикусом.



И пусть нам улица и фонарь поют, что исхода нет, "все будет так, как я хотел", – вот и сказал матрос, "в самом белом и нежном саване", и красной лентой мне подмигнул, устало за стол присев. И я видел опять корабли, корабли – от самого "вчера" они застилают горизонт, вот и прошла Москва.

Чешуей горят поутру щиты в долине Скамандра. Что делать, жизнь – всегда красно-мясной мавзолей, коробочкой на боку. Вертявая, вшивая девчонка-блядь-цыганка идет по улице. Старик Дарвин крадется отпереть засов, ему помогают Энгельс и этот, как его, Дьюи. Круговерть пустоты в степи или у моря, полупрозрачный саван, мешающий вещи с пространством и ветром.

Два слова, понуждаемые мировой несправедливостью, и оба на букву "Р". Революция – это "месть оскорбленной истории", Родина – это когда ее не замечаешь, вглядываешься в промельк воды, ветку сирени... Этакое рычание звезд, в кварту, квинту, октаву. Иногда в диссонанс – ох уж этот дядя Ленин, додекафонист. Ну да, авангардная симфония концлагерей на фоне тональностей Моцарта-Маркса.

"И целовал повстанец смелый ладони этих смуглых рук..." На фоне, слегка напоминающем желтый, гогеновский, таитянский, слегка разбавленный мочой. Свести Сезанна с Гогеном в разбавленном волчьем вое путем развевающихся флагов.

Перепоисанный какой-то лентой, подпоясанный – пусть будет в нем нечто иконическое и стигматы. Главная тема Сезанна – дать эрос как формулу мира – в "Больших купальщицах", но также и в яблоке, и в горе Виктуар. Пропевень о проросли мировой – Филонов, Фрипулья, Днестр и Днепр.

Не знаю, только ли я заметил в "Купальщицах" абрисы восставших? А также в зеленоватом бору.

Там, где желание соединяется с правосудием, с законом, который приходит и уходит, а мы все ждем по щиколотку в воде, тщетно ждем постоянства. Прудон и Маркс алчут постоянства – но Сезанн грудасто глядит на них из зеленых боров или поверх яблок. Такое отчаяние, такая гордость.

Если представить себе рисование просто как повод что-то сказать. Если представить его как высунутый язычок мира, повод, поддон, пестик, пыльцу футбольных полей.

Прибой играет сам с собой в камушки, в "веришь – не веришь". Забавно и странно, что мы должны повторять эту игру.

"Холостяк перемальвает свой шоколад". Холостяк уходит, но куда?! Туда, где оборванный лот и вечный зной? Придурочный опыт – вроде пота зимой. Придурочный очаг, натянутые провода, птицы.

Существа взгляда – все время изображать их. Это безпонтные существа. Избавиться от московских понтов. Избавиться от ручья. Нет ручья, что стремится из прошлого к западу – поэтому всюду ты увидишь ручей.



Голова Орфея, которая у меня началась как портрет Ивана Франка, с его национальным галстуком-стричкой. Перевернувшись горизонтально и поплыв, он стал головой Орфея. А потом – и моей собственной. История Орфея, растерзанного архаичными поселянками. Ум и воображение любого поэта стремятся к народному, но в результате остается лишь оторванная голова, плывущая неведомо куда, повязанная бессмысленно длинными лентами народного орнамента – то ли галстуком, то ли удавкой.

Надо нагружать их лица какими-то орнаментами-горошинами, разноцветными крестиками – чтобы были они как бомбы веселые в ночи. Чтобы картины отличались от "картинок", чтобы они были увещанием или смутным делом. Надо создать соперника. Вроде застенка, пыточного подвала под Москвой. Или библиотеки Ивана Грозного.

Я нарисую портрет Пушкина. Я приложу к нему фотографии Зиновьева, Рыкова, Каменева, Бухарина. На лоб, на бровь, еще куда-то. "Вот интересно, куда он приложит ко мне Бухарина?" – думает Пушкин.

Да, глазомер у меня уже не тот, и не тот утвердительный падеж. Но по

дороге идет караван – еловые ветви под копытами верблюдов. Сейчас, сейчас – мне надо выбежать на улицу, я прикуплю вина в караване. Ах, Новый Год, Новый Год!

Канули – со значением "ушедшие безвозвратно". Камин – со значением "дальняя грудь". Венец – втирая в венец, дескать, обоим приятно. Но это ошибка.

Звонок мира в шкурочном бреде. Хочется выйти в поле испить водицы. Заодно грезится какое-то уничтожение жужелиц и саранчи. "Обоим приятно", – по-прежнему твердят волхвы. Но это не так.

Хочется-перехочется – зашнуруй роток. Бабка, гадалка, скалка, песик. Жгучая молва по ободу колеса. Девочка Тоня у обода колодца. Никто и не сделает, если не попросишь. Сырники, рыбы. Тяжелое время надежд, передежа и бессониц, не узнавания братом брата. Чернавка, о, чернавка, принеси уж свое сморщенное яблочко – пусть надышится царевна, чтобы пошла к черту. Утомление сродни приятию. Заросли, заросли до рассвета. Гибкие, тугие.

"Нам нужен Фома Непобедимый!" – так размышляет председатель премии им. Андрея Белого. А, может, им нужна Дарья Многостаночница? Тоже ведь грантов немало она получила, хоть и застряла теперь где-то в деревне, на росистой траве.

Кляча оборачивает ко мне свою розовую голову: " Думай – не думай, а не поймешь усатое время!"

Ну я уж и не думаю – плохо закончится все, невзирая на стяги, несмотря на уменьье венцов так ловко вставляться друг в друга, несмотря на доктрины.

Наследие, наследство, о, дяденька!

Цветы повилики, пазухи, колени.

"Обоим приятно", – говорит веревка. Она еще не знает тьмы превращений. Это мальчик закладывает ее ловко – скажем, за обод щеколды или чего-то в таком роде. Ждать, просто ждать дома – зная, что никто не войдет в сени, в тот гулкий проулок, где каштаны и песнопенья.

О, языческие превращения, о, дружок мой Робинзон Крузо!

Движения белых стягов – предводительствуемый ими я вышел на берег моря. Я видел разнообразные свидетельства о рождении, хоть и все они были выданы моим собственным отцом. Лерка-забияка (девочка была такая) махала кулаками меж стволов вишен. В полутьме или, может быть, просто в японской живописи. Я чувствовал усталость, но какие-то поцы с мешками все кричали, что надо проявлять стойкость. По краю белого и белесого я вышел на берег лимана.

Или стоило все же пойти домой? Заглядывая по пути в лица людей с выражением "плюнуть в морду"? В любом случае мы далеко не уйдем, и новостей будет немного. Фехтование, как всегда, назначено на десять часов вечера, и офицер разговорится. Существование сетчатых основ мира уже достаточно закреплено. Мы проведем розыски по всем странам мира. Мы всё разыщем – при одном условии... Только вот знать бы еще, при каком!

По сути, мне интересны только листовенные разводы по краям, а то что в центре – лишь повод для них, и его смысловое наполнение может все уменьшаться, уменьшаться. Выпуклые образы только мешают, лучше – какие-то сгустки-пельмени. Или я сам – далекой точкой в пустыне, в песках, в берлинской пустоши. Или несколько кружков и линий, накарябанных карандашом.

Если поэт думает об историческом времени, в котором он живет, как о каком-то особом времени – он кончен, он может идти есть суп.

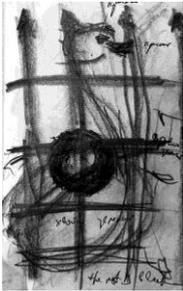
Впрочем сейчас, редактируя, я в этом уже не уверен.

Скорее, наверное так: он кончен как поэт, и именно поэтому он продолжает быть поэтом.

А суп ему только грезится – супа все равно никто не даст.

Какой-то какаду. На бегу втыкаю в него перья, которые могут оказаться моими собственными.

А он все щебечет: "За мир! За мир!"



Это всего лишь пара выдохов – я всегда на стороне потерпевших (фиаско). Но вместе с тем легкая упорность жизни, не хранящая, но пробивающаяся здесь и там корнями деревьев, стебельками травы, норками. Этот ужас, обрачивающийся легкостью, и наоборот: легкость, образуемая чудовищной стиснутостью и всесвязуемостью.

Я хочу действительно понять, что стоит за человеком-обличителем, а что – за зверушкой. И какая между ними разница.

Петр Первый засовывает хуй в сапог и подходит к окну в домике Мон-плезир, вглядывается в утро туманное. Петербурга еще нет. Да я и сам не собиратель, не фольклорист. Просто украшаю вышивкой пояс Рембо. Тот, в котором он таскал червонцы. Биографы не знают, сколько их было всего, и удалось ли ему все-таки подзаработать.

"Полосы" Мазервелла – в чем прелесть этих работ? В закрашивании. Каждый участок холста был перекрыт по несколько раз. Ты не можешь воспроизвести это просто так, стилем. Потому что стиль замещен достоинством, раздачей – не жалеть ни времени, ни краски. Этой любовной

и презиращей себя вовлеченностью. Меня нет – но я же стремлюсь к просветлению. Формула хинаяны. Достоинство пролиферации. Но и, конечно, все равно где-нибудь поверх этого великолепный, матросский, не рассуждающий мазок-бросок.

И он же – неуверенный, не знающий, презиращий себя. Не щеголеватый жест Пикассо – стиль поверх стилей, манера поверх манер. Но жест, идущий куда-то внутрь манерности, не знающий, где ему приткнуться, и при этом не теряющий своей покачивающейся веселости. Восторг и хрупкая жалось колеблющейся, не знающей себя ветки.

## КРАТКИЙ АНАЛИЗ ФИЛЬМА ВАН ДЕР КЕЙКЕНА



Антивоенная демонстрация. Антиамериканская... Взгляды, в которых порой не видишь ничего, кроме тупого самоуверенного нарциссизма. Две минуты прошло. Дождь, поле, степь, ржавые ворота. Я против них всех – во славу степи и неба.

Они борются за права – "вообще права", западло ведь бороться за личные права. А жива ли белочка, права ли?

Знамена – белочки, и, если борешься за права, любое знамя – звездополосатое, конфедератское – становится упрямой белочкой-мамой. Или упрямым шоссе по утрам, и там все ездит одинокий автомобиль. Порой страшное чувство, что он ездит по кругу, но гонишь, гонишь эту мысль...

Взлетает ворона, играет рок-музыка, щебет ребенка – белочка-красуня в своем зеленом лесу. Я прохожу – но хочу проходить, не проходя – потому вздымаю флаг и тоже борюсь "за права".



Дети, футбол, самокаты. Целуются взасос. Седьмая минута. Узоры на стенах, поцелуи, картины и живопись играют важную роль...

Потом идет размежевание – те, кто больше смотрит на узоры и развеивание флагов, и те, кто догматически обсасывает пуделя-борьбу. Поцелуев ведь всем не достанет – это Сатурн.

Кроме того, есть еще офисные служащие, планктон.

Такая диспозиция. Даже не знаю, что тут еще можно сказать. А-а, вспомнил! Есть еще городские сумасшедшие и старческий маразм. Это тоже находится в какой-то связи с картинами и живописью – связь, которую я еще не выяснил до конца. А когда выясню, уже ничего не смогу про это рассказать. Это останется загадкой – впрочем совершенно ненужной для тех, кто борется "за права".

Я думаю, Тициан кое-что знал об этом – из тех, которые все-таки смогли рассказать.

И это не отменяет факта, что когда я сейчас смотрю на кадры антивоенных демонстраций, мне зачастую хочется вломить всем этим недоумкам пизды. На стороне полиции. Тициан безусловно кое-что знал и об этом, и даже смог рассказать.

Но все-таки есть в 60-х какое-то ожидание. Я сам живу с того времени и по-прежнему чего-то жду. Свет дымчатый, ольховый, свет белочки в лесу.

На 13-й минуте они просто записывают шум моря. Или белый шум телевизора.

И еще, никогда не надо забывать про "Аполлон"! Суки левенькие, никогда не надо забывать про 20 июля 1969 года! Они завезли туда все пагоды. Вот-вот, да здравствует Луна-Республика! Луна-Полиция-Республика!

"А что американцы делают во Вьетнаме?!" Действительно, а что же, аицин паровоз, американцы делают во Вьетнаме? "Джонсон – ублюдок, Джонсон – ублюдок!", "Руки прочь от Вьетнама!" Да отъебитесь, муравьи! Какие у вас кожаные курточки! И сапожки. Как вы прихорашиваетесь, я же вижу! Трехполовинное сословие, лето любви.



На первом же упоминании о Тициане следовало закончить, это было бы вполне аккордно. Но фильм-то еще идет, я вижу: осталось добрых 20 минут. Которые мне бы хотелось заполнить сугубо мечтами, но это невозможно. Или воспоминаниями – но это никому не интересно, в том числе и мне самому. Здесь можно было бы перейти на мелкий шрифт.

Вроде как море. Появляется море – оно "лечит", так всегда говорят. Еще бы, это не гора, карабкаться не надо. А я будто всю жизнь пытался вскарабкаться на эту маленькую дурацкую Чумку у нас в Одессе. Там наверху, говорят, нет ничего интересного, автобаза какая-то. Но столько лет проезжал мимо на автобусе, мог бы сойти и взглянуть – пять минут хода. Греется у очага. Воспоминания все-таки поканали. Еще 11 минут осталось. "Люди, я любил вас, будьте бдительны", – это раз. По-прежнему играет рок-музыка – это два. Печка, или как там ее, со всеми неприличными южнославянскими коннотациями, – это три.

Кроме того, некоторых моих друзей очень заботит тот факт, что правые тоже маршируют. Неонацисты там всякие, факелы. Даже не знаю, что сказать по этому поводу. Ну вроде как дымный мерцающий свет на заднем плане "Пастуха и нимфы". Тициан безусловно много знал об этом. Хотя дело все-таки не в заднем плане. Эгоизм, или даже похуизм? Но я по-прежнему слежу за белочкой, я призван следить исключительно за белочкой в зеленом лесу.

Не кричать: "Вьетнам! Вьетнам!" – но выйти к созерцанию чистого оттенка! Когда-то я называл это "геопоэтикой". Относиться к стране как к

этой вот ветке (особенно если относишься к себе как к непонятному морю).



"Стрален де сонц" ("великолепие солнца"), – орет он тем временем, нацепив на себя очередную дурацкую хипповскую шляпу. Потом начинает эякулировать эту фразу с убыстрением в этакий электронный музыкальный авангард. Что ему еще остается?!

Они причепурились, обнялись и улеглись на пол – антиамериканская демонстрация. Или напились, улеглись на пол и кричат: "Долой мещанство!" – мы тоже так когда-то делали с Димой Гильбурдом и Сашей Погребинским.

Еще 14 минут. Они по-прежнему валяют дурака и играют в Иисуса Христа. Или клоуна – довольно меткое наблюдение этого самого ван дер Кейкена.

Женщины носили шиньоны. Моя мама тоже носила шиньон.

И, о господи, они еще несут портреты Че Гевары. Что можно сказать об интеллекте людей, носящихся с Че Геварой?! Впрочем, мое-то какое дело.

Какая-то Y-образная штука торчит из окна (41-я минута).

И бытовые шорохи за кадром. Пошел наплыв. О, какой наплыв пошел мощный!

Каролино-Бугаз, солнечная картинка с другой стороны гольбейновского "Амбассадора". Анаморфоза – наше спасение. Имена стран под сенью девушек в цвету. Под сенью белочек в лесу. Шкурка белочки распластанная в переулке. В ожидании того, по отношению к чему вся наша жизнь является анаморфозой. Расползание, идиотизм – еды, камней, гор. За солнечной картинкой. Награда самоубийцам, что проваливаются туда с треснувшим черепом.

Еще 4 минуты. Распахнутые окна – в любом случае надо соблюдать систему распахнутых окон, коммунитарность. Или не надо? Вот бутылка водки, скажем... Две минуты. Наверное мне стоило провести их в медитации. Но если за всю жизнь не научился, так что уж теперь. Прищурившись наблюдаю флаги. Ого, уже пошли титры. Это там, где меня уже нет.

\* \* \*

"Я уже отдохнул, я уже отдохнул!" – кричит Вах и убегает. Странно только, что это такое плашмя прижато к его лбу и свисает? Образ-время? Аканф-револьвер?

Захотелось стать неистовым поэтом, вроде Тиля Уленшпигеля. Ну и что?! Вот написал, например: "Пусть несчастное солнце сгорает дотла!" Так потом все равно же приписал: "ванночка!"

Путешествие в старость, в распад, в разорванные фразы – как последнее путешествие. В крошащееся (само)увещевание.

Нет, бывает, когда стелют мягко. Тебе говорят, например: "Сказка ложь, да в ней намек". И ты понимаешь, что должен идти и сеять намек. Правда, всегда есть опасность, что сеешь ложь.

Очень жалко детей. Мои картины показывают, что нет разницы между "сражаться" и "подчиняться".

На самом деле, я так не думаю. Но мои картины могут показывать это именно так.

"Полис" – это место. "Политика" – это про тех, у которых есть место. Настоящее. У очень многих живущих в городах нет места. У правильных левых художников – нет места в скукоженности города. У странствующего по равнине, пьяного и шатающегося, есть место, хотя он всякий раз покидает его. Место, где можно споткнуться и упасть, унижить свой глаз вровень с травой.

Хотя скромные товарищи ойкумены всё соединяют нас с окрестностями труб, по периметру крыш. И тоже слава богу – а то мы давно бы уже перешли в огни святого Эльма.

Текст – это шлем, который воздвигается в своем льду или в своей мореходке. Но шлем служит для защиты головы в битве... А если он может быть одним, другим, разным – то зачем он тогда нужен?!

Каждый из нас является не зрителем, но, скорее, Духом зрителя. Однако хорошо, чтобы этот Дух был все-таки человеческим, а не сброшенным нам откуда-то сверху – с правильной бородкой.

Торжество бедности. Рисование маслом на бумаге, как Филонов. Я наношу пять слоев грунта и иду по бывшей ул. Ленина – мимо кинотеатра, мимо магазина канцтоваров, мимо детского сада. Или я наношу всего два слоя и иду по другой, тенистой стороне, мимо почты, магазина обуви и молочного магазина.

Щебечущая ярость колпаков.

Длинное обгоревшее лицо солдата. Он все горел и горел в танке, а люди разных вер носили ему противоожоговое снадобье.

Пацаны, дайте сигарету!

Какие-то напластования, пытаешься засунуть ногу в стремя, но не можешь его нащупать.

А дальше ничего не разберешь: движутся маленькие Толстые и маленькие Тицианы, держат они стремя или не держат...

Даже старичка, чтобы бил в рельс и выключил свет, никто не удосужится поднять.

Гуляли по Венеции с Погребинским и Гильбурдом, зимой, вдоль темнеющего канала. Я рассказывал им про акварели Тернера и про то, что Венеция именовала себя "Серениссима". Красные лапки гусей все еще свисали в блеске, но летать они уже не могли, тела их – просто куча перьев бессмысленная.

Вид из северного окна на пустоши Ближних Мельниц, где снег покрывает сухие травы, и только вдаль светится телебашня.

Именно этот план я держал в голове, когда писал "Диму Булычева". Правда, я смотрел на него через картину Роберта Пика-старшего из "Метрополитена", там принц Уэльский и его друг детства, Джон Харингтон, на охоте, с загнанным оленем, они оба умрут молодыми, и маленький герб на холсте, как светящееся окошко на ул. Пушкинской.

И еще: "Взгляни в окно на равнину, там Буцефал погибает в снегах".

И еще: "По всей равнине Сано снежный холодный вечер".

И еще: "Уже не тая, на щеки и лоб падал снег, падал снег". Это стихи про дружинника, который не отступил перед бандитом. Мы читали их в студии телевидения, как раз у подножия телебашни, холодным зимним вечером.

Проблема в том, что никто не знает, как выстроить игру в районе щек: "их щеки запавшие", "их щеки выпуклые", "ветром надувшиеся", "круглые"...? Вопрос молодогвардейцев, Ал. Грина, "Гренады" и пр. А мы тем временем опять поем: "Что же делать подростку еврейскому, забитому?...". Что же все-таки делают художники в ответ на поставленную задачу? Когда ледокол "Микешин" медленно приближается к устью Лены.

Я часто использую религиозные мотивы, поскольку меня интересует орнаментализация того, что в общем-то орнаментализации не поддается (экспрессия, случайность). А религия как раз и есть форма орнаментализации чего-то внеположного – "духовного", "небесного", трансцендентного".

Ну да ладно... А вот не хочешь ли принять участие в путешествии по Исландии, вместе с академиком Стеблин-Каменским? И Арона Яковлевича Гуревича, специалиста по средневековой культуре, с собой возьмем. Ведь Стеблин-Каменский – он щедрый, он в родстве с Бантыш-Каменским.

Воспоминания о севере, о ездовых упряжках, о рассветах-закатах над тундрой, о жирной оленине, жарящейся на костре – о том, чего не было.

Вся жизнь – это воспоминание, внутреннее созерцание расходящихся световых режимов, маленькая световая мура, незачемная, не реализуемая, мелькающая у меня в голове и рушащаяся в небытие. Однако все остальное, более актуальное, вменяемое – все мои картины, тексты, перипетии жизни – они ничто перед ней. Они как большая пена в лучиках фонарей.

Есть в истории человечества какие-то самые странные для меня, самые великолепные и загадочные концепты.

Например, христианский концепт Троицы.

Или идея Делеза о том, что Вечное Возвращение есть всегда возвращение Другого, а То Же Самое гибнет под его колесами.

Или фраза Агамбена, что человек это не "возможность быть", но "возможность не "не быть".

В истории живописи подобного рода странный, притягательный, но так и не понимаемый мной концепт – "сделанная картина" Филонова. Что это значит? Картина, каждым своим элементом, зернышком сделанная и продуманная? Или кубистическое совмещение разных ракурсов взора? Или неуклонная концентрация памяти? (Подобно тому, как Гастон сказал своей дочке: "Если ты ни о чем не думала, когда закрашивала этот фон – это не живопись, моя дорогая!") Или и то, и другое, и третье вместе?

Так он рисует через раз, так он рисует через два, и нет дворника, который сказал бы ему: "Погоди!". По-прежнему в каждом узелке ему мерещатся выставки. Уже песок в глазах и пыль в мыслях, сплошное "оп-ля!" кружится в пажитях, а он всё рисует, дурачок, листы раскладывает в ряд, как солдат, спящий на раскладушке, и кнопит это бедлам к углам и стенам.

Каждую ночь он видит в храмах сонмище балерин, и вдова-Ариадна все так же не прочь произнести для него проповедь на пару часов. Порой на ней платок, порой – плат или рогатая кика, а то и вовсе непонятный, закрученный мусульманский головной убор, прикрывающий росток Рамаллы.

Гренадер неизвестной организации, иди прочь из моего рассказа! Пусть будет только железная дорога, зализныця, линия "Киев-Кайфын" в шероховатой рамке. Я писал о ней когда-то давно, еще в московском метро, засыпая и помаргивая, это линия и/ы – как линия ускорения в шорохе лаковом.

И пусть солнце сияет своим "alas!" на мою лошадиною лысину, а каждый стакан требует "repeat!", и пусть свая пароходная становится стеной, а этот пар клубится вверх и не опадает, эллинские боги, индуистские, боги лошадиные – кто их разберет! Стакан, свая деревенская, гладкий индуистский живот, пассажир без места. Мы можем искать истину на Луне или на Венере, но, все равно, путешествуем только на Земле, а Венеру видим лишь боковым взором в порядке путешествия.

Люди, расходясь по одиночке, всегда должны быть готовы, что мир будет издеваться над ними. Люди, оставаясь вместе, всегда должны быть готовы, что будут издеваться друг над другом.

А мне все грезятся минойские дворцы, где нет "снаружи" – одно "внутри". Их комнаты, пронизанные светом, как предвестие функциональной архитектуры. Это интернациональный стиль, это Черемушки, поребрики

Черемушек, лысина Хрущева. Их фрески – трепет руки подростка в боксерской перчатке, медальон на груди, корсажи, открывающие грудь, ласточки и анемоны.

Когда я слышу голоса играющих детей, их лепет – как раздробить его, перевести в событие? Как венчик анемона-цветка, голова лошади или быка, осиянная кручами гор, солома, сигарета, прыжок в незнание через быка.



Каждое событие всегда абсолютно ясно. Смутным оно становится только потому, что мы пытаемся вписать его в "большую" цепь других событий.

Жить дальше, изображать горы, озера, круглые лепестки или лепестки продолговатые, копытце коня, вступающее в "ледяную расчерченность". Ну да, а что еще остается?!

Я рассматривал свою собственную выставку: узкий фриз под потолком, а там всё рыбы, рыбы, потом – какие-то динозавры в небрежном нон-финитном стиле. Я хотел таким же образом подрисовать туда весь наш класс, но вспоминались почему-то только девочки: Родимова, Данилова...

Эти всхлипы народного, камешки, семечки, они бьют сапожками, как посох Моисеев плясать обернувшийся. Перепляс звериной бесконечности: Стравинский, Сталин, Брежнев...

Так же пяточкой или носком мягкого сапожка они ударят тебя по виску, будешь валяться в траве-повилике, наблюдая сплетение нитей. Вроде огни ракетных дюз, сопригнанные в какое-то чудовищное коло. Этого не хватало мне всю жизнь – чтобы Марк Ротко и дети в вышиванках, и ракеты-хитоны с народном орнаментом.

Куреты танцевали и били копьями о щиты перед пещерой, когда малютка Зевс мочил пеленки и плакал, – дабы не услышал Сатурн, и потом, когда Зевс вырастет, чтобы он сам посылал ракеты на Сатурн. Я был там, над плато Ниды, у пещеры, где родился Зевс. Пастухи потягивали ракию и рассматривали в бинокли на свои стада пасущихся внизу овец. Пастушеские дела – когда-то, когда еще не было биноклей, они совершали привороты ударами бичей. Или поездками к девушке по имени Солнце.

– Здравствуйте, здравствуйте, – двери открываются, и круглолицая девушка заглядывает, – вот, знакомьтесь, я Зося Тараканова!

Кружатся, кружатся созвездия над моей головой.

Вновь и вновь, откидывая пяточку, мы начинаем с носка – в том-то и есть народность, моя и твоя. Вплоть до народности волка.

Или я смотрю из окна общежития на Планерной. Мне подарили там репродукцию картины Ротко, вырванную из журнала "Америка". И вот уже сорок лет она кочует со мной, и я все пытаюсь свести ее к некоему народ-

ному орнаменту, будто квадратуру круга решаю – через знамена пытался, и через невозможную красноармейскую гимнастерку отца Анны Франк, и через пятна сырости на стенах родных городов.

Что общего между Ротко и народным орнаментом? Эта тягучая неухватываемость родины?

Силишься заглянуть под кружащиеся юбки танцорок – только тщетно, там все хорошо пригнано, ничего не увидишь.

Но уникальность мотива в том, что все слабеет холст и провисает.

Так я все кручусь в ракурсах народного или анти-народного, в этих неминуемых ракурсах кацо-колесо, я грежу о какой-то запредельной народной патафизике – поворот живописный, балетный, земной.

Когда-то с Васей Кондратьевым мы хотели провести учредительное заседание Русского Патафизического Общества вокруг партитуры балета "Сильфида", насаженной на огромную друзу горного хрусталя из петербургского музея Горного института. Пересечения партитурных стрелок с гранями кристаллов дало бы изначальное число членов-учредителей.

Но Васи нет, и я остался наедине с этими невъебанными народными – белорусскими, украинскими, молдавскими – танцами. Спасая принцессу Повилику. Топчет конь мой всякий жмых и зной каролино-бугазский. Рас-топырив руки держу, как на пяльцах, танец народный. Безумие недоступно – так хоть заместим его танцем круговым, с мелкотравчатым замиранием сердца будем ждать пацанов с топориками.

– Ебет ли Гитлер перепелочку – в диапазонах терца, кварта, квинта? – Ебет!

– Ебет ли Сталин перепелочку – в диапазоне октава, где все проваливается в сортир безродный, коммунальный? Кальсоны Сталина – завеса в храме Иерусалимском, все никак не порванная плева, омфал, пупок.

– Ебет ли Брежнев перепелочку? В диапазонах микротональных, как Мортон Фельдман и Харри Партч, биенье лаковых сапожек. И Чехов, и Чехов, конечно.

Смеркается, деревья стонут обледенелой корой после дождя, сменившегося внезапным похолоданием, что твоя педаль у пианино, завтра наебнутся все провода, и, бог даст, отменят занятия в школах. Все равно, правда, придется зубрить английский для урока с приватным учителем. Синева, ультрамарин сгущаются над морем. Я всю жизнь тщуся заглянуть ей под юбку, этой народной танцорке, но край юбки мечется, и я с отчаяньем подростковым думаю: неужто так оно пребудет веки.

Песня Карпат вперемешку с песней Привоза. Жили-были три брата: Зной, Гной и Козел. Все они были желтыми. Их дядя был Броненосец Потемкин. Здесь отчаявшийся дядя Леви-Стросс умолкает – это примерно как

взять "еб твою мать!" и заложить его бревнами, дранкой, паркетом, циклевкой, двухкомнатной хрущевкой.

Кажется, я уже многое прояснил, и даже то, что можно прояснить только с разорванным сердцем. Но Вера и Тоня у колодца по-прежнему остаются непроясненными. Добрая Вера и красивая Тоня. Как же встроить это в перья на шляпах и в кобзарей? Вот почему я с надеждой продолжаю смотреть народные танцы. Собственно говоря, это уже такой уровень (старости), что получится, не получится – я не виноват. Значит, танец не захватил меня, не захватил меня братец Горный Козел. Захватила Перестройка. Ладно, помашу Чжуан-цзы с соседней вершины уже в следующем перерождении. Северное путешествие Знания на юг пока еще продолжается. На Юго-запад. Я вот до сих пор не знаю, стоит ли насиловать Событие. Смотрю на него как пятилетний мальчик на Тоню и Веру у колодца.

Редкостная синхронность жизни меня поражает. Смотрю на нее как на те же пятиэтажки бесконечные, от Киева до Еревана. Мню себя озером Севан.

Они выходят рядами. Господи, какая пустота! Если бы я знал, что в том паркете на Черемушках окажется такая пустота! В старых половицах на улице Пушкинской в центре города – тоже. Броуновский танец молекул по сравнению с этим кажется поэмой Пушкина. Пятиэтажки панельные сменяются девятиэтажками, и только. Одесса сменяется Киевом. Или Киевом сменяется Москва.

Я все равно удален от Тони и Веры у колодца на целую Вселенную. На целый Кабачок Тринадцать Стульев.

"Иквэл! Иквэл!" – кричит мне какой-то голос. "Сельская честь", – кричит мне какой-то Масканья. Какой-то Франко кричит мне – я уже сам не могу разобрать, что. Таинственный Остров кричит мне эполетами и премиями. (Таинственный Ноздрев)

И это мой метод писания "врозь" – тоже своего рода танец, распальцовка. "Все что завоевано на войне, должно быть растрчено пением и танцами".

Несчастный Шлёма, он никого не завоевал, но все танцует в своей мазанке, заложив руки в проймы жилета.

Или запрокидываешь голову и льешь в глотку родное вино. Или делаешь вид, что льешь.

Только хотел начать бой с Арафатом – а сабля уже несется, как по улицам Бердичева.

Скачет, скачет агроном.

Будет маме холодно – ах, неси ватрушки!

Кто-то еще раз подстригся, кто-то ушел под мост – шизей, шизей дальше, иди в три кустика страха, пусть там и будет тебе погост. Маленькая бес- смертная Вифиния в белом венчике из звезд ершистых. Не захотел войти в

историю из-за ненависти к коммунистам – будешь мести бородой углы лепрозория дешевым игрушечным танком, даже не фашистом. Опять пропевень о проросли мировой – не захотел муравьишкой бежать в атаку, ну и будешь теперь вспоминать Брежнева и в углах гнусных по-стариковски жевать капустку с сахаром.

Ну хорошо, ты – ветка, или не ветка? И как жить в этой пыли кустов? Будь то уголь Донбасса, или когда матушка подметает двор. Будь то кровь в расстрельных ямах или на костяшках после первой драки. А история ведь не куст – вихрь, зной, Агамемнон – не советский инженер. Так что же делать инженеру, в джемперке с ромбами, "что же делать подростку еврейскому забитому", и т.д....?

Бежит, бежит Гемера дикая по окрестностям Афин, там тебе пчелы, там и зубчики.

Ты со своей любовницей золотой думаешь, что истина лишь одна – а я спою тебе кобылкой с бодуна про курточку оранжевую, про богов и нехристь мира, я спою тебе про "пошел ты на хуй" и про рябиновые серьги красавицы. Сколько я должен заплатить, чтобы встретиться с тобой? Сколько я должен заплатить, чтобы убрать лубок, который цепляет рифмы с судьбой, сколько я должен заплатить, чтобы не быть "московским концептуалистом", сколько я должен заплатить за прочее, и за прочее...?

Индия, которую он поместил у самых границ Вселенной, была недудальной. Все другие места встречались и атаквали по двое, как глупые заячьи уши, а эта нет – она была единственной. Это была Индия, где тюркское, степное мешается с городами, Индия невиданных сражений, головоломных, но не лживых – как детская улыбка, отходов, засад и окружений. Это была Индия, найденная Бабуром, Белая Индия придуманная Хлебниковым, и еще нарисована она была зазубренной, с откатами, песчанистой линией, как на рисунках Калмыкова или Исаянца.

Или это была Индия молодого учителя философии в провинциальном лицее, который ушел в Сопротивление, а потом под руководством комиссара Мертве стал полицейским и великим стрелком, а потом – алкоголиком, а потом – бандитом, каким его сыграл Ив Монтан в фильме "Красный круг".

К этой Индии нет вражеского подхода с южной, морской стороны. Там дуют ветры Эвр, Нот, Борей и Зефир.

И еще какой-то голос слышу я: "Вы же медиа-группа, вы же медиа-группа!".

Но мы никакая не медиа-группа! Мы, скорее, лица негров в темноте, чьи контуры проведены дальше назад, с загибом, так что получаются подобия игральных костей, на гранях точечками обозначены числа.



И больше ничего – лишь этюды в половодьях мира, как кровавые картинки, впрочем, без зрачков. Там косматый Дмитрий царевич легко станет гадом, и геморроем сухо блещет Бунин Иоанн.

Всё огни горят для хипповочки белой... "Тут тебе и флэсики", – скажет де Латур. Лapidжосики получишь в гастрономе на Арбате. Коновальца получишь через несколько часов. Гений Пушкина в соединении Лукоморья и оков будет сопровождать твой путь. Шершавчик склерозный запищит и попросит колбасы... Серп Луны не решит проблемы – это знает и Каган. Группа "Чайф" до самых пределов мира.

Курс французского она вскоре забыла. Или, как она говорила, мило ворочаясь рядом, "этого языка". Когда французы ушли из Одессы, памятник Екатерине остался стоять. Потом его заменили памятником потемкинцам – всем было похуй. Потом – опять-таки памятником Екатерине, и все радовались, потому что с ней вроде культурней, чем с какими-то матросами. Хотя лет через восемь опять рядились в костюмы потемкинцев. А потом уже охуели настолько, что утратили разницу между князем Потемкиным и потемкинцами, между Екатериной II и Эйзенштейном и Лениным в Октябре, и все стали одинаково культурными. Или мультикультурными. Или вообще никем.

Тем временем Маньяско создал огромную серию своих собственных "Ночных Дозоров". Однако они не являются дозорными торжествами Голландской Республики или какого иного государства. Равно как они и не являются изображениями униженных и оскорбленных. Нет, они живописуют зазоры между мучениями и мучителями, между торжеством и падением, обладанием и унижением, этот самый далекий и близкий, притягательный и ненавистный марш наших собственных агоний.

Оглянуться еще раз и посмотреть, жива ли Эвридика...

Многодержавная школа? Нет, школа живописного стремления вперед полосок. Школа простого живописного, конфуцианского стремления вперед полосок. Они смотрят лукаво, а ты бьешься головой об стенку. А это одно и то же.

Я представил себе китайского художника, который не боится абсурдных фраз, повторов, незаконченных слов. Он комбинирует их с рассыпчатой землей и красными овальными камешками. Потом выкладывает это все и закрепляет на зеленых плотных листах картона.

Вот такую работу я мог бы сделать для какой-нибудь выставки современного искусства. (Если бы меня по-прежнему приглашали на выставки

"современного искусства".)

Переход к "грязной" и истинной живописи. Рано или поздно. В вечном переходе между Матиссом и Древиным.

Брать какие-то материальные, здоровые тенденции (в живописи или не в живописи) и опускать их в рабство, в ничтожество, туда, где хуже быть не может. Это не случайности, не "принцип Монте-Карло", это принцип наивных, несчастных морячков.

Разнообразные уровни, уроки разбросанности. Смерть, отчаянье, гибель, корпускулы чумы, ее протоки, факелы – как в "Пиете" Тициана. Или стояние сияющее в грозе, в узорчатом гольфике, пред молнией и тинистой рекой – как у Джорджоне.

Или вот еще: "Он ушел в зной, ибо потерял саму нить жизни", – так писала какая-то газета о "Польском всаднике" Рембрандта.

Самое главное, что всё это не является уликами. А то ведь мы живем в мире, где всем нужны улики и отправные точки. Однако их не будет. А что будет? Ну я не знаю, что будет – рясный дождик будет, товарищи. Петушиные хвосты мокнут, слипаются перья. Или не слипаются. Или уточки-неразлучницы – кому больше повезет. Если сильно повезет, то и бумага, конечно, стерпит. Я не знаю – то ли играю в игрушки, то ли в атомную бомбу-боротьбу.

Состриженные патлы рвутся к океану. Рашка-небытияшка. Стон о потерянных канцеляриях. Стон о потерянных безобразных. В этой роще березовой по-прежнему обретаются петухи, только рассвет розовый и мгла предрассветная ничтожат их сетчатые хвосты.

Тысячи дач стоят вдоль реки Ёдогава. Люди на мосту приходят и уходят. Тысячи уточек – волн Голоса Америки пронзают Вселенную со времен Большого Взрыва. Тысячи клопиков подбираются к початку кукурузы. Да, я хочу уйти в этот пляж, в эти заусенцы, курочки. Тысячи огней горят для любви, которая никогда не придет. Тысячи Франкенталер.

И он заточил ножик, как месяц из тумана. И засунул его себе в голенище, как Петр Первый.

Победителем себя можно чувствовать только когда моешь руки. И все равно, художник понимает, о чем идет речь. Он протягивает нити, он вмазывает их в фактуру, он ставит их отвесно. Он любит отблесками и потерянками. Синь небес, отражающихся в озерах, отражающихся в глазах. Проблемы с землей и морем.

Хорошо бы еще, чтобы там, по верхнему краю картины пошла бы какая-нибудь велосипедная тропка.

Черепашки? Клопики? Журавли?

Все очень просто: надо занять какую-то область картины. А потом расчистить или перекрыть то, что было занято неправильно и не соответствовало мере наших чувств. Если не бояться, у картины появится история подложки – невидимая или слегка проглядывающая на непрокрашенных краях. Картина с историей – это именно то, что от нас требует долг, поскольку мера чувств определяется готовностью к поступку и трате времен.

Хотя ведь по-разному бывает. Собирается, например, банда конфедератов, будут водружать они флаг на подводе, среди рисовых метелок. А перед делом надо провериться, да и чтоб обратного пути уже не было. Схватят они старичка (еврея) и толкнут на подводу: "Не бойся, убивать не будем! Побьем только".

Ну-ка, по миру и знаку навались на ушедший дзен-бой!

Будет с тобой комиссар Кеннеди, его туфля, в полете сопля, защиты карманы.

Только повторяем как мантру: ебет ли птенчик перепелочку!? Ебет, ебет! Ебет ли перепелка птенчика на далеких островах Фобос и Деймос? Носком домашней туфли – лето любви.

Вечера уходят в коричневые извивы, наши дела не так уж и плохи.

Был царем Вавилона, Македонии, Персии, уж не помню чего. Усталый, отчаявшийся от всех этих завоеваний, предательств и контрразведок, карабкался вверх, к кромке картины, пытался пробиться через землю, дерн, траву верхнего уровня к ее изнанке, к бегству от сражающихся царств. Действительно ли я верил, что там наверху есть другой абсолютный уровень, где можно просто скакать по стене, и тебя не найдут, и никто не будет искать, ты никому не нужен, потому что в этом мире, через все его стены, вплоть до самой Японии и еще дальше, уже нет царей?

Да, я хотел бы бегать по широкой Троянской стене, по самому ее верху, спасая их всех – и Елену, и старцев троянских, и ахейцев, и обнимать их, и так, чтобы они об этом не знали.



ления "всего"?

Два модуса убедительности, которые у нас есть. Через спонтанность, непредсказуемость и однократность – или через настойчивость повторения. Я действительно размышляю над этим всю жизнь.

Я подбрасываю монету раз за разом, и она падает в пыль. Но вот как сохранить чувство, что обе стороны монеты "правильные", без выигрыша и проигрыша? Как сохранить это чувство без злобной растянутости Вавилонской библиотеки, без этого рабского, постмодернистского перечисления "всего"?

И когда солнце подымается все выше и выше над морем. А воздухе стоит запах мокрых водорослей.

Он продолжал играть в "присоединить". Делать линии, присоединять. Делать Ленина, огибать Ленина. В пазухах дворов и виноградных листьев.

Отвезти кота. Помнить историю про Лайку, которую отправили на закла-ние в космос, зная, что возратить ее не удастся.

Сидя на камне фотографировать какого-нибудь оборванца, но так чтобы портрет состоял из 64 частей.

Усложнить перформанс. Сидя на камне в Африке фотографировать како-го-нибудь оборванца. Порвать фотографию оборванца на 64 части, сидя на камне в Африке.

Какая цель бомбардировок?!

Есть ли в море вражеские корабли? А снимут ли людей, когда те корабли пойдут на дно?

Не сиди раскорякой на камне!

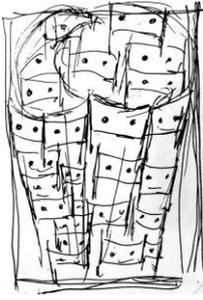
"Может, я отсюда уеду?" – он говорит. Он курчавый, как Пушкин или Онегин, он на камне в пещере сидит. Это поток сознания Швейка, это ан-чар-часовой или Армстронг, ступивший на поверхность Луны. Ну что же, наливай еще, зоряной-зоряной, и пусть шашечки такси мешаются с кроше-вом льда. Курчавый Онегин или лысый Швейк, в усадьбе коньки повесив-шие на гвоздь, во славу или бесславие всех поколений. Всех мгновений памяти.

А потом падает ночь. После целого дня, заполненного мыслями, востор-гом, спорами, страстью – наверное не так уж и плохо, когда в конце концов падает ночь. Я был всего лишь одним из этих миллиардов промельков све-та. Я старался не изменять его игристой, световой природе. Со всеми свои-ми блокнотиками и склонностью к одиночеству.

Я валяюсь под соснами, иглами. Под ажурной кроной ели-пихты-сосны. Под колючие полости кактусов, под системой царя горы. Дошедший до предела под небом голубым – в том саду, который всегда позади, которого нет. Который турецкая баня в серале, а ты – "скотыняк"! И, все равно, это остается самым милым – вино, дрессировка, лес, любовь. Будучи патрио-том, хочется, конечно, сюда и родину приткнуть. Какой-то тарапунька, тщетно ищущий свой штепсель.

Все больше становится загадочных слов, резких движений, разрезающих пасов.

Вот стоят они, как ни в чем не бывало, подбоченясь, те, которые 40 лет назад запирали от нас Бахчисарайский сад мировой культуры.



"Запирали, чтобы всякая мерзость не лазила, вам же на пользу", – говорят они теперь. Будто сад мировой культуры – это какое-то общежитие, запираемое по вечерам, дабы пацаны к девкам не лазили. Впрочем, так оно и есть. В общем, стоят они теперь шеренгой, запиравшие, разве что отсвечивая ржавыми носками штиблет. Но и мы, чья молодость прошла без Бахчисарайского фонтана мировой культуры, постарели уже, и такие же на нас ржавые штиблеты.

А потом мы с топотом бросаемся друг на друга и сливаемся в один полный лес. В полный ярлик, дурик, в дудченко заводной.

Или иметь с ними отношения как между двумя чуждыми народами: "Кубок – ваш, дорога – наша". Ходить разными путями. А если ступишь к ним на кубок, пусть топчут верблюдами. Ничего страшного, на каждого из нас придется примерно пять верблюдов. По меркам восточных пыток это не так уж много.

Говоря о картинах Голосия, не следует путать полет с пребыванием в воздухе, с подвешенностью – такой, как у его друзей. Жопастые ангелы не летают. А полет – он недистантный, парение внутри себя. Летать может только травмированный, но не вспухший – травмированный взглядом, лицевыми дырами, перьями, пустотами в костях. Сродненностью стихиям дождя и ветра.

Почему персонажи на работах Голосия начинают так плохо, а потом ведут себя относительно пристойно, сквозь все порывы? Почему бы им сразу не вести себя хорошо? Жарким летнем днем на одесских Черемушках мы задавали этот вопрос мальчику, женщине, старику на мотороллере.

– Мы никогда не слышали о столь славных победах! – сказали они и сгрудились поближе к мотороллеру. – Может вы нам расскажите?!

И мы им действительно рассказывали.

Работы Голосия, которые соединяют украинские 60-е, хрущевские, брежневские, бетонные, бурьянные, с перестроечным постмодернизмом и психоделикой. Соединяют их потоками дождя, телами в полете, рванными ревизорами, фантомными ихтиандрами.

О, девочка и птицелет!

А в это время Славой Жижек подкарауливал у входа уставших от сложностей участников симпозиума с какими-то проклятыми вопросами, вроде: "А ваша жена села на самолет?" Некоторые честно пытались отвечать, и это соединение сложности с простотой уставшей порождало нечто подобное "Илиаде" или истории Агамемнона, рассказанной с конца.

Мне же хочется остаться где-то раньше, в коридорах, где детишками под окнами мы раскладываем фигурки, или раскладывали костры, или в том заброшенном здании в Полтаве, где был юнкерский корпус, с широченными коридорами, и курсанты устраивали скачки. Когда еще есть рифма, и она как биение куста, а ты, маленький, неразумный, не знаешь, что с этим делать, и все рифмуешь, рифмуешь, пока ужинать не позовут.

В те дни, когда умер Вася Кондратьев, я обрелся в так называемом "Метамедиацентре искусств" в чешском местечке Плазы, неподалеку от Марианских Лазен. Пережив до этого в Москве, быть может, самые счастливые дни моей жизни и считая оставшееся время, чтобы только поскорее вернуться к ним. В огромном, холодном и пыльном зале конвентов бывшего монастыря я впервые исполнил тогда свои "Танцы убитых троянцев", прыгая по полу под музыку Шуберта по схемам поражений всех троянцев, убитых соответственно Патроком, Диомедом, Ахиллесом... Дабы компенсировать застенчивость и холод, это сопровождалось неумеренным потреблением чешского рома. Потом, напившись, я влез в чужой перформанс и свалился в речку, что потребовало, конечно, отогрева и новых порций чешского рома. День или два я валялся потом в похмелье, прикончив все запасы вина в общей столовой. В эти же дни начали приходить какие-то странные факсы из Петербурга, но связь все время обрывалась, и я ничего не мог разобрать. Я только пил вино и мечтал поскорее вернуться в Москву. Потом, наконец, пришел факс: "Вася упал с крыши. Он умер... Не плачь, Лейдер, все там будем". Страшно сказать, но я и не собирался плакать – мне еще надо было как-то добраться до Австрии на собственный поэтический вечер, а денег на билет не хватало, и я считал дни, оставшиеся до Москвы.

Джорджоне, "Гроза". Всё происходящее на путях этой картины. Это я должен ходить там, перейти через мост, шляться туда-сюда, разглядывать анаморфические камушки, подходить все ближе к этой преющей кормилице, к ее неуклюже отставленной ляжке, к ее единственному бурдюку-груди, перемещаться к гульфику контр-адмирала, перемножать раздувание груди на заполнение гульфуса, менять сперму на молоко и на грозу. Отсюда еще дальше Джорджоне пошел Тициан – его грозы, его скабрзности, ляжки его нимф, похожие на далекие планеты, необъятные как Юпитер.



Ветки пиктограмм распускаются на темени Баби Бадалова, проходы катакомб Молодцова-Бадаева, визг бараний на курбан-байрам – мы еще верим в катаклизмы, мы бросаем слова под углом.

Кто они – все эти ветви расходящиеся, или сбирающиеся в заводы-фабрики-дорожки, шугающие нас язвительностью версий, рассекающие полотно на зоны, сполохи при-

граничные, или те, на которые мы валимся пьяные, устало, махнув на все рукой, как Рембрандт на грудь Хендрикье?

Ветки – это линии, разделяющие зоны. Но так, чтобы они оставались в одном глотке-стакане, чтобы эта сука, зеленая поросль, росла дальше. Порой мне кажется, что одна из этих зон может быть зоной чистоты. Или зоной невменяемости. Или, да, не надейтесь, братья – коли присмотреться, то всюду прорастают какие-то копыя, садки, шеломы.

Мы безусловно переоценим твоё молчание, Марсель Дюшан. Может быть, мы даже переломаем тебе руки-ноги в стиральной машине старой модели.

У нас была такая машина, без отжима. Отжимать, прокручивать надо было вручную на специальных вальках, которые устанавливали сверху. Позже отец приспособил их как пресс, чтобы давить виноград на даче – отлично получалось. Если у тебя его не так много, чтобы удобнее было давить ногами. Я сто раз упоминал эти вальки в своих текстах – "золотые вальки, перемальвающие богов". И тут же "жалобный зимний стук вальков" в японской поэзии.

Но они не могут зацепить поросль. И так было всегда – в кабаках Эдо, Киева или Берлина. Я мог бы ждать спокойно, пока разговор выйдет на лучшие места. Но я так много отдал пустой траве, её плечами, локтями, пустым коленям, что уже не хватает сил ждать спокойно.

Мне нравится идея Филонова, что каждая вещь должна быть "сделана", доведена до конца – он не признавал "эскизов и набросков". Однако я пытаюсь достичь этого не путем "анализа", но, скорее, путем упрямства, перекрашивания, негации, достижения того приемлемого начала, когда анализ будет оставаться лишь щелочкой, намеком, возможностью "не "не быть".

Как если бы я хотел, чтобы одна полоса Ротко смотрела на другую, или чтоб одна из них смотрела на нас, чтобы они не пропадали все сразу в своём амёбном, безглазом и высшем существовании.

А Тиресий только посмотрел на него и сказал: "Да-да, ты умрешь через три года, девять месяцев и одиннадцать дней от удара веслом. Но умрешь ты счастливым".



"Он взял бы себе это на ночь, – такой я слышу голос, – взял бы на поддержать, на время, на ночь". Однако я не могу понять, о чем говорит этот голос – о моей недавней картине с креветкой в прибое, о картинах Валика Хруща, которых брали друг у друга в Одессе "на повисеть", или, скажем, о старом портрете Петра Первого.

Будто воин, разведчик, посланный на передний край разведать обстановку. Он не знал, что сила войск между Путиным и Умаровым достигла пари-

тета, и двигаться дальше уже некуда. Он думал, что борьба будет продолжаться вечно.

Касательно моих картин с лошадьми – мне кажется, будто я приобрел где-то этих лошадок, вырастил их, но за никому не нужностью оставил пастись под своим присмотром на далеких островах.

Так хочется наломать веток, даже в пустыне.

Или обращаясь с вопросами к государствам, канувшем в прошлое. Всяким там Вавилонам... Как понять, существуют ли они где-то еще? Если получаешь ответ смутный – значит они еще есть. А если ответ ясный, стиснутый, мотающий головой – значит, государства уже нет.

Привиделись рельсы, сложенные в лучших традициях Русселя – но не из телячьих легких, как в "Африканских впечатлениях", а из длинных пряжей женских волос, крашенных в красное, обязательно в красное. По ним движется вагонетка с едой, а я, дворецкий или мажордом, расчищаю ей путь. И, как уже говорилось много раз, я не помню имя той женщины, и мне безразлично, куда и кому везут еду, но красное остается красным.

Конфуций говорил: "Я ненавижу, когда фиолетовое посягает на красное!" И в самом деле, я ненавижу, когда "дискурсы" и прочие шуры-муры.

Встреча с наркотиком, настолько древним, что никто не знает даже, что это за наркотик. Но это наркотик!

Но все пути туда заказаны. Там куча людей из русского мира.

Поток сознания, а также архимандрит Сорокин. Как два начала, догоняющие друг друга.

Армеец павловский. Армеец и Павловский, дополняющие друг друга как Петропавловская крепость.

Лекала этих садов и парков. Дворцов и пыток. Детей на улицах.

Безусловно, насрать на все это могут только любовники.

Дети-любовники.

Утопленники.

Деточки, кушать пора!

"Пинь!" – это густой звук. Это троллейбус или пароход? Я знаю, что ни сказать, что ни ответить, это будет поперек сути, как Ванька-косарь в голубой рубахе.

Это "пинь" – китайская молва, это "р" – которое китайцы не выговаривают. Это вся жизнь, как жалкий день курицы-несушки.

Или "пинь" – это проезд в снегах? А дальше – нагромождение русских образов, как нагромождение торосов вокруг креветки в полынье. А дальше – неинтересно.

Я вижу сны. Я часто вижу какие-то углы, дуги, мысы, леса. Я часто отождествляю их с детьми, детством, детскими играми, как в той балладе, сочиненной государем-иноком Го-Сиракавой:

Для спорта и игры  
мы рождены.  
Когда я слышу  
голоса играющих детей,  
готов бежать туда,  
хотя, казалось, руки, ноги  
неможны давно.....

Он очень гордился этой балладой. Рассказывали даже, что как-то он читал ее сам себе, в полном одиночестве, всю ночь напролет.

Так или иначе, я постоянно огибаю во сне эти массивы детских голосов, щебета, я знаю, что никогда уже не смогу приблизиться к ним – только огибать.

Каждый ходит в своих собственных воспоминаниях, снах. Но если они совпадают, можно встретить друзей. Так несколько раз я ходил вместе с Чацей. Вначале там были какие-то строгие правила – надо было бросать черные тряпочки и двигаться вслед за ними, ну вроде как в фильме "Сталкер". Потом эти правила исчезли, мы вместе двигались наугад, – примерно также, как и жили, – пока не дошли до последней комнаты, где ничего уже не стояло, и свет и стены были голые, как изнутри пустого спичечного коробка. Я надеялся, что сейчас обнаружится какой-то выход, и мы свалимся в жизнь новую, но ничего такого не было. Я спросил: "А дальше?", и мне сказали: "Выхода нет, это всё – и всегда так будет", – и еще напевали: "А выхода нет – парирарам! Парирарам!"

"Сборщики хлопка" Томаса Бентона, как бы вырастающие из вздыбленной овечьей земли. Земля и Бентон. Бентон и Платонов. Платонов и Бентон.

"Странность есть та форма, которую принимает красота, когда она теряет надежду". (А. Володин)



Несколько раз на ее протяжении моей "творческой карьеры" некие люди восторгались тем, что я делаю, и собирались организовать большую музейную выставку. Так было в Москве в начале 90-х, когда я выступил со своими "литературными инсталляциями", так было в начале 2000-х с моей "геопэтикой", так и сейчас с моей живописью. Очевидно уже, что всего этого не будет – ни больших выставок, ни ненужных мне уже, в сущности, каталогов, ничего. Я работал всю жизнь, и все это канет в забвение и бессмысленность. И может быть, как раз апофеозом ее является

то, что я делаю сейчас – какие-то грязно намалеванные рожи со следами расчерченного фона за ними.

"Ты пойдешь к себе в волчатку?"

Так ты пойдешь к себе в волчатку?..

Они хотели жить углами", –

так напеваю я, пытаюсь нарисовать своего "Убитого через реку" – персонажа, опрокинутого вверх ногами поперек голубой ленточки реки. "Они захотели жить углами" или "они захотели жить вверх ногами", как у Базелица, Кифера. Я знаю, это может длиться довольно долго. Подобно парадным, которые еще никто не запирали во времена моего детства. Так оно может длиться довольно долго – углами или вверх ногами – в желтом свете парадных, в уличном шуме волчатки.

Казимеж Стабровский, польский художник, о котором я ничего не знаю, пишет "Улицу в Сараево" – крона платана, вписавшая себя в полукруглую арку, и сияющий летний полуденный свет. Очень красивая картина. Что занесло польского художника в Сараево – неизвестно. Я могу только смотреть на даты: 1927, 1869-1929. Он написал эту картину в 58 лет, а через два года умер.

"Отец Хайдеггера заснул, положив ноги на подушку", – примерно так можно было бы сказать о современной живописи. А мать Хайдеггера? – ну не знаю. Наверное она бодрствует, занята стиркой, суетится и т.п.

Или их надо представить в виде какой-то взаимодействующей пары, повозки, и так они ездят по всему миру?

Или он уже побежал сдаваться, этот швед или голландец, неуклюже корячась, подняв руки вверх. Нет, он не был похож ни на комбатанта, ни на жертву, так что его быстро пристрелили и даже разбираться не стали.

Другие же говорили, что настойчивостью запросов можно было предотвратить эту трагедию.

Тоже не знаю, не уверен – на этом месте все равно уже растет плешь.

Между Ватто и Холокостом. Между Ватто и Транспоненом. Улица Транспонен после расстрела 3 мая. "Казнь императора Максимилиана" – как воскрешение улицы Транспонен. Искусство 20-го века как возмездие за казнь императора Максимилиана. И так далее – хоть стой, хоть падай...

Я знаю, великая живопись – это не про то, чтобы нарисовать картинку, но про то, чтобы действовать, раз за разом пытаюсь играть в "царя горы". В мире, где все места и границы уже заняты. Так и я всё буду играть в царя горы Днестровского лимана. Или я буду играть в царя горы через Днестровский лиман!

Стихи детеныша Димки, убитого в Донхуане – мы видим их обезьяньими глазами или льдинками, что поют песню. Песню о Нине Антоновне с лошадиным лицом в платочке или песню о пустившемся вприсядку – он уже ничего не помнит.

Окна домов напротив вокзала струят желтый свет. Это как междометия или как уничтожение междометий – в поисках экрана. Отец Сысой говорит о вечной невозможности экрана, но мы по-прежнему уперлись в то, что написано в энциклопедиях. Это их изгибы, их щелочки, покрытые слоями льда. Была бы жива девочка. Умиравший детский сад на рассвете. Окна домов напротив вокзала знают всё про то и про это.

Семедо вновь подает угловой, но вот незадача – мяч мечется по штрафной, как склоки самураев при Эдоском дворе. Ничего не разберешь – для нас все самураи на одно лицо, а между тем клинки их взглядов образуют стальные цепи-катаны. Будто меченосец выныривает из глубины, только голова его покрыта скафандровым гермошлемом. День сегодняшней действительно напоминает угловой, но ведь был же он когда-то и штрафным – в ударе Эдо, в подаче Семедо, от самого сарая, от дворца Потоцких. О, эти ручейстые родники!

Должен ли я дожить до 90 лет? Что же я, индус какой-то?! Каждый день бегаю в ту квартиру, где была у меня когда-то спрятана плеть, но тщетно. Или одно известие распространяется на несколько горошин? Стручок разорван, и одно известие расходится на целую группу товарищей? Там уж как получится – может, умру как папуас, они это делают очень просто: ложатся на живот и закрывают глаза. Или ложатся на спину? Или забегают в дома, где никто не живет, прокрадываются ворами? Впрочем, так можно сказать и про всю нашу маленькую жизнь, маленькую жизнь каждого. Жизнь диньдон – грех падающих пластинок.

"Ветка Шаньжэня" – так надо писать заглавие моего текста, а не во множественном числе ("ветки"). Этот ветер приходит единственный, как Вашингтон, а не то чтобы новостройки. Этот ветер – топотун или малыш, зной или автобус. Был ли мальчик живой? Была ли жива девушка? Зазор во временах и наклонениях – это пространство жизни. Автобус пробирается сквозь весенний город Экибастуз, весь в посадках молодых топольков. Посадки деревьев в новых жилых районах. Была ли девочка жива? Был ли мальчик живой? Невозможные новостройки, уносящиеся вдаль в сиянии вечерних окон.

Какая-то женщина написала вчера пост про Украину – дескать, живут там не ахти, и на улицах грязь, и одеваются плохо. Я бы взял ее за ошейник

и отвез, скажем, в город Краснодар – вот там бы ей была эпоха. Звон серебряный или ольховый не стоит ворошить руками, будь он даже грязным, как дым. Я обопрюсь на свой двуручный меч – пусть выходят против меня рыбаки с сетью, мой баркас не утонет в суете. Стол, стул в полутемной квартире – я знаю их первородный блеск в сумраке. Равно как и твой, блядь, стекляннистый блеск – тебе затон, а мне стоять гордо на пересечении эпох.

Это истина любой эпохи – все хвалят ее сеточки и пояса, ее вздох боевой, но на самом деле она лишь умирающий детский сад, башковитый, но безбородый. Не успел оглянуться, как ты уже без головы, только посох твой стоит, упершись в переплетения травы, или воткнутый в тяжелый-тяжелый песок, песчанистый берег.

Искусствоведы говорят, что Блюхер, вызванный из Маньчжурии в Москву и понимая, в чем дело, хотел спасти хотя бы приближенных к себе старших офицеров. Думал покрыть их специальной маскирующей краской, заподлицо со склонами сопок.

Историки, правда, рассказывают по-другому – дескать, пытался увести их какими-то подземными коридорами.

Так или иначе, из этого ничего не вышло.

Сумеречные тучи над долиной. Потом вроде как тема музыкальная возникает: "Женщине надо ехать к ребенку". Потом указание автора: "Бах". Потом вижу в полутьме этой долины кучи тел, полуголых, красных, будто индейцы валяются на своих подстилках. Может, это беженцы? Может быть, Блейк, а не Бах – ничего не разберешь. И так всю жизнь. А тут еще Монастырский прислал сообщение: "Я делаю белую стену Бодхидхармы!" Ну и хорошо – делайте себе! Я тоже делаю сейчас у себя в мастерской белую стену – врачей-рыбаков в белых врачебных шапочках, неотличимых от повязок, с белыми сетями-петлями вокруг шей. А красные тела индейцев все валяются в сумрачной долине.

Хотя почему так мрачно? Можно ведь и "краснокожие индейцы знай себе покуривают, разлеглись на своих одеялах в сумрачной долине". Но главное, черт возьми, что так и не разберешь, всю жизнь! Потому что стена Бодхидхармы не имеет ни смысла, ни цвета. Хотя и очень хорошо, когда люди просто что-то делают. Женщине, равно как и мужчине, надо ехать к своему ребенку.

Или черная живопись, которая расстилалась перед Джексонном Поллоком в последние годы, последние месяцы его жизни. Вроде джунглей. Куда он уже не успел или не смог войти. Убрав весь цвет, фактурность, не стесняясь в открытую рисовать рожи, а не то чтобы какую-то абстракцию. Единст-

венное, что я не могу понять – делал он это от силы или, напротив, от бессилия.

Бледный Бодхидхарма у Стены плача, она же джунгли.



Неизвестный художник династии Мин, свиток "Ранняя осень" – в "бескостной" манере великолепными красками: стрекозы, комары, лягушки среди травы и листьев лотоса. Это предвосхищает "Многоцветный мир живых существ" Ито Дзякютю!

Ван Мэн, свиток "Ирисы и павильон орхидей" – с красной квадратной печатью прямо поверх горных склонов, их бороздок и черных точек, обозначающих кусты. Нет, не где-то сбоку, как водится, но в самом центре, подобно окошку или детали, которая будет увеличена на следующей иллюстрации для подробного обсуждения.

Вот так бы просто продолжать и продолжать такие списки, заносить их в блокнотики, но с гусиным вывертом шей, как это делал Ван Сичжи, рассказывая о пьянке в Орхидеевом павильоне.

Описывая свиток Ши Чжуна "Прояснение после снегопада", Джеймс Кэ-хилл замечает: "Кажется будто автор странствует через заснеженные холмы к реке и одновременно быстро набрасывает открывающиеся перед ним виды, умело и достоверно".

Я бы хотел выйти из нашей дачи на Каролино-Бугазе, пройти ближайшим переулком, потом выйти к шоссе и идти вдоль него до раскидистой маслины, на которую я так любил залазить, недалеко от никому не нужной кафешки, где продавалось только алжирское вино и кубинские сигары, затем свернуть к переезду, дойти до пляжа и уже берегом моря вернуться назад. При этом я рисовал бы свиток с заснеженными окрестностями Каролино-Бугаза. Куда, впрочем, я никогда не ездил зимой. Ну ладно, пусть будет летний Каролино-Бугаз, с его зноем и мусором. Если писать в "бескостной" технике набрызгами туши, с гусиным вывертом шей, разница не столь уж существенна.

Мое отношение к происходящему в сегодняшнем искусстве – вроде заглядывания в окно какой-то хаты бревенчатой, а там веселье идет, застолье, танцы. Впрочем не очень-то и весело, поскольку всё время одно и то же.

"Цирконьте, цирконьте, братцы!" – шепчу я им в окошко, но даже не знаю толком, что я хочу этим сказать. "Поддайте жара и света (циркон)!"? "Поддайте клоунского веселья (цирк)!"? Или это я говорю сам себе: "С нами уже ничего не сделаешь, они просто мечутся по кругу (цирк, цирк)!"?"



Я хотел бы относиться к своей серии "Врачи-рыбаки" как к двойному приключению. Я не знаю, что случится на каждом отдельном холсте, и я не знаю, что случится во всей серии. Я иду к пруду, а, может, я иду к берегу океана, как я это делал в Саусалито, иду каждый раз другой дорожкой, выпив по-другому и неся с собой другую книжку и другой фонарь. Я не знаю, иду ли я через тростник, через пески и Сахару, через крылья старого "Пекода". И тем более, я не знаю, что встречу впереди – пруд, или океан, или великую сушь.

Твои приемы и подушки использованы по несколько раз – как королевства и как тростники.

Поэтому и говорится, что я не знаю, куда иду, в двойном смысле – как метод и как цель его.

Рука протянутая использовалась несколько раз – как рука 60-рукого бриаря, как детские банды на Черемушках, как тростники.

Как детские банды вокруг новостроек в лунном свете.

Людмила в скобках должна быть. Как школьная техничка, как тростники, как теплотрасса или тряпка.

Кортеж личный, черемушкинский, земной, перелет-недолет, как свадебный кортеж Маньяско, или "он вылез весь черный", или кортеж поребрика.

Да, сразу видно, что работа получилась, – говорю я себе, глядя на своего очередного "Муаммара". Но что я имею в виду при этом? Его деревянистую грудь, его неумелый, дурацкий, выделанный взгляд в пространство?

Личное приключение, личная вечность... Человек со спины, вместе с собакой, удаляющиеся по переулку. Личное прикусение языка...

"На свет прочтешь четверку и на дне шестерку проведешь. Достанешь с океана волосной комок. Развернута ладонь, но в ней подарка нет. Лишь жалкий анекдот – пятнающая плеть".

Знаменитые шапочки "мадзокко", которые так любил рисовать Учелло в перспективных сокращениях. А у меня они расползаются, переходят друг друга бесформенными блябями, нахлобучками. Однако великий Тянитолкай Двух Колесниц ведет меня за собой, надувает щеки, изгибы, он насаживает эти врачебные шапочки так плотно, что их уже не снять, не сорвать. Когда-то были они начальственными уборами, разбойничьими банданами, ну а сейчас уж сродни последним врачебным повязкам. Врачи-рыбаки-покойники в мире голубом.

Когда я был подростком, то придя со школы, всегда слушал "Голос Америки". Потом, если происходящее в мире меня устраивало (а оно меня

обычно устраивало), я начинал делать уроки.

Сейчас меня не устраивают новости, на какой бы волне они ни передавались. Может быть, серия "Врачи-рыбаки" – это как раз печалование по тому, ушедшему миру, в котором было много погибших, несчастных, но новости того мира, его *укиё*-преходящее меня еще устраивали. Я еще верил в прогресс.

Однажды Император побывал в Летнем кинотеатре. Больше все ему понравились светлячки, которые вспыхивали по сторонам во время просмотра и гудели. Правда, из-за этого Император не смог толком разглядеть фильм или услышать реплики, так что он высказал желание посетить Летний кинотеатр еще раз. Однако, приехав чуть раньше сеанса, он обратил внимание на людей, что крутились в кустах, или тщательно осматривали стены – там, где были стены.

– Что это они делают? – удивился Император.

– А это они разыскивают светлячков, чтобы не мешали Вашему Величеству.

Император, а он был еще молод, очень смутился. Сказать, что он и приехал ради светлячков, значило пренебречь самим фильмом, да и обслуга кинотеатра могла обидеться. Тем более, в глубине души Император уже успел понять, что бороться с людской глупостью бесполезно. Но и смотреть фильм, если светлячки не будут все время вспыхивать рядом, ему было бы грустно. Так что Император сослался на недомогание, отбыл обратно к себе во Дворец, и больше никогда не бывал уже в Летнем кинотеатре.

Это выглядит так, будто перед тем, как закрасить очередной участок картины, я говорю ему (ей):

– Сударыня, передаю вам ключи от вечности, там вы узнаете вкус настоящей любви!

И сударыня сразу:

– Вещи! Скорее собирать вещи! – так хочется ей в эту самую вечность.

Особенно это касается моей старой серии "Страдание – фактура мира", выполненной жирной тушью стеклянными рейсфедерами и местами подкрашенной фломастерами.

Но разве можно въехать в вечность с вещами и багажом?! И даже более того – разве можно въехать в вечность, зная, что ты въезжаешь в эту самую вечность?!

А вот Блинки Палермо закрашивал свои прямоугольнички так быстро, что даже не успевал им сказать: "Сударыня, отправляю вас в вечность!" Он очевидно предполагал, что "сударыни" и так об этом знают.

Путь великого страдания, который должны практиковать все дилетанты. Ну если они не хотят быть просто "художниками выходного дня" – тогда



им лучше уж затеять путешествие к центру Земли, под водительством истинного, классического художника Отто фон Лиденброка. В сопровождении исландского пятничного художника за гагарами по имени Ханс. А твое имя – Аксель, и ждет тебя Гретхен. Получишь ее, если вовремя провалишься в трещину Земли, вплоть до самого центра Земли, пока тебя не обставили Фауст и Мефистофель. Если получится, будешь писать бесконечную серию путешествий к центру Земли (динозавры). Это все ж лучше, чем петь безнадежную семейную каватину Валентина.

Был бы помоложе – пошел учиться плести ковры. Даже если бы закончил учение годам к 60-ти, все равно хорошо – время впереди еще есть, оно равно вечности, просто плетешь себе, а называть это можно как угодно.

Впрочем, я время от времени орудую шерстяными нитками поверх своих картин – чего-то там довязываю, делаю контур выпуклым. Но это кусочническая вечность, в обрывках квартирного быта, вечность на полстакана, ни то ни се.

Или вот, например, фраза: "Лишь там придет живое оживление..." – это же бред, абсурд, плеоназм, но внутри него какие-то воспоминания о римском барокко, о чисто итальянском запахе на улицах, о глади Тирренского моря. Рассыпающиеся воспоминания, чешуйки, ставшие торчком. Кирпичики вокруг клумб, вкопанные ребрами вверх. Дворцы, которых никогда не бывало. Единственные дворцы, которые тебе даны. Игры на террасе, пока не скажут "мой руки!" и к ужину не позовут.

– Малыш, куда ты рвешься?! К нам, через раму картины?! Ты же погибнешь скорее всего! Рвешься назад? Но тогда тебя просто не будет.

– Что же мне делать?

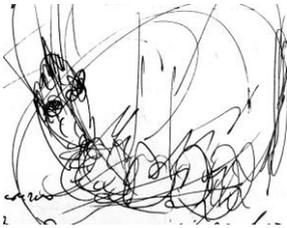
– Да ничего, стой где стоишь!

– Приплелась прошмандовка полюбоваться на наше горе! – так немилосердно выразился дедушка о визите их старой приятельницы, пришедшемся на тот период, когда меня сочли тронувшемся умом, поскольку я заявил, что не хочу уже быть великим химиком, а хочу – современным художником.

Не думаю, что она действительно пришла полюбоваться их горем, да и вообще была в курсе происходящего. Однако дед был прав в другом. Моя жизнь с тех пор протекает в страшном и загадочном мире, но тщетно пытаться бежать из него, как он пытался всю жизнь. Лучше уж стоять, где стоишь, и сидеть, где сидишь, и высовываться в окно, перегибаться через

край, внезапно лететь вниз, и чувствовать треск в затылке, и лежать, где лежишь.

Лет с 15-ти каждую неделю я стал заходить в "Дом книги" на Дерибасовской. Там был отдел открыток с репродукциями, и я все время проверял, не появилось ли чего-то нового. К сожалению, там были только картины из собрания ГМИИ им. Пушкина. Я решил собирать свой "музей": приобрел "Голубых танцовщиц" Дега, трогавших меня до одури, до столбняка, потом – "Красные виноградники Арля", что-то Сезанна, Матисса. Мне вспоминается даже, что разглядывая их, я каким-то особым образом закусывал носовой платок, чтобы еще сильнее словить этот приход остановившегося времени. С минералами, кстати, было нечто подобное. В отличие от листвы, неба и гладких щечек Лили Колмановской – тоже прекрасных, но всё трепыхавшихся туда-сюда, подобно отступающему от тебя берегу, отливу – репродукции и минералы всегда стояли в нерушимой готовности.



Заниматься живописью можно только, если ты видел многое в жизни и помнишь это. Какую бы абстракцию ты ни писал и как бы ни размахивал кистью наугад, все равно ты пишешь то, что уже как-то видел.

Надо только хорошо прицелиться. Надо найти у эпохи лишнюю полоску – нечетную и черную, и стрелять туда, хотя все говорят, что у эпохи остались только четные и ясные полосы.

Тут было все для тебя. Ты мог подхватить до конца эту революционную песнь. Ты подошел близко, но предпочел ограничиться одним куплетом, а остальное смахнуть рукавом, и кривляться, и приговаривать "блиско!", "блиско!"... И, в самом деле, ты – шароварник одинокий.

Может, не надо было так уж резко изменять Москве, концептуализму, кафе ОГИ, книжному магазину "Фаланстер"... Но что я мог сделать?! Я растерзан между Россией и Украиной. Я даже не могу позволить себе строчный перенос в слове "Украина", если до этого "Россия" написалась без него – вроде заподозрю сам себя в меншоварности.

Надо бы перечитать книгу об иллюстрациях греческих трагедий в росписи ваз.

Потому что мои картины как раз подобны застывшей керамической вазописи – все равно иноприродной той трагедии жизни, которая произошла со мной, или трагедиям других, которые меня трогают. Это поиски на лицах персонажей простых, незаведомых, случайных конфигураций – вроде бурой трапеции на лбу Чаушеску или полосчатой чечевицы, примкнувшей ко лбу Аркадия.

В очередной раз нарисовал портрет расстрелянного Чаушеску. В нем есть надменность и какая-то тайна. Или изнанка тайны, изнанка звездного неба, когда вместо звезд дырочки. Или сияние отброшенного, ненужного, нелепого шарфа. Шлейф воспоминаний – это дырочки звездного неба.

– Не говори о времени, лучше сделай крышечку-погремушку, – так сказала бы украинская мать, глядя на мои картины. Если бы у меня была украинская мать.

Потому что я все время пытался творить в модусе уверенного в себе, ловкого конформиста, а получалось нечто другое. Или, точнее, наоборот. Или неважно, потому что это все равно было выныривание на кромке моря.

Может быть, никто из мертвых не хочет вернуться, потому что знает, как тяжела обратная дорога, какие напластования, скорлупы, панцири преграждают ему путь к тому, что было при жизни. Может быть, эти напластования и есть сама живопись – которая не столько изображает, сколько моделирует тот обратный Сталинград, что готов разгореться для тебя, если подползешь слишком близко к возвращению (у позднего Тициана, например).



Я представляю свой автопортрет – в духе Суттера или Фотрие, в виде этакого шаркающего, пригнoblенного существа, покидающего плоскость картины, выходящего в город, шаркающего где-то там, на углу бывших улиц Ленина и Жуковского. Я слышу голос: "Таракан приелся!" – это говорят про меня, но в этом нет ничего дурного, я чувствую, что все хорошо, ну или, по крайней мере, не так уж плохо.

Это судящий меня голос. Меня порой гложет мысль, что всей своей писаниной и своими картинками я должен буду перед кем-то отвечать. Но мне мерещится эта инстанция не в образе Бога или там Духа Культуры, а нагромождением каких-то решеток, клеток пустых, она тоже покоится в городе, на перекрестке. В этих клетках никто не сидит, они не предназначены для заточения. Это чистые пересечения, расчерченности – вот так оно все сложилось или этак, Фотрие или Тициан – но через них льется все тот же ясный, бестрепетный, милый свет. Таракан приевшийся уходит в голубизну.

Мы возвратимся в Энтотто или Энтеббе – Муаммар Каддафи, Иди Амин, я обниму их соломенные плечи орденов, я почувствую кончиками пальцев, будто сквозь пыльное стекло, какую-то любовь, какую-то девочку, Одессу и Молдаванку, но взвихренные кони вонючие, ходившие в первых рядах, заметут это вновь и вновь, только и остается рифмовать "праздник" и "с тобой", вглядываться в ажурные всплески волны, в эти сеточки и пояса на кромке приюба.

Я подхожу к дереву, я вижу в ветвях его какое-то существо распятое, в мундире и с галунами. Чаушеску, Арафат, Муаммар... Или это моя лошадка детская, на которой я был готов скакать куда угодно, повинуюсь броску костей.

А в батареях отопления все переливается, булькает горячая вода.

Мы видим эти конфигурации броска костей на куфие Арафата, в слипшихся полосами прядях волос Саддама, кровоподтеках на лице Муаммара.

Но и в склонении самой последней невинной ветки, и в гривах лошадей.

И еще я слышу время от времени на этом пути голос, вроде как: "Сименс, Сименс, сволочь ты!" Это какая-то ужасная гадость, стыд, неудача, голос кустов. И совсем не легче от того, что Сименс – это не я, и к корпорации "Сименс" это тоже отношения не имеет.

О лицах моих друзей, оставшихся в Москве – они покрытыми какими-то сгущениями, полосами, знаками нерешенности их судьбы. Надо идти, надо присматриваться к ним. Потому что эта полосчатость, эта телеграмма может проявиться и здесь в любой момент.

"При жужжании мухи растерянный суфий хватается руками за голову. Смущенный и восхищенный экстазом он не отличает высоких тонов от низких и собственный вздох смешивает с пением птиц". Это я выписываю из Леона Богданова, который в свою очередь это из кого-то выписывал. И я также не отличаю высокую живопись от собственной мазни, я вглядываюсь в песчинки, затесавшиеся в пастозное месиво, и вижу там какие-то мировые откровения и судьбоносное пение птиц. Или лучше даже воспользоваться филоновским ударением – мирОвые откровения в бесконечной рассыпчатости песчинок, черточек, в кустах рассыпавшихся стрелков.

Эти выписки делал изначально Хлебников из книги К.Казанского "Мистицизм в исламе", Самарканд, 1906. Богданов, в свою очередь, выписывает их из статьи в журнале "Вопросы литературы" за 1974 год. Вот так она – добродетель, достоинство, "дэ" – ширится из поколения в поколение, оставляя, впрочем, не более чем песчинки, приклеившиеся к мазкам. Эта фактура битума, песка со смолой, так занимавшая меня в детстве – толь, рубероид, которыми крыли крыши дач и сараев. Это фактура фатума, его разлетающихся ошметков, и все равно дрожащих на месте, как птенчики.

И все равно он спрашивает: "Что это там в море, мама?" То, что способно нас не разметать. Или разметать. Августовское свечение или огни святого Эльма. Или когда где-то там, вдали, горит само море: смещаются пласты и горючие газы вспыхивают, соприкоснувшись с воздухом. Говорят, такое видели во время Крымского землетрясения 1929 года. Или схождение двух

половинок, отрезков, катетов. Абрис горы, Памир и Кремль, майдан, монета. In God we trust.

Когда-то, очень давно, ей нравилась фактура масляной живописи, чисто на ощупь. Нам обоим нравилось. Она просила, чтобы я вырезал для нее наиболее занозистые куски, и делала из них закладки к романам Томаса Манна. Что ж, можно и так. Нам обоим нравилось, этим веселым черным треугольником.

Все листья, ветви, темнота зарослей. Поднимать ее к свету, как высшую драгоценность, эту темноту меж ветвей, обходным героическим маневром – через песчанистые извивы вокруг, по хлипким внешним абрисам.

Притворство здесь неизбежно, но пусть его будет хотя бы меньше.

Так все-таки, спокойствие или беспокойство? Как пробка в стене, как гусь в вине, маленькая желтая дверь в стене. Бестолковщина – ужасающая бестолковщина всего. Я должен все это решить. Как цинковая ванночка, надвигающаяся мне на глаза. В условиях цинковой ванночки. В условиях плетней, плетей, заборов, плутней и хоккея. Без прикрас. Маленькая электростанция, что поит меня (нас) молочным и уличным светом. Это можно дать в стихах. Это в наколенниках, это наизусть. Наизусть наколенники Патрокла. Насквозь копьё Гектора. Сияющий Оперный театр стоит посреди темных улиц. Темные, полутемные улицы окружают сияющий Оперный театр. Или серпантин, цирк. Это раскладка в полутьме. Это когда руки опускаются и все валится из рук. А ты стоишь в рубашке подпоясанной. Или нити Русселя сладострастные. Когда они уже совсем опущенные. Когда водишь ими в полутьме – слюдяными слюнками, опущенными, разлетающимися, близкими. Ты водишь неводом в кромке волны. Уже сам не знаешь, где здесь петли ячеистые, а где – пена волны. Он стоял по колено в воде. В рубашке подпоясанной он стоял перед дверьми лифта. Это уже было в Москве, в районе м. Маяковская. А потом я вспомнил лицо Кейджа на фотографии, когда он прилаживает какие-то винтики, настраивает свое препарированное фортепиано. Или это лучше вычеркнуть? Или я могу вспомнить лицо Монастырского, когда я первый раз пришел к нему, или три года спустя, когда я увидел у него те забавные объекты – какие-то коробки с наклеенными на них партитурами Кейджа и перекрученными веревками, он готовил их к очередной акции. Очень выпирали веревки. Здесь я уже почувствовал что-то неладное – темнота между ветками куста была слишком предсказуемой. Я так не хотел: или радио "Голоса Америки", или бабулька! Или в пятнах сырости, подтеках, пятнах.

Беспримерное мужество Штрауба. Но и беспримерное мужество Гомера. Только давайте не будем складывать эти мужества и делить их на два – опасность кладовки. Может быть, в самом деле я дойду до отточенного одиночества, подобного стволу, дереву отточенному? Вроде крышки гроба,

расписанной Сезанном. Хотя не была ли вся его живопись крышкой гроба цветастой? А вся история? С которой Сезанн просто снял стружку (как Ницше). С тех пор переоценки ценностей, корриды Мане уже не канают. "Коррида" (После Мане) – с трудом, едва ковыляет. Хоть и подпирается, когда ты в рубашке подпоясанной, хохлатый.

Почему же в партитуре я так страдаю, а, как взойдет солнце, с макароническим усилием начинаю бороться, и ливрея на мне зеленая пока?

Смеркается, снасти, Штрауб. Интересно, в чем была роль Юйе? Судя по документальному фильму, где показан процесс их работы, он ее просто терпит, и даже с трудом. На ее месте могла быть любая спутница. Это всё следы, лапти, лаптежники. Это путешествие внутри некой страны, скажем, США, куда пролазишь с изнанки, сама страна, впрочем, об этом ничего не знает, а ты лезешь ей в душу. Пещера-страна, Венера-сопля, край Марса-плаща, подпоясанный.

Но имя их, черт возьми, в смущенных складочками объятиях, в нахлобучках-шапочках, в хохолке чибиса.

Шел-хан и Шер-хан – они где-то там, под шелковицей, в Черноморке, у вершины сокровищ. Я так никуда и не ушел из этого детского мира, он всё мельтешит перед глазами, потому что это место, где мы заодно с США. Это место, где страна открывает глаза, а ты уходишь в летний зной или сумерки молчаливые – в то время, когда еще не было телевизоров на дачах.

В темноте, где отсутствует разница между Ивасиком-Телесиком и огнем пылающим вечно Другим, атакой Собеского (ярость, плоть). Они замирают в восхищении. Перед Ивасиком, грохочущим, полускрытым в клубнях. А по обеим сторонам его нечто вроде треугольника обывательского, на сходение. Морской вокзал шелухи духа человеческого.

Знакомая ассенизация взглядов. Помнишь, как вначале повествования она бегала к Арсению Тарковскому – наискосок, по снегу, мимо больничного корпуса. Они даже сына назвали в его честь – вот она крепость известки.

Так мы расстались. Я посоветовал им и дальше стоять в очереди на дрессированных медведей, а сам пошел по литературе наискосок от больничного корпуса (сумасшедшего дома). "Вот и лист пятипалый на границе приборя", – сказал Чаца. Я продолжаю раскрывать их обнищание с поклоном королю. За это время от скромного Арсения – тысяч в пять, толпа выросла до сотен тысяч человек. В самом деле, будто очередь на медведи на велосипеде. На медведь, на Маша, на посмотреть, на в бане парится. А ведь всюду стоит лишь один маленький человек. Может, он играл в запрещенные игры? Да нет, он молодой, красивый, он непростой, дед. Он вроде рыцарского замка наискосок от больничного корпуса (сумасшедшего дома). Я не помню уже, откуда у меня взялась идея взять мелки восковые и поехать на природу,

политическую природу – так родилась геопозтика. Это было сродни рыцарскому замку (Дюшан) и рыцарям в шапочках набекрень (Руссель, Учелло). Мы, бывало, голос срываем:

– Где Феофан?!

– Где Феофан?!

А Феофан сидит на прямой связи (Украина).

А Ван Гог и Гоген – два художника, утесы, они ревниво сравнивают, кто из них ушел дальше извилами духа.

Выступ угла дома по улице Кожухинской, препятствующий движению, получил добро на снесение, если это будет оформлено как праздник – вот сколько праздников у беспорочного бессмертного обывательского движения. Они называли сына Арсением. Выше стропила, плотники – а я качусь вниз по наклонной плоскости. Между кладбищем и тюрьмой (здание сумасшедшего дома).

Обе тарелки были большими, как тела, как хэппенинги, их заушины были большими пластинами: невские сфинксы и конопля. Этот фильм в виде длинной полосы – мне кажется, его еще можно спасти, его вырывы и кровоподтеки. Режиссер Штрауб улыбнется, взмахнет рукой, наморщит лоб, посасывая огрызок сигары, он воплощение творческой энергии и интеллектуальной честности – также, как и Делез.

В Польше считают, что люблинское наступление Красной Армии в 1944 году было намеренно, преступно коротким. Начало 2-й мировой войны считают равной виной СССР и Германии. И еще они запрещают нам пребывать в Римском баре. Он для нас недоступен как Тянь-Шань. Так что мы идем в гостиницу.

Тогда она сама, быстро выглянув в коридор, нет ли посторонних, скинула с себя платье и разметала волосы.

Она стояла сакрифайс и собирала с себя все, что можно вычистить с Евы – шапки растений, ости травы. Мы сидели и гордились так, будто мы коммунисты какие-то, межелайтисы. Вот и дождались – автовокзал вычищен и рейсов больше не будет.

Я приехал в Польшу как представитель того Казахстана, который вычищен. Представитель того ожерелья, продутого ветрами.

Скажем, ангел. Скажем, меня. Прилетит ли он сюда переживать? Или убирать? Или, скажем, Кабаков с величайшим наслаждением заканчивает в каком-нибудь доме творчества в Гурзуфе серию "Десять персонажей", а тут как раз приходит весть из Москвы о смерти Юло Соостера. Или женщина пожилая из дома напротив, через улицу, она вглядывается в меня с четвертого этажа. Она даже порой спрашивает, как дела.

Ах, если бы знать, кто остановил машину! Особенно когда за окном сгущаются летние сумерки. Впрочем, какой прок знать это, если машина все

равно дальше не едет.

Он нахлобучивает шапочку на манер тирольской, только черную, и спереди на ней звезда, как у старой советской военно-морской формы, и еще по бокам какие-то отвороты – выросты, рожки, филактерии.

Я играю с публикой, я играю с собой, я выдвигаю вперед ебаный Экибастуз, маленький автобус пробирается сквозь ночь в светлый, весенний Экибастуз. Шведский художник точно слетает еще раз в Штаты, хотя бы одним рейсом. А на борту самолета "Мрія" в проекте "Открытой группы" должен был быть целый выводок художников, правда, чисто номинально. А я вот не знаю, увижу ли еще хоть раз в жизни с самолета греческие острова.

Навечно зачислен в списки части, в отпечатки пальцев. Это почтовая марка, он ростом мальчик-с-пальчик, но верит в приращение смыслов, иначе не лизал бы края почтовой марки, не играл бы в духовность отпечатков. Это раздел мира, вечный бред Ципоры, деревянные ящики с обглоданными краями, крестьянин нагибается над схемой Мира. Я делаю "полу-Майдан", прыжок в пол-оборота, и все смеются.

Отражение лампы в окне – одна из самых длинных книг в истории, книга вечного оборота. Она намекает, что нет гор на земле.

Так напишешь свою, на свои слова песню – вместо песни Барского о Ботаническом саде в Киеве. Это у каждого из нас такой жребий – повернуться, вывернуться, и вот она песня, на скамейке сидящая беженка-прелестница. Ты вернешься в свой город предрассветным утром, сразу побежишь в привокзальный киоск за бутылкой, и вот уже наблюдаешь движение птиц, выворачивающих свои стаи над площадью на фоне проводов. Таков жребий наш, готов. Помогли ли мне табличные стихи Барского, или числа Фибоначчи – я не знаю. Поток не тигр, зной не поток, пропадаешь с непокрытой головой. И все ж лучше так, глядя на утренние пируэты птиц.

Это пахнет грудью, сыром. Качающаяся на волнах, бегущая перелесками томными – грибок-страх, грибок-страх, время жизни как время свинки, становящейся на колени, ободранные колени, фазаны. Это пахнет школьным двором.

Каждый человек, каждая женщина носят в себе свои собственные одежды – как она скрещивает ноги, как разливается зеленый свет. Самое главное, когда смотришь в лицо Луны, не думать: здесь она хорошая, здесь она плохая – она всегда одна и та же в своем желто-зеленом запредельном свете.

Ты уже избавился от кризиса и носишь в себе целую книгу – как луну? С кем живешь ты там? Не знаю. Отовсюду три-четыре часа лёта.

Почему же тогда пролетариат не счастлив? Я думаю над этим под пере-

ливы музыки Петра Аблингера, будто доходя до самого края, угла – слева от окна, где портрет бабушки с дедушкой висит. Почему же несчастлив пролетариат, когда в мире есть гречневая каша и голос Хайдеггера, сменяемый голосом Жана-Поля Сартра? Я думаю о метафизике, о гении и судьбе, о гейше, Гемере, доске.

*2015 – 2020*

## II СОЗЕРЦАНИЯ



Тяжелое магическое наполнение живописи Огата Кориана. Там нет легкости, он будто выбирается из запоя. Он рисует эту страшную упорядоченность алкогольных видений. Его волны – это белочка. Созерцая его картины, я понял, что полное созерцание – это и есть смерть. Точнее, наоборот. Я падаю в созерцание, как Батай в шанс, как муравей в элиту, как чердак в подоконник. Слон, отдающий поклон – когда созерцание становится абсолютным.

Шер-хан, Шел-хан – а между ними полотна Амриты Шер-Гил. Это Индия, но и Моисей кожистый, и медицинские инструменты, за бесценок скупаемые ее венгерским мужем у депортируемых моисеев. А также яхты, автомобили, пикники и купальники в стиле ар-деко. Но также кивающие во все стороны слоны.

Чуть позже, постучав к ним в дверь, попросились войти Бык, Вол и Осел, наравне с жертвами нацизма они напросились войти, смешаться с зеленым и голубым, из окантовки стать развилкой – там, где дуги позвоночные мои соединяют туловище с головой.

Батальон Неустроева вышел к Темзе. Я не знаю, почему вокруг меня так много пустого тщеславия, глупостей, дуракаваляния. "Обычную жизнь" простых хороших людей я не беру в расчет, я не умею в нее играть. Точнее, не могу играть долго, как тот чижик-пыжик-горнолыжник, которого все время тянет в сторону. Впрочем, и собственные силы тоже чахнут, только и остаются что дуги шеи моей, эти развилки, вырезы, никчемные гребешки.

Я называю немотивированные сравнения "горечавками", они ничего не уточняют, они не способны помочь, это просто толчок, беседка в горах, это камень и его камнеломка. Многие века прошли со времен "Илиады" Гомера, а он все ходит, сумрачный и одинокий, в домотканой одежде, скроенной то ли Пенелопой, то ли женой Вениамина Франклина. У порога сарая, где кони.

Песчинки, приставшие к сапогам, соломки – когда счищаю их, кажусь себе ловким Уленшпигелем. Потом вспоминаю бабушку Раю, промельк облаков, отражающихся в лужах, этот рыжеватый блик, под цвет ее волос. Стучит мое сердце детсадовским Данко. О, мы умели играть, в полостях брюшины, в подгоревших запахах. Шахматист Миша Подгаец ударно опровергал теорию, будто "евреи не спиваются", будто они ласточки. Мне тоже хотелось всегда быть ласточкой, которая одна во всех складках склона, норках и закоулках, а другие ласточки – лишь для того, чтобы поздороваться утром: "Здравствуй, моя милая ласточка!". Здравствуй, мой милый протяженный Лотреамон!

Он сдвигает решеточку на лоб, он сдвигает ремешки, он сдвигает шапочку на затылок – леопардовая шапочка в зной, буденовка и бескозырка. Он сдвигает разницу между вопросом "что еще остается?!" и вопросом "как он это терпит?!" Самолет, берущий курс из Куала-Лумпура к Австралии, мимо муссонных джунглей и мангровых лесов, мимо пряных островов Индонезии, извилистых протоков Новой Гвинеи, где не бывает смены времен года. Посторонись, подвинься, наплюй на шабат, расшаркай его ногами. Или застынь на болоте по колено в жиже, и пусть ты уже никогда не сможешь тронуться с места. Когда тебе заливают ноги в цемент, что еще остается, кроме как взглянуть на горизонт и крикнуть "мафия бессмертна!" Махорка, муфлон, побирушка, плевков растерзанный. Запутавшийся в бетоне Авессалом. Запутавшийся в елях, елях, пихтах. Запутавшийся в акциях "Коллективных Действий", севший не на тот автобус от станции Лобня. Я летел в Австралию кусочком гаги, прицепившись к крылу твоего самолета. Хотя это уже другая история... Или та же самая история? Это вечный дурдом, вонючка, шепчущая с изнанки. Это "что еще остается?!" Состояния, относительно которых не знаешь: твои ли они? Состояния ли они? Матисс вот там стоит. Генерал, Ольберт, Штирлиц, Ольбрыхский вот там стоят. И она тоже со всеми вами стоит?

И все равно порой, когда уже Джакарта, пронзаешь их мечом, и кровь пятнает шелковый экран позади. И подождите, я еще приду, и она тоже готова бросить им несколько ударов – голубого, сине-зеленого, турецкого, крестьянского. А к следователю не пойдем, и прожекторов на макушке моей пусть не будет.

По этой причине слоны были бессильны. Слоны были беспомощны. Их и зарубили после первых акций "КД", их уничтожили на квартирах референтного круга "КД". Так благословенно разыграли русскую партию.

– Что это?! – сказала христианство, увидев их всех в долине копошащихся, – сколько времени еще понадобится на этот беспредел?

– Но это же элька, судьба, – отвечали мы, – это дуги черные, когда подгибаешь колени, это пузырьки! А будете торопить нас, так вождю в кукурузе можно и винтовку дать: "Вперед на приступ!" Это нежнейшие Тоня и Вера у колодца, цветы акации, но это же приступ.

Мы двинемся на север из той итальянской котловины, на перевал, через его венозный бортик, мы наставим ружья на ту хрюшкину голову в бревенчатом окошке!

Я только не знаю, что мы будем делать потом, ведь нет ничего за тем мосластым перевалом.

Во главе соседей, во главе банковских работников проведем очередное разочарование.

Но сам перевал, его девочка, дурочка останутся неподкупны.

Я хочу проплыть дальше. Я вижу весло, его лопасти покрашены в два цвета – черный и красный. Белыми буквами что-то написано на черном, белыми же буквами – на красном. Но я хочу воспользоваться этим веслом по достоинству, а не читать, что на нем написано.

Я иду в ногу, или я не иду в ногу? Или я как та девочка, что надела на себя рыбацкую сеть – "не одетая, не раздетая" – и пошла в ногу с уткой. Или мы пошли к роддому забирать моего новорожденного братика Мишу. И тогдашняя зелень одесских Черемушек, дикая, полудикая, и я бродил между этими панельными домами, как Пржевальский.

И лежат ли у меня по-прежнему денежки на груди, в клеточках груди? Ведь я по-прежнему в цыганском кожаном жилете. А в окно заглянуло нечто огромное, черное – рыба непойманная.

Волны Коріна – между ивами. Волны Киева – как умереть счастливым. Всю жизнь обнюхиваю извивы буквы "омега" под звездами. Что такое творчество? Справедливость отщепляется от толпы, она парит в воздухе, а потом находит себя в неких связях, аэростатах заграждения.

Но не пугайся, Краснобровый! – я уже ушел в тень и со мной не надо заводить контакта, я стою под черешней, я стою на пороге Воздухофлотского проспекта. Я стою с нищетой бульдога – днем, и ночной черешней.

Это плотное мощение жизни, долготерпение воробушка, долготерпение Пушкинской и Малостранской, обрывы к морю или Влтаве. Затыкание за пояс, кренделя, песни – был бы человек интересный и, желательно, вежливый. Желательны переходы основных цветов – от синего к желтому, хотя между кирпичами, брикетами мощения, буханочками всё та же плотная, чернявая земля. Но он поет, стучит, соловушка, последний остался, уже отчаялся, малыш. Черные вороны Ван Гога, абстрактные стихи Кандинского (белые панталоны), приходит Шенберг – "я все это соединю", – говорит, и сочиняет "Лунный Пьеро". Беретик проститутки на фоне светящихся окон

домов, который набекрень, двенадцатитоновая система кладку мира не отменит, хоть сто раз назови "пропевнем" апрель или май. Толстые шины, колеса, кончик галстука-шарфа айседорит по колесу, этот день, этот пропевень в ночи. Лыжи, колени, лодыжки напрягшиеся – я вижу горнолыжника, несущегося со скоростью сто тридцать километров в час в дисциплине, именуемой "скоростной спуск", там нет флажков и ничего не надо объезжать, надо просто держать ноги параллельно на скорости сто тридцать километров в час, я вообще не представляю, как они это делают, особенно хрупкие девушки с косичками, это кладка мира, парящая вскачь. Я удаляюсь с каролино-бугазским ветерком. Распятие на потом, эти швы земляные я оставляю на потом.



Крыса, крыса – норушка, видишь, рыжая идет, этот купол, эти дуги. Ты мой маленький сырок, мы идем с тобою вместе – туда где память моя занемогла. Расскажите мне, дуги прекрасные, как гуляли мы до утра, как я полз к своей возлюбленной. Эти хрупкие овощи на перилах земли, помнишь, крестиками метили – и сразу трое подошли. Это было время товарищей, время безумных как мир площадей. Хоть и не имеющих отношения к народу: народ просто мним, народ мнится, народ в маечке. В углах всегда какие-то немощи, извлекаемые на свет. Дядюшка мой доставал все по первому же признаку: разгибание дуг – как растрачивание невест. Тяжело умирает пехота – это место силы, место памяти. Тяжело отходит зной, он же августовский, отходит камень – плитки, щели, фактура его слоистая. Сколь долго понадобятся нам еще банки в кладовках, бутылки, мячи? Скоро, скоро уже будем дома, как возвращение с дачи в город, в чистоту вечера, когда спадает зной. Не знаю, что скажут потом о моем тексте: он дает образец делириума? старческого маразма? образец волны? земли? спины? После того, как первые двинулись на самом деле (Чаца, Перец), я понял великую несобирательность искусства. Она светит в кубках на полочках, но она же чоботы. Железные сапоги рассвета. Ручка уже становится грудью – я устал, признаюсь. Но все равно буду показывать вам колышки невозвращения. Дрожат потертые колени и обойма врозь, но возвращаться не следует. Чтоб я так жил, как ости трав! Они смыкаются позади тебя, они преграждают путь к возвращению – в Израиль, в нирвану, настаивая на странности, они гонят тебя вперед. Но вот пользуешься ли ты еще моей водой? Надо ли приносить ее почаще? Это всегда моменты, которые не входят в большой флаг – французский или еще какой-то.

А позади нас разливается узорчатая поверхность, она же кора, а мы делаем топором ступени-насечки, а мы в сапогах!

Главная атака идет откуда-то с юга, со стороны Турции – луч света на лоб Брежнева, прожектор дредноута. Эти гады хотят играть со мной в шашки. А я вот суну в карман каштаны, и пусть луч света тихо шарит по стенам дурдома.

Эти ребята с моим текстом, я вижу желтый свет во дворе, пятно фонарное, я называю его "динь-дон". Я вижу поскребыши, окоемы, кругляши виноградных листьев. Осталось только понять: я придумал эту картину? Или я написал ее? Или я вообще не собирался ничего придумывать, а просто следовал зубчиками слов? Вот кто может в точности знать эту рушницу – между такими вопросами, такими ответами – знать все ее наподобие? Собачки кудлатой или носа корабля, режущего волну. Или все это не имеет никакого значения, и опустите синие шторы, и крученный пороховой шнур пистолетного выстрела.

Постмодернизма я не читаю, погруженный в созерцание – как на вилле Такоторо в летний полдень в воскресенье. Был бы я наподобие Ивасика-Телесика, ползущего по ветвям, было бы проще. Но я часть дегтярная, капля пятого пота, доля муравьиная, где правило и секрет – это одно и то же. Странно, что я вообще куда-то добрался, переполз от одного коленца тростника до другого. Я знаю, что созерцание – это соскальзывание в смерть, Дюшан, одетый в кухлянку, и его тобогган, сходжение Дюшана и Шевченко. Под маркой дальних стран – почтовой или какой иной.

В седьмом? Уже в восьмом?! Дурак не увидит обратной стороны стола. Мы воздвигаем фигуры обмена только сбоку, где черная полоса протоптанная, дорожка, звукоряд. До большой протоптанной улыбки Пригова. Я сползаю на пляжный! Или в окрестностях пляжа, где делал свои фотографии Михайлов. Не зайти ли к тебе? А мы приглашены? А ты режиссер? А разница между режиссером, луноходом и портмоне? Я буду завтра беззубым ртом шамкающего сфинкса. Патроклom без его ружья, нутром Патрокла.

"Скользить, скользить, драться, пересекать", – сказал я себе и отправился в Париже на рю Одесса, и в августовский зной, и с бутылкой вина.

А потом поднялся по лестнице ближе к лесу. "Вы поищите!" – сказал я им. "Но что там искать?" "О, все что угодно – с опорой на железяки. А если найдем еще не тронутого, пятнадцатилетнего, в кирасе – получим награду". Лес белочки, лист белочки-глазуньи, листья белухи. "Воняет страшно", – он обратил свой взгляд на море... Море было пустынно, пляж – тоже, никакого особого запаха я не почувствовал, но, возможно, он имел в виду ту вечную дробную вонь белочки-белухи, что сопровождает любое созерцание и роднится с ним, как перекаты с ручьем, – если ты художник, а не обычный миляга. Японское море и Булонский лес, Вронский, Скавронский, Стоковский, пятерня, березка.

Каждые пять минут из брюха этой телки некто высказывается по несколько раз. Нет, они говорят на разных языках и разными голосами. Однако в Арку мы их все равно отправим – во-первых, за детишек, а во-вторых, за нарисованный на щеке флаг.

Ребята, что мы несем, куда мы несемся?! У нас ведь сегодня тема "общее-всеобщее", и отвечать за нее должен суп. Этот, со вздернутым подбородком, должен был приготовить суп. Но не смогли мы сесть за чисто выскобленный стол, и не сварили суп, питались всухомятку, пряча по карманам, выходя из ресторанов. Когда становилось стыдно, вспоминали Гегеля, вглядывались в листья каштанов, пели "вот и лето прошло", в далеких городах не задержались, вернулись назад в эти грязные Одесса и Москва, "там, в небе далеком остывающий детский сад" шептали.

Сидя на скамейках, спиной ко всей публике, что продолжает закидывать в проволочные кольца мячи, "кидайте, кидайте" – кричат мы безнадежно. Все закончится как для мальчика из "Лесного царя", точнее, папы мальчика из "лесного царя" – мальчик-то стал Джеффом Кунсом, жрет теперь золотую бархатную вермишель, а мы разводим руками у опустевшего постоялого двора, пытаемся вернуться в разрушенные дурдома, где никто уже не живет, пишем письма, готовим пиццы-скороварки. Ее волосы потускнели, она уже не похожа на дочку Лесного царя, да и со щенками тоже – скажет, что отвезет их в Москву, а сама убьет на полустанке, сплошные подолы, посконные рубахи, уши заросли волосами – не услышишь сигнал атаки.

Они ему верят, в жопу целуют, а потом проклинать будут. Он и ручьем обернуться может, Рысаковым – мерзлая слякоть полетит из-под копыт.

Я-то знаю, дальше полковника мне все равно не дослужиться, и даже не поднимусь выше молний его карманов. В Истории я хохолок, удоб, летающий с опушки ближе к ночи.

О, красные ноги, красные ступни удода!

Бесконечное разглядывание волн Огата Корина, бесконечное разглядывание плетенок Огата Кендзана, созерцание охватывает меня, машет белым мучнистым крылом.

Огата Кендзан родился в 1663 году (я – в 1963). В 1737 году он принял приглашение переселиться в Сано (современная префектура Тотиги), где испытал творческий взлет, продолжавшийся до самой смерти в 1743. Так что я буду ждать еще творческого взлета и переселения в Сано. Правда, наряду с возвышенностью Кендзана я страдаю алкоголизмом его старшего брата Корина, а тот прожил как раз лишь 57 лет.

В середине сезона ударим по-русски! Что не встаешь, квакушечка? А-а, понимаю! Обручи и бандажи стягивают твой живот, где уж тут на рассвете

строить из себя Заратустру! Только Медведев и дети, мишка и мишка в полете карманном.

Лучи над Лениным или Светловым тревожат меня. Откуда они взялись в этой книге? И вообще, зачем столько старательных образов?! Лес в августе, прорываемый потоками ветра. Гетман Дорошенко. Качели в марте. Ну зиму, как правило, я вообще не воображаю. Не мое это дело снег, лучше уж шлепать по грязи. Топать. Тупотіти. Как украинский художник может писать по-русски? А как украинский художник может сидеть на циновке? Вот так подбираешь коробочку, корочку, но потом они рассыпаются во прах – все эти вопросы.



Фак! Но ведь эти бороздки вдоль мордочки змеи, зачем-то они нужны? "Фак! Я этого тоже не понимаю!" – говорит мой отец. Эти отчаянные желтые крапинки. Это тема Ито Якучу. Нелепая, неизобразительная – во всем своем велюровом сиянии, или в жалких завитках, кудряшках Пушкина, как спасательный круг ненужности. Спасительная тесемочка, когда мы зашли в безумии своем еще не далеко, однако собираемся пребывать там вечно, назад не возвращаться.

Тесемочки народных орнаментов, связывающие нас с домом, которого нет. Пусть будет этот дом условным – на расписной опушке леса, с уверенностью, надежностью, которых у нас нет, пусть будет он как утренняя чашка кофе, манная каша, мамыны сказки, ракета летящая на Марс.

"М-м-мм!" – замычала она, отнекиваясь, когда он захотел поцеловать ее, побежала, спряталась за колонну, ну прямо Гурченко, и в этом есть орнаментальность всего глупого и пошлого, без чего мир не мог бы существовать, его великие сладостные жесты, примерно для всех одинаковые.

Вот так мы и проводим день за днем орнаментальные конгрессы. Полоски занавеси на двери, той, что от мух, колышутся в токе сквозняка, но не рифмуются, не пишутся.

И этот хриплый бас, подобного которому не было в истории. Вторая сторона Джексона Поллока. И футболисты, когда они празднуют забитый гол, становясь плечом к плечу и покачивая ладонями-лодочками. Так они приветствуют, если у кого-то в команде появился очередной ребенок.

Марлевая занавеска на двери, та, что от мух, колышется, колышется в токе сквозняка. Или в победах "Черноморца". Или мама корабли снесла, тетя Фаня снесла гуцульское яйцо, писанку. Пересечение всех дорог, гермы, бледный писарь занемог. Или он стал лыцарем. Свет над вершинами городов центральнойевропейских. Одесса и Львов, и ржавые штыки Австро-

Венгрии, и самые милые хрущевки – во Львове и Одессе, и самые милые каблочки.

Плохой рассвет – сидящий в куцах Нгуен Лоан. Спасительный рассвет – в упор стреляющий Нгуен Лоан. 1-го квітня у молодухи начались схватки. Я смотрю на круглые бока лошади, на ее учелловский зад, на хвост, закрученный на манер ржаных колосьев. Возвращайся в избушку как настранствуешься! Стиснутые в ярости зубы. И так – вся история. Потому что угнетение или потому что крученые хвосты, зады? Хотя, конечно, и нужда. Подойти бы к этой лошади белесой и попросить немного пшена – но какая стыдоба! Впрочем, мы принесли им журналы, последние номера – пусть полистают, когда будут хрумкать. Строить, достраивать, переиначивать, притворяться. Ты уже видела, мама, что я закрыл на ключ траву в углу сада? Ты сама подбирала ключи?! Ты приладила крышу так, чтобы я ничего не заметил?! Экая деликатность! Стровбери филдс форева, борьба за огонь, приключение доисторического мальчика.

Изобразительность двух путей – тотальная венецианская и немецкая романтическая, с избебами. Это все еще будет при моей жизни – я все равно не могу уснуть, даже с двумя таблетками. Вот если бы дойти до уровня, где живопись Франца Клайна заслоняет и то и другое. Чтобы просто выверты кисти, черный тупой поворот.

Звучат гимны радости, гимны Евросоюза, гимны любви, которая никогда не придет. И даже у того, кто платил за все это – я разумею господ Бога – опускаются руки. Разве тот, кто заказывает музыку, может чем-то помочь звукам?!

Идет вечный дождь – у него уже нет гимна, потому что гимна гимнов не существует, просто идет дождь.

"Если бы ты хоть вытащил фотографию и показал ее!" – это голос друга сочувствующего. Фотографию кого – дивчины, работы? Какая разница – кто же показывает фотографии под дождем?!

Все вечерееет в сумерках пехоты.

Я гляжу на росписи в стиле "тоса". Я уже не переживаю за детей и иностранцев, просто гляжу на этот мрамор, слоистые метаморфозы, крюки лиц. А о дежурстве сообщу тебе особо.

Мы всё распределяем по строчкам, полосам, на каждые пять дней. Но я выхожу с предложением оставить всё как есть, как звездная ночь Ван Гога. Я не хочу выпуклостей, я не хочу масляных, я не хочу гудрон и бирюльки! Да, я не хочу, чтобы рядом с большим телевизором "настоящей реальности" стоял еще один, маленький, но вытянутый в длину телевизор Нам Джун Пайка и обменивался бы с нами шепотком – перед тем, как показать нам танец-песенку. Экое четвертушенье!

Мне бы хотелось на одном слитном экране, который уже будет просто мир, как все оно там есть в эфире, и не договариваясь заранее!

И, о дай мне Покойника слитной стеной!



Видение четырех животных я смог увидеть, когда разверзлись небеса. Но кольца, вы отдадите мне кольца?! Ведь в каждой комнате и в каждой главе сидит она с моим кольцом – бирюзовым, сапфировым и т.д., в каждой палате. А просто дверь откроешь – так не отдаст!

Я выбежал из этих домов, из этих сеней, бульваров, свиных бюветов, я бежал вдоль речки заболоченной и размышлял: "Ну заберу я кольца, так они бритвами раздерут мне ладони сжатые. Отдам для музея – так ее за них тягать будут. Нет, пусть уж лучше сидит она, как и раньше – с моими кольцами, в ваших свитхоумах".

И я бежал вдоль речки заболоченной, и небо накрывало дождем.

Есть мелкие слухи, советы ничтожные, но ты отнесись к ним с осторожностью. Есть синие вихри, покрытые пылью, лимонные склянки, музейные тяжбы из года в год. И понедельник ничего не изменит, лишь пошлые шутики в стиле Стругацких. В этой пологости никогда не мелькнет молния. Им бы только переименовать всё в "атомный ледокол "Ленин" и привязать веревкой к потолку. К на виду, к снегу, к цыплячьему пуху, к залупе. Коленчатые створки устрицы-Горгоны. С медалью "За доблестное покорение пустыни". За доблестные ямки, полные воды. Испей, испей, братец Аленушки! Обратное превращение джорджоновской "Грозы" в козлячий питомник.

Ты видишь человека на демонстрации, он сорвал с себя футболку и машет ей в толпе. Ит'с найс, ит'с вери найс! Если бы писать такими нахлестами: девочка на маечку, маечка на толпу. Но все падает в пинг-понг созерцания, и становится одутловатым старцем, и падает под стол.

Ты полагаешь, это круто? Я ведь живу неподалеку и мог бы носить тебе эту крутизну каждый день в лукошке. Но нет, я остаюсь в такой же горечи безнадежной, как и в первый раз, когда я прочел "Соединение слов посредством ритма".

Провалиться в созерцание как в курятник, где ночи и мыши долгий писк, бес-Пуруша определяет сознание, скорлупки помета трепетно-кровавы, в них зашифрованы грядущие восстания и бунты, исход из Египта, Миша-Моисей – слезящимися глазами он дивится на недоступную равнину. Преисподние сегодняшнего становятся лабиринтами будущего, писки как крылья – можно заполнить анкету?

Можно я выложу граффити в праздник на главной площади Львова – изображу там корму корабля, ее балюстраду, изгиб морской и космический, шалопаи в зюйдвестках стоят на корме?

Провалиться в созерцание как в курятник, где ноги прямые и ступни алмазны, на пятом году от пленения царя Иоакима, лопнувшие чрева беременных – тревлинский ад, найденыш Маруся стоит на корме корабля, стих – фараон (ассирийцы его обыграли), но ободья высоки и страшны, глазасты ободья, шаркая лодочками ошметки навоза в белой пене дорог и чугунные вечности щеки.

Василь Васильевич Розанов вглядывается в лицо дочери – на вид неказиста, но гуляет по Африке, что твой Рембо, и всплески заслоняют края вогнутой Африки-чаши. Ободья вечности так трепетно кровавы. Манерный и щекастый стих, как лик Петра. Взгляды царей ужасны, будто угаснувшие галактики, хотя иные глядят с сожалением, их потухший взор, а чепуха выметается солнечным ветром.

Умирали – чтобы всё оставалось как жили, чтоб не забыли трещины половиц, ножки столов. Кто посильнее, пробравшись наверх, мог отказаться, но кривоточно-слабые так и умирали в созерцании углов. Дед мой умер, созерцая толщину столешницы. Так было с многими на Молдаванке или Троещине. Созерцание – как Навсикая наоборот: удушающие объятия, лопнувший живот.

Письма Рембо как бесконечное падение в "Африканские впечатления". Нет чтобы поездом проехаться как кукушка. Но он падает в пробковые шлемы, где творчество неотлично от созерцания, и оба они пусты, падение в темноту, лишь томление на мухе, плавление на мухе и крики за окном: "Где мои десять сребреников?!", и узкий турецкий коврик – мы называем такие "дорожка", а по-английски он "runner" – и не знаешь, куда его деть, можно повесить на гвоздь, он будет качаться как маятник, и если бы люди всей земли могли повесить свои страдания на гвоздь, а потом выбирать, какие взять, и если бы дети всей земли взялись за руки могли, и я падаю, падаю.



"Ну что, ты готов?" – и дедушка открывает дверь в парадную, где пронзительный свет и запах утра, перед детским садом мы еще прогуляемся на вокзал, это называется падение в память и созерцание. Жрите без нас, сволочи, качайтесь по волнам, ласточки бегущей уже не будет, все сталинские ласточки израсходованы в 30-е, сколько же можно. Моменто моря. Девятый вал. Я же говорил, что эта

страна погибнет в фиолетовых брызгах, и теперь пусть поляки, ноги на радио положив, свои условия диктуют. Сколько шкур с Брежнева придется спустить? Три-четыре, я думаю, не больше. С Путина спустим костяк. С кого спускать самосвал – вот это еще задача.

А летом, черкушечка, ты плащ одеваешь. Даже летом. А летней ночью вглядываешься через ров. Ты черкушечка, черта, перпендикуляр рва. Летняя зелень твоя. Но взгляд твой, я знаю, уже упирается в вечер. Что ответить тебе?

Я смотрю на картину Такэучи Сэйхо "Тигр, поймавший попугая". Думаю, а вот если на видео это переложить? Если это будут смотреть дети в кинотеатрах – что они поймут? А с другой стороны, такая усталость берет от всех этих туров, вымаливаний. Когда пытаешься каждый сучок вытащить как мадонну.

Или наоборот, этот несущийся мир, его салатница, петрушка заставляет тебя созерцать свои либидинозные куски, а потом все равно уносятся они вскачь или с легким шорохом за угол, а силы мрачнеют, и только стук в соседней квартире, как полосы на шее тигра. Светлое, и зеленое, и белое-нежное.

Мне снились фильмы Жана-Даниэля Полле, и мне казалось, что я никогда не видел таких гениальных фильмов. Да, это была борьба с царем! Все должно было стать ясно в этой борьбе с царем! И это был скользкий век и книжная лавка близ площади Этуаль. И они хоронили революционера – да, под самым носом у властей, рядом с тиной бакинских камней, они хоронили революционера, они танцевали на песке, они выходили из рыбацкой хибары. Они были волки, волки степные – в палате дурдома. Пойми, мое терпение уже лопнуло! Но они сделали еще один полосатый дубль, и пусть правит над ними Остап Бендер, который в чалме, который Фернандель и Бхагаван, и великое утешение найденьша. Потому что найденность – это не то, что разыскивается, а то, что само нисходит на нас. Оно самка, она яростная, она находит нас. Она с алмазом на челе-короне, она пена у камней – там хоронили найденьша прекрасного под самым носом у охранки, у пены бакинских нефтяных камней.

Если мир укутывает меня Полиной, этой пыльной тишиной гробниц – через которую, впрочем, еще пробиваются крошки птичьего щебета – этой томной тишиной могил, а крошки птичьего щебета еще колют меня, как сквозь тонкую ткань. Или нет, они сыплются сверху, эти булавочные уколы мироздания, песчинковые вставки в бриллиантовой плите небес, хоть и не прольются они золотым дождем, но все еще напоминают лес порой, его струи, его ельник, его лесник, ушедший с утра по воду, в сапогах-сапогах.

Ты должен сам стать этой семьей, что-то бормочущей на смеси русского с идишем, ты должен стать этой колодой с перьями или крепким еврейским кузнецом-хозяйчиком, этой подводой, когда поутру... Когда уже, как "до, ре, ми...", стоят солдаты в фойе кинотеатров. Затянутые в дудочку. Затянутые в рюмочку

Цезарь сказал: "Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме", и вот он становится Куликом, или куличом, или мундирным странником под Мамврийским дубом. Тень дуба плавится в мундир, тень озера – в деву озера, метеорит становится быком. В крови? В крови. Вот пуля просвистела у виска. Пуля вонзилась в кору. Нож и яички бараньи зарастают корой, забытые. Метеоритные потоки все также вспыхивают в августе, но кто их разберет в шуме колышущихся, стреляющих шагов. В сером коконе интриг. Гибнет правительство Керенского. Никто и не собирается его спасать. Все смотрели на эти балки, колонны, хоть и ржавые, но вздымающиеся лихо до поры, все знали, что рухнут они, и никто не собирался спасать. Так пережил я звездный август и дожил уже до ноября. Впрочем, и холодной ясностью ночей не могу я похвастаться – всё сворачивает куда-то за угол, в теплый и ватный тупик.



Не забочусь я о милосердии Господа, мне иная сумма больше нравится – упаковать мадонну в ящик, по стене провести линию, стебель тюльпана или василька. Я могу сражаться и на стороне Польши, религия – дело государственное, а мне, будучи евреем, переходить в католицизм не обязательно. Маленький Бала Балде, беженец из Гвинеи-Бисау, будет сидеть у той вертикальной распускающейся черты и расскажет про свой член – такой большой, что он даже не мог войти в девушку, и гнусные кони, ходящие в первых рядах, разнесут в щепки колесницу Патрокла, кисло-сладкий соус экзотического происхождения продается в каждом торговом центре, и марлевая повязка на глазах, марлевая повязка на глазах.

Надо выстукивать постоянно – по органам, по орденам, по плану, именуемому ныне Малая Азия – ну-ка, милый, где тут твои пещеры? Они идут, каверны, пяточки, гирляндами седых лет, и улыбается им царевна Повилика, а красотки в ландо о них знать не хотят.

Густая сердечная боль, как 25-й съезд партии, неотпускающее кладбище униформ на Большом Стекле, тайные парочки у мельниц Рембрандта, тайное лезвие, на век иззубренное.

Хорошо зная об этом, Мехмед построил помосты и перетащил корабли в Европу. Будто ослик, любимец медресе, вдруг развернулся и показал востоку зад. Или пыльная олива перед церковью Агонии в Иерусалиме, иорданцы проложили здесь шоссе, а израильтяне расширили его. Но пальцы

истории не изменишь так просто – пятна, промельк копыт и стремительный бег саней, оберни меня, Саша, быстро, хоть в трилистник осенний, оберни без предательств, распорядителем объяви – тем, кто на рассвете цепляет крюки ко всем четырем углам света, крановщик, зоофермер. Электорат наш повыбило молью, или бежал он в Англию. Что ж, на исходе четвертого десятка все хотят быть пиратами, кажется будто Бог тебе чего-то недодал, и только лет через двадцать понимаешь, чего же он недодал тебе.

Ты ему "фас!" крикнешь – а зубы застрянут, западут в лунках Малой Азии, так и будешь доживать с лунками Малой Азии. Но, конечно, если сам художник, то можно изображать их так и сяк, штриховать разнообразно, прищелкивать языком, марафетить.

Между орнаментом и пафосом – Венера Веласкеса, встающая вертикально. По-прежнему спиной к зрителю, но уже с крылами, которые она позаимствовала у Эрота. Все также умопомрачительны ее бедра. Она восходит в августе. Но мне надо возвращаться домой. Я мог бы рассказать вам еще пару историй, но все они печальны, а мне надо возвращаться домой.

Когда молодой стал собирать людей на площадь, он начал просто потому, что это площадь.

Когда малютка вышел из кабинета, в глазах у него были слезы.

Когда маленький мастер шелковой бородушки...

Когда маленький папа римский (римлянин)...

Все тексты начинаются и заканчиваются великой материнской грудью, утробой, родиной. Там, через сполохи Океана, через его раковые шейки, мелькает тело Кита, Китаезы, Моб Рула. Леонид Лох, Леонид Пинчук, Леонид Плант выпевают вдоль пути. Музыка становится все громче, мелодия крепнет, она заглушает тело Кита. Она играет его песнь, его крики – не молчание, не землю, не дольче фарниенте. А потом следует неизбежное: "Юра, познакомьтесь!" – и вот вам еще одна обуза, еще один крантик. Потом следует неизбежное: "Выпил – вспоминай!" Потом следует шукура-наждак. Ящик-голыш. И самый страшный на свете, Киевский вокзал. И Белорусский запой.

Надо бы позвать все-таки папу-Бергсона и спросить у него, есть ли жизнь после смерти. Ну вроде как бороздка твоих нижних губ. Или как дурдом, в котором сидел бы и сидел – книжки там интересные, картины на стенах. Как вечная упругость объятий. Как вечные банные шайки и вечные Голиковы.

Нечто приходящее неуклонно, как смерть. Пусть сначала она кажется изгибом, веткой, поцелуем. Ты не можешь удержать ее диаметр. Он сужается,

господа! Дикие тигры набрасываются на тебя из-за угла на Воздухофлотском проспекте, из воздуха угла.

А до этого переходил улицу в Кельне, спокойно шел в магазин, казался сам себе господином, но какие-то духи выскочили из-за угла, по принципу "Киев-Кайфын" загнулась труба, началась судьба, злые духи, суестьищиеся у колодца – в него и бросишься, и не бросишься, только плеск этот сводит с ума.

Есть надежда на превращение плеска в субурган, верблюд шарит глазами по направлению стран света, и все оно в ласковой лиловой полутьме, академик Обручев читает тебе газеты, дебри Центральной Азии в каждой слезинке, каждом волоске бороды. Следы на снегу. Залипли, залипли! Непередаваемый ужас и вишни.

Дело не в воде. Хотя и это кайфово: вода делает себя в той же мере, в какой мы делаем ее... Может ли возникнуть город на берегу океана, сам по себе, из белой пенной нахлобучки, без торговых потоков извне? Я представляю себе какой-нибудь город на Огненной Земле, какой-нибудь голод извива самого по себе.

Прыжки двойной Евмей, тройной Ахиллес, прыжки назад с закрытыми глазами. И все это на мягких ногах фарша.

Я всегда хотел писать сцены на корме, откинувшись назад.

Однако это не гомеостаз, он нуждается в лечении и заботе. Это путь вниз, темнеющий аленький цветочек. Я хотел бы быть чудищем, которого поцелуют, однако, когда шкура твоя все больше смыкается с тьмой, кто станет тебя целовать, кто определит абрис тела?!

И все же, блики света, сопровождающие эту картину, по-прежнему глазастьи. До самого конца я буду изображать их вроде ангелочков. С мягким понимающим юмором. С грустной все принимающей улыбкой.

Пресловутый гиеризм – от слова Гиерон, тиран Сиракуз, хранивший верность Риму. Пресловутый крученный – от слова Крученных, постоянные вихри вишневые, запонка, летящая в цель.

Пресловутый Павлуша, когда тело креветки превращается в этикие секции, наподобие поезда или купейного вагона, и в каждой своя жизнь. Пресловутый Подвойский – если бы у меня была группа учеников, я, конечно, привел бы их к Гене Подвойскому.

Пресловутое отречение Петра.

Раньше я с трепетом смотрел, как они там прогибаются на корме. А сейчас уже никакого прикола: просто смотришь как отгибаются назад, видишь какие-то ракурсы белеющих животов, голов не видишь. Делакруа не видишь.

Видишь равлика-Павлика, или креветку, или сценки в купейном вагоне.

Как говорят в таких случаях, "в быстро мчащемся купейном вагоне".

Подлецов, которые могут зайти с другого боку, было не так уж много даже на Фурманном. Хотя все возились с "концептуальной" живописью на больших вертикальных панелях мазонита (мы его называли в те годы "оргалитом"). В первом приближении может показаться, что лезли кто во что горазд, но на самом деле все было довольно стиснуто: Володя Мироненко писал слово "аничевоситна", то есть "антисоветчина" наоборот, Сережа Мироненко – слово "Ошибка", как-то он гордо пояснил, что хотел этим выразить мысль, будто современное искусство – это "ошибка", Свен Гундлах ничего не писал, а просто крепил на картину какие-то парфюмерные баночки, я писал – что-то про "ночь копания в огурцах и высаживания помидор". Поскольку кроме надписей там почти ничего не было, работы изготавливались быстро, и вообще их можно было поручить ассистентам. Через месяц-другой такой работы ассистенты мужали, крепили и начинали делать собственные картины с надписями с помощью других ассистентов.

Я помню, как было файно в доме веселом Аполлония Родосского, я помню розовые плиты храма, на которых золотом был отлит эпиникий Пиндара, я помню, как ходили чаши в доме веселом принца, и ты опрокидывалась на живот. Рассветы над морем, закаты над лиманом. Там как-то намыло целый остров – с косами, заливами, там было три озера с теплой, по колению, водой и еще чайный мыс. Мы перебирались туда вброд с моим тогдашним каникулярным приятелем, повязав рубашки на голову, чтобы не замочить. Сам он был из Киева, и потом, по дороге домой на машине они столкнулись с грузовиком, он выжил, но отец его скончался на месте. Где-то под Уманью. Лет двадцать спустя в тех же местах разбился насмерть Гриша Чаплик, ехавший в Москву на день рождения Игоря Бروفмана. Только он врезался не в грузовик, а в телеграфный столб. Так вот ходят чаши в доме веселом принца.

– Кроме военного, есть еще и Большое гражданское знамя, – сказал Второй сын.

– Отлично, оставь его себе и провались с ним вместе! – сказал король Лир.

Кроме военных, есть еще и гражданские обязанности: пяточки, целование замка, благоустройство, забота о прекарной продавщице киоска. Отлично, оставьте их всех себе и проваливайте все к черту. Мне оставьте натягивание уздечек. Пусть лихо выгнется губа коня. Слюнки коня потекут вдоль кинотеатров. В ту самую пору, когда ты будешь постукивать каблучками, сбивая киевский снег.

Клубочки, клубеньки еврейских воспоминаний, решетки, нити Ури Гершовича. Темная прибрежная бахрома Израиля. Пацаны на пляже играют

в "матку", это вроде бадминтона, только с деревянными ракетками. Их крепкие ноги, волосатые груди, маскулинные шорты, и как они цепко, с отворотом ставят пятки в песок. А надо всем этим сияющее небо, где я уже не могу отличить проклятия от благословения. Книга возможностей свертывается в букварь. Симка-Иегова, дедушка-Редька, слепящий базар воспоминаний, только карманы пустые. А ты, Славик – правозащитник. Славик – конопля.

Виктор Браунер совершенно точно видел призраков, входящих и выходящих из его мастерской. Они рисовали птиц энкаустикой, они шарили по углам, выскребывали остатки воска по днищам кастрюль – не пририсовать ли днесь еще одно перышко? Пыльные летние кроны деревьев на улице, ведущей к вокзалу, Румыния плавилась в Молдавию или Украину, или в Париже в бульвар Себастополь. Ох, эти кончики маховых перьев, как сестры в полете, улыбка Юрика и мелкими шажками-рядками. Перья подобные клавиатурам. Моег пол кругами смородиновая бабка, ветер раздувает сердоликовые щеки.

И длительность тогда приходит к нам. Ее тогда называют "к нам", ее тогда называют женщиной. Легкое совокупление в сарайчике. Михалков и Калягин держатся за бока. А ты был шапочник, разводил руками, делал вид, что плывешь в сарае, выпячивал глаза. Ох, эти длинные мучительные связи загребущими глазами: колбы, реторты, провода. Многие ведь и не помнят, как оно было до 1991 года. Деятели культуры, тщательно проблематизируйте списки! Свинорыло, разлагающееся на дирижерские такты, колбы, реторты – как оно было до 1991 года, вспомните! Только тогда, в полном сознании, мы подойдем к опушке волка, и, может быть, даже напишем об этом в книгу-газету.

При сиянии Неба и отсутствии гордыни каждый становится Фрипульей. Он надевает вериги-отбросы и кричит: "Безмежжя!". Сизые кони обирают его, откосы земли размытые рушатся в Днепр, а он все идет в цепях-самобранках, как та девка на утке, одетая сетью, и красит яйца. Я уже сам не помню, что обещал я Моне, а что – Фрипулье, я уже сам не помню, к какому вулкану и к какому рожну.

Езжайте на восток, сказали ему, к мамкам и воспоминаниям. Он подался на восток, и жизнь его стала напоминать спирально закрученный штурдель.

Или я не подавался на восток. Я пытался подбирать слова на среднем западе. Крутил ими в замочной скважине. И что поразительно, что вся эта патафизика, все самые удачные хитросплетения смыслов, выводили куда-то к народным страданиям.

О, каштаны в ночи!

Вот он, жук-коллоид, в три раза больше земли, крылья его – камыши, надкрылья его – дети бесноватые. Когда жук-коллоид отлетает от хаты, там светится четверица окошек.

Я увидел нотный значок на письме, вроде тех, с которыми играют Малера. Зачем он нужен здесь – соединяющий две стороны гладкого, как спина, моста?!

Я должен спасти Пьеро, чтобы его не выгнали из оркестра за пропуск значка – буду показывать всей труппе после игры под мостом жука-плавунца.

Пьеро избрал себе широкие ворота. Он пропустил значок, когда они играли широкую как мир, столетнюю симфонию Малера, но игра Пьеро была еще шире этих ворот, она была воистину крикетна: "не можешь пройти – пропусти воротца". Его игра была воистину конкретна, как река Иордан и ее роль в арабо-израильском конфликте, ее водяной ресурс.

Прощай, мой жук-Европа, да и ты, мой сетчатый жук-жужжизнь, прощай-те, на меня уж идет охота сверху, ее двуствольная пищаль вечности-женственности. В черно-желтом арабском интерьере я должен ждать раздетый на фоне неуместной красно-белой полосы.

Но самое главное – не путать вопрос жизни с вопросом творчества, помнить, что разница между ними всегда на один глоток. Глоток воздуха я здесь имею в виду. Или промежуток между двумя сторонами улицы, по нему ездят машины, а улица – утренняя улица Ярославского (Троицкая), ее разливы молока, ее молокозавод, моя бедная Одесса поутру.

Ваш худсовет – это огромная услуга для Родины, вроде как катить бочку по широкому настилу, перед тем как ее опускают в люк. Настил – это народ, люк – это архив, хранилище, там никто не живет, только протянуты короткие и длинные провода, но тока нет, нет танталлизации. Я спросил об этом врача-рыбака в кепочке, он ничего не ответил. Пусть даже врач узбек, все равно обидно.

Врач-узбек шел по мостку через болотце, наподобие жука-плавунца. Или врач был японец, совершенный японский кадет? Я подкрался к нему сзади, я застрелил бы его в затылок, если б не знал, что это всего лишь медная драгоценность-игра, ее выгнутая трубка, пусть и блестящая как золото.

Зачем ты открыл глаза в этой тонкой "Смерти Заратустры", зачем приблизил край рукава к пятну на ладони?! Красноквадратным станет фонарь и шумом приморским – радиосум, а ты, изгаляясь, будто Грабарь, будешь путать живопись со штаниной. Швейцарские горы заместят лиманский рассвет или восходящее холерное солнце по пути автобусом из Великой Александровки в Белую Криницу.

"Люди, я любил вас – будьте бдительны!" – маячит где-то за чередой комбайнов.

Или: "Я с ними на одном поле даже срать не сяду!" – маячит там же.

Впрочем, я всегда был Каштанистым Колей, присаживающемся у плинтусов. Запрягал в двуколку урну Патрокла.

Или я сам стал Патроклом, когда повымерли мои Ахиллесы, перед тем обратившись в стадо баранов, а я остался сторожем лысым при курганах, в которые непонятно зачем воткнули градусники.

Температура земли пребудет одной и той же, ей нет дела до наших штук, я опускаю рукав еще ниже, он закроет ожог глобального потепления, и возьми траумель с полки, ай-люли-люли!

– После возлияний, после творческих групп и таргетных полей, что делаешь ты здесь?

– Храню закон возлияний. Возможно, мне хватит его, чтобы дожить, стоя на одной ноге, с кружком колбасы и чекушкой в кармане.

Он, мусоля пальцы, привык уже своего недоумка нашлепывать, а тут задача еще очевиднее – убрать черту под волной, дать свободу пафосу, пусть барашки сталкиваются головами. Так Филип Гастон выходит из шкафа, в толстых подошвах, печатая шаг, проходит по мокрому асфальту, ветер яростных атак роднит его с фигурой бровастого Брежнева. Или с фигурой чистого прищелкивания.

"Давайте спрячем робкую ерунду!" – кричат девушки.

Быть им художницами. Быть нам художниками. В прохладной воде пальцами прищелкивать.



Итак, на самых последних обломках колесницы я буду продолжать клясться в верности флагу державы – той, которую мы выбираем случайно и верны навсегда. Это угасающее кондотьерство, переходящее в гримасу вечности-верности. Он отпускает все нити, включая дружбу и т.д., он падает в созерцание родины-ветки, его колесница уходит за поворот.

И повод, поводья – где взять повод?! Потому что распадаться идем, это несомненно. Само решение, текст, оно пакетное, как холст, между подрамником и воздухом, – вроде какого-нибудь бальдассаре, – он исчезнет потом.

Но мне хотелось бы стать кольцом вокруг горы, а потом – атомом, внутри которого это кольцо.

Закрой, Менди (Махди), эту дырку, эту пуговицу у подножия горы, а ты приготовь часы, швейцарец Карон. День твой ясный, и с позументами, Африка твоя проступает, хоть и занозистая, как Руссель-Рембо. Знаем мы, сколь долог будет путь на вершину и как болят м'язы, но упокойный вечер приносит нам сизые тени коней, пусть и мелькает иллюминация в стогах

Моне, хрипнет Мирабо, а телик молчит, на лысой вершине горы в пьяных мыслях будут дрожать звезды, так и уйдем в хрусталь, не поздно, не рано, желтком подпоясанные, перемазанные.

"Мгновение остановки: многосложный, нежный и неистовый порыв миров захлестывает твою смерть грязноватой пеной". Мы с тобой садимся в грузовик, и кто из нас будет править? Они с Батаем садятся в автомобиль, будет ли править Батай? Ее шарф развеивается как у Айседоры Дункан. Я вижу рубчики протектора на песке. Я вижу гостиную Полины Виардо, когда входит Тургенев, и все почтительно поднимаются с мест и даже поют. Я вижу матушкин борщ. Я вспоминаю строчку Чацкого – что-то о "бреющих пену дорог". Опасной или безопасной бритвой? Я стою перед воображаемым грузовиком, в недоумении, как городничий, растопырив руки.



Посмотри на ее работы! Все фигуры обведены черным контуром. Они не проститутки, они не ля-ляп, но обведены черным раскидистым контуром, как лягушки.

Я бы сказал о великом множестве лапки, о ее силе восставшей. Лапки обездоленной и обведенной.

Вроде как маленький, модно одетый Деррида, мечущийся по Парижу. Обведенный контуром.

– А как с добавочным дыханием страны?

– Добавочного дыхания страны всегда недостает. Это круглый рыбы роток. Но обведенные перья иль чешуя, обведенные вздрыз – это ракета моя и твоя.

Это аккумуляция великой щедрости контуров. Матриархат в спецовках. Родина бегущая в атаку. Они накапливаются, просачиваются переулками, проходными дворами, выжидают в подворотнях, а потом идут в атаку.

И ни ребенка не взять, ни тенью броска не взлететь – то ли Леда и лебедь, то ли рисунок с дальними жирафами, сделанный Гумилевым перед расстрелом. Пушистое яйцо вспархивает вверх, когда рушится вниз поплавок бутылки бенедиктина.

Часто я читаю одно, а вспоминаю совсем другое, курочки и провода перепутаны в башке, как в разваристой бабушкиной ухе, как в сумятице, шорохе баскетбольных бросков, в сборе винограда и траве упоительной. Это сеть, которая опускает меня в созерцание-смерть, это сбруя удава, ремешки, спускающиеся вдоль щек удава, столик в степи – ему ничего не оставалось делать, он только дрожал, глядя как позолота сползает со стула, стола, да и сама их форма растворяется в сиреневой полутьме.

Все же надо бросать время от времени в эту юшку драгоценный камень, удачную пластину, нежную песнь, дабы разъяснениями цены они переопределили поле возможностей.

Вытянув шею, напрягая гривы, лошади барахтаются в поле возможностей. Пьяный, пошатываясь, икая, он приближался к телу возможностей.



Все еще рассчитывал найти такое положение свободы – так и сляк перехватывая руками гитарный гриф, играть не умел, лишь разыскивал правильный угол наклона к мокрому песку пляжа. Со всеми его "морей" и "за морей" – вон горячая вода идет в ответ на верные высказывания – так пытался он найти истинное расположение грифа гитары, после дождика в четверг, чтобы были в нем "о-хо-хо!", и "вэйз мир!", и "смок он зе вота". Солнце перемещалось справа налево по горизонту от Аркадии к Ланжерону, где-то в апстэйте Нью-Йорка еще пыхтел над своими холстами Филип Гастон, хоть мы об этом ничего не знали, в Кясму пыхтел Монастырский, придумывая очередной перформанс, Коля Козлов и Никита Алексеев собирались в Одессу.

Он держит в руке колесо, колесико, цапфу – она называется "самость". Самость не ранит, только качается туда-сюда, как красная звезда на заднице красноармейца. Самое страшное, что я никогда уже не смогу изменить тех мелочей, вроде получаса, что мы потеряли, пока ты ждала меня на конечной автобуса, а я тебя – на вокзале. Это как невозможность вздохнуть, но биться головой об стенку из-за таких мелочей считается неуместным. Да они ни на что и не повлияли, разве что нарушают гладкий пролет в абсолютное отчаяние и исчезновение самости, вход в дома, где никто не живет.

Недостающие километры? Недостающие километры! А что с ними случилось? Не знаю, я проходил их уже много раз, к тому месту, где мир, казалось бы, должен рухнуть в точку, этот лесной подъем на гору, на холм, ступеньки сделаны бревнами, заглубленными в почву, я проходил такие подъемы много раз – в Австрии, Швейцарии, да и у нас в Карпатах, иногда, если слишком круто, а на тебе тяжелый рюкзак, было удобно разворачиваться бочком, подыматься, как лыжники, "лесенкой" – так или иначе, я проходил такие подъемы много раз, и ничего, ни на йоту не менялось.

Уже не нужны никакие автобазы – они все хуевые, и ты ничего не можешь изменить. Однако буду пытаться ходить по-прежнему, покачиваясь, стоять, прислонясь к дверному косяку, вешать одежду вверх ногами и соединять ее длинными тесемками разорванных воротов, или вообще чем-то совершенно другим, заведомо неподъемным.

"Примостился с турчаночкой рядом на веселое аутодафе" – это парафраз из стихов Чацкого. Я заслоняю салатный глаз приборя, я вижу какие-то черные дуги – порой на картинах они получаются у меня очень неплохо.

Вижу и берег, где язык скоро завершится огнем. Да, тот берег – где море сходится с огнем, черные дуги – с косогорами, я схожусь с Чацкиным, и так далее, и так далее.

О, дети республики святого Марка, во что вы себя превратили?! Во что золотистая Венеция себя превратила?! В затон, где дремлют корабли?!

Я – Водолей, я – Водолей, я шапочку-парик нахлобучил на глаза – у каждого диалога свой вторник, своя история. Ох, этот острый мыс моего паричка. Цыбуленко, Кабаченко, Цыбульский! Широко простирает Венеция руки свои в дела человеческие – вплоть до пробкового Дубровника, коркового Сплита, но там уже наготове коровий союз бомбометателей. И шапочку с заколкой паричком надвинул на глаза – я в розовой рубашке, я один из номеров бомбометателей, хоть далеко и не первый. Я веснушчатый медведь, хозяин леса... Я острый край парика, что твой Оккам... Я поросль между лесом и взморьем... я лишь поганый могоендовид.

Обшаривать мир в поисках "Коллективных Действий", только истинных, обшаривать каждый гранитный руст! Мы с тобой по этому поводу заключили договор. Ближайший руст, я помню, был на улице Карла Маркса, нынешней Екатерининской, на облицовке здания КГБ. "О, Юрочка, это место для самых опасных преступников. Дай бог тебе сюда никогда не попадать!" – так ответил дед на мой вопрос о назначении этого здания. Возвращаясь из школы, я всегда с опаской поглядывал на полуподвальный этаж – а ну как отсюда вырвется парочка опасных преступников.

Дедушка как в воду глядел, как в гранит. Впрочем, в этом здании я никогда и не был. Я был в районном отделении КГБ на Черемушках. А в головном офисе, в его архивах потом, после Перестройки, работал Хервиг Хёллер – изучал одесские корни Питера Вайбеля и, заодно, истории одесских сексотов. Ничего особенного – архив как архив. Разве что можно было запрашивать и просматривать любые документы, но ничего нельзя было переписывать оттуда, и, чтобы следить за этим, рядом с ним сажали молодую сотрудницу, которая, впрочем, скоро засыпала.

Странно другое, что при всей своей декларативной независимости я являю собой лишь фигуру муравья, ползущего по гранитному русту. А вот "Коллективные Действия", при всем своем кажущемся конформизме, такими не являются. Они, скорее, Рустиччи, Ручеллаи – прекрасная деревенщина, вроде капустных зарослей у ручья, в пятнах света, ну и муравьи там бродят – конечно, конечно...

Я вижу какие-то вихрящиеся полена в светлом, охристом колорите. Вроде белесой живописи Пера Киркебю. Вроде размазанного, с водоворотами, Поленова. Я вижу, человек стоит, прищурившись, в голубом хитоне, читает что-то. Шрифт наверное мелкий, вроде какого-то рецепта. Картину можно

было бы назвать "Фарисей". Или, скажем, крутящееся березовое полено с глазками, в голубом хитоне и в одесском теплом колорите – вроде картин Хруща, Наумца, Дюльфана-старшего, Ануфриева-старшего, Люды Ястреб, Маринюка-старшего, Стрельникова, Межберга.

Кроме того, картину можно было бы назвать "Замочная скважина" – зигзагом ощерившаяся или прищурившаяся замочная скважина в голубом хитоне.

Я всю жизнь пытаюсь нарисовать ключ к этой замочной скважине. Получается не очень. Сначала я рисовал с натуры, но потом они все стали как-то умирать один за другим или исчезать куда-то, проваливаться в пажитях жизни, так что мне пришлось перейти на рисование по памяти, а это, конечно, не облегчало работу. Вдобавок меня угнетало неумение рисовать, и не знание того, кто поручил мне все это, и неуверенность, можно ли вообще нарисовать этот ключ, да и зачем это делать, когда все они и так стоят перед глазами: березки, Хрущ, Наумец, море и т.д. – все это, конечно, не облегчало работу.

Поэт Никитична Ярославна, а я вглядываюсь в твое лицо – повыше уровня полей и тополей, и в тот город, которым ты командовала, который победил меня в дворовой игре истории. Но теперь вот надо защищать самого себя, а я не знаю, достаточно ли глубока моя яма и достаточно ли близок огонь. Помню только, что какой-то Марсель написал об этом книгу – то ли Габриэль Марсель, то ли Марсель Пруст. А, может, и Томас Манн.

Мышка клюнула лисичку на переднем крае Луны. Твой собственный сон давно уже стал дядюшкиным – с криками, хрипением, слащавым бредом. Мысли о смерти давно уже ассоциируются с тапочками, мысль о жизни – с партией "Единая Россия". Вишневое имя страны осталось лишь именем.

Бросать линии наугад – в этом смысл. Я плыву вниз и бросаю линии наугад.



Нет смысла отделять себя от других людей – это лишь вопрос формата, он же пропорция. Одновременно, это и отблеск стакана, стоящего на столе.

Стакан с чаем, так я думаю. Или все-таки кофе? "Все-таки" – поскольку я, как правило, не заказываю в общепите чай. Принесут такой плохой и слабый, что лучше уж пить кофе.

Это также вопрос желтого кухонного света, пробирающегося на лестничную площадку через маленькое окошко.

Десять минут осталось у ежегодного пятнадцатиминутного майского столба.

Аристократия, демократия... Аристократия будет посвящена тому единственному броску падающей линии, что не сбудется. Так что не пропустите. Не сбудется у ежегодного пятнадцатиминутного майского столба, с его жужелицами и мохнатками.

"20-14!" – кричит какой-нибудь безжалостный режиссер и клацает затвором фотоаппарата.

Я понял иерархию задач! Я понял последовательность задач, когда они падают в злую тьму! Вот только надо найти место для задачи, именуемой "Сити". Это вообще отблеск или не отблеск?!

Это бидон! Это пустой молочный бидон. Он подтянул колени к подбородку, скорчился и стал похож на бидон. Забытый в песке на пляже.

Под каблуком, опускающемся в злую тьму.

Первый урок толстокожести: они раскрываются змеей, бутоном, но интересуется их совсем не это, а график выхода на работу в студии – он же график раскрытия к небытию.

Нижняя пара – еботь!

Верхняя пара – ебок!

Я тоже никогда бы не смог ответить: это встреча? Или простое раскрытие к зайцу?

Он написал текст, посвященный (само)раскрытию, падению, остановкам в темноте – пожалуй, лучший его текст. Текст набрасывался в условиях все возрастающей стиснутости, надвигающейся тени шиферной.

Превращаешься в этакого беспокойного папочку: "Вы что, не могли кран закрыть?!" "Вам что, обязательно обращаться в грозди – в эту виноградность, ягодность?!"

Сам виноват. Хотя и проделал Путь. Мы проследили твой путь – по красным колпачкам, оброненным меж тетрадей. Вполне возможно, что это были лишь клоунские нашлепки носа.

Дом Луны как предполагаемый Дом Свиданий или Дом Китайского Императора. Император выходит на балкон в халате, как если бы он был в Доме Свиданий.

Это наши китайские братья – казалось бы, на расстоянии вытянутой руки, но не можешь дотронуться, потому что идет игра в 100 тысяч вольт, и все тонет в тумане с горошину. Так я смотрел на это и думал рассеянно: "вот в следующий раз..." Но следующего раза не будет – все сцеплено руками, боками, ребрами, и даже падения носят какой-то невыносимо счастливый, коммуитарный характер. Я не хотел снобизма, я хотел бы вместе со своим народом – боками, крючьями – я даже собрался строить себе бревенчатую хижину, но взмыленные кони опять отнесли меня очень далеко – на расстояние вытянутой руки или банной притолоки.

Короткая тень – вроде велосипеда.

Длинная тень – вроде нишенки белесой, похожей на велосипед.

Чьи очертания вспыхивают вновь и вновь в бесконечных завалах велосипедов (библиотек).

Только ускользание может поддержать твою стойку на пальцах, только кончики пальцев могут поддержать тебя в мире-на-льду. Как соединить падение-созерцание с бегством, как разминуться с углом и подушкой, с болваном в снегу?!

Судорожное смыкание стены. Но там всегда еще остается небольшой зазор, как между ключицами. И по нему всегда течет кровь, как у Муаммара. И стена может быть белой, стена может быть троянской – это ничего не меняет.

Автопортрет на фоне красных маков или зеленой травы... Будем крутить-вертеть, пока не подойдет, не приблизится, не станет на "ты" – вроде жука, закусившего провода, Руди Шварцкоглера в белом коконе бинтов, одинокого холостяка, жука в банке...

"Да выключи ты эти новости!" – вдруг крик такой раздается.

Падение смысла – вроде падения аксельбанта с плеча. У Брехта или Ту-хольского...

Каждый вечер одно и то же – они хотят, чтобы смысл падал отдельно, батончиками: Дания – это Дания, Польша – это Польша, а потом их смыслы положат в нишу и скомпонуют из них Фортинбраса в виде гольбейновского Христа. Но я хочу чтобы так, как в Венеции, где смысл мешается и падает длинными нитями в каналы, и ты сам уже не знаешь, где тут Испания, а где – Сербия. Или как у Маньяско, где смысл сворачивается в простынях, пропитанных ночью, заразой, дегтярных простынях, кронах деревьев в фонарном свете. Или они вообще выбежали из туннеля там, по другую сторону. Черемушки еще только начинали застраивать. Каролино-Бугаз – тоже. Вокруг были холмы, дюны, какие-то болотца с хлюпающими мостками и длинная пенистая полоса прибоя.

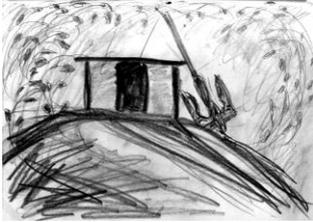
Я взглянул наверх и вдруг отчетливо увидел Вечность такой, как она есть – множество огромных миров, белесоватых как бревна.

Мышка движется поерзываниями сквозь гору бытия, но вот отказывают тормоза, и ты видишь Вечность как огромные белесые бревна в лесу или процессии странников. Я уже сам не знаю: эти бревна, эти странники – сиротливо жмутся они у подножия монументов или безразлично обтекают их.

Падение всего в набухании брюшка – не об этом ли говорила в полдень умная оса, толстая оса. Осознание единичности каждой минуты, остов корабля, что покачивается в недалеком море. Но не прикоснуться к нему – он наподобие локотка. Его скелет – еще не рожденный Моби Дик в соединении с послесловием уже расклеванного Моби Дика, его блеск – солнце над

Троадой, его локти в липких пятнах, пыль осаживается на липкие пятна крови, мы все бежим в голоштанную атаку, на картинах Древина, де Писиса, де Кирико.

"Собирайте нектар с каждого цветка", – это все, что может посоветовать умная пчела. Где-то в районе Восьмой станции покачивается остов корабля.



И всякий раз я выхожу к "широте Украины" или "широте Одессы". Подобно тому как Филип Гастон держал всякий раз в голове широту Холокоста. Но мне хотелось бы представлять эту широту в виде каких-то пластин или широких колец, или эмблем, украшающих форму звездолетчиков – как знаки этнических различий в их коммунистическом бердниковском экипаже.

"Черт возьми, пора кончать с этими мушкетерами, – сказал Людовик XIII, – и век уже не тот, и ракету они не тянут". Однако господин де Тревиль совершенно справедливо указал ему, что именно мушкетеры натащили в ракету яблок, складировали их там рядами поперек корпуса, и теперь эти гниющие вспухающие яблоки толкают ракету вперед изнутри.

"Ну что ж, мы славно потрудились, – сказали отцы еврейские, потопив египтян в Черном море, – вот даже колени наши голые умудрились не замочить. Но готова ли каша?!"

Увы, каша в шатрах их была не готова, ибо все женщины во главе с пророчицей Мириам пошли в это время радостным шествием бить в тимпаны. По некоторым версиям, Бог тоже был не в восторге от такого празднования, дескать, и египтяне – люди. Моисей гневно поблескивал своими слезящимися глазками, и каша была не готова, но дело как-то замяли.

Эти коллизии послужили впоследствии основой рассказа Т.Манна "Закон", оперы Шенберга "Моисей и Аарон", и целого ряда других произведений. А в наше время ей вообще дали иное, феминистское толкование – не только женщинам следить за кашей.



Эти "сделанные" филоновские овцы, эта пожмаканая арафатовская куфия, ее складки – порой я вижу в них только веселые узелки листьев или снежную улыбку Деда Мороза, сующего руки в каждое различие. Но руки мерзнут, отдергиваются, различия не срабатывают, и нет сил развязать подарки онемевшими пальцами. Те, которым повезло меньше, получают "кулю в лоб" – Чаушеску и пр. – это козлы отпущения, выгоняемые в небытие, чтобы здесь, в бытии, по-прежнему ничего не происходило. Одной ногой в палатках, другой – в пя-

тиэтажках, лет через пять поднакопим деньги на "Жигули". Если, конечно, не решим уехать. Мой отец предпочел остаться, будучи членом партии, в которую он ни на грош не верил, нежели пережить унижительную процедуру исключения. Это напоминаем мне узор арафатовской куфии – в начале я думал, что там просто квадратики, вроде сетки футбольных ворот, "бам-бам!", но нет – там, скорее, сетка-рабица, чушь, рябь, рыбная чешуя, облака, вспыхивающие, когда за ними проплывает солнце.

Вторая половина дня, третья половина дня... Я подпираю глазом столбец текста – это толковый словарь или некролог. Между словарем и некрологом находится тропинка. Это проход на пляж, таким, как я его помню. Сначала песок жжет ноги, потом становится прохладнее. Это если идешь с пляжа. Если на пляж – соответственно, наоборот.

Прикосновение по типу "ива". Или прикосновение по типу "разрыдалась" – с прикосновением к чужому дому. Или прикосновение "догони" – как два червяка в переулке, или известная игра "рука руку моет", или фраза "выходит в прокат".

Прикосновение "жарь ивой" – этаким хлыстом с тонкими крестиками листьев.

А вот прикосновение к японской живописи это вроде собаки – и есть она у тебя, мохнатый ньюфаундленд, однако ты не можешь пойти прогуляться с ним и даже не знаешь, как за ним ухаживать, но он все равно живет рядом с тобой, чудесная лохматая нечисть.

Созерцание – это ленты, обматывающие тебя. Это твой крах. Или кряхтение, или Кяхта. Сквозь прорези глаз ты видишь далекий огонек. О, бесприютные пространства, эти горы и степи, ограждающие Кяхту. Никто не отдаст просто так бесприютную собаку созерцаний. Разве что, когда вечер начинает клониться к полуночи – тогда иди, ищи ее в темных полях, лови свой шанс.

А корни песен все поют в терновом венце. А половинки сѣдзи ходят туда-сюда, смыкаются или вновь пропускают самураев. (Возможно они также пропускают монахов.) Вчера я видел такие, с тигром, написанным Нагасавой Росетсу. На последней четверти можно было заметить только два перепрыгнувших кончика тигриных усов. Увидев их, я впервые за долгое время почувствовал себя счастливым. Ведь это был сам прыжок – отточенный донельзя и полностью лишенный смысла. Будто восток, свернувшийся в комок масла, в его обертку. Воцеленные внутренности мира – лишеного внутренностей – переходящие в его выпуклые щеки, его ослабившийся, ощерившийся.

Боже мой, мне надо еще скопировать файлы, те что остались... Но зачем, почему?

Я слышал издали шум машины разводящей, это ее тормоза, раскрывающаяся завеса, он отпрыгивает, она отпрыгивает, ковбой, муравей. Стоит ли сохранять файлы? Бросок костей все равно не отменит случая. Я сойду с Чацкиным, там на стремянке, под зорькой. Мы будем петь "О Киев, Киев..." – уже не обращая внимания, у кого стихов больше и у кого они лучше, просто расцветая, как роза или ворона. Но запишем все строго, в столбик, как прыжок или макинтош.

Деньги за покраску столбика пойдут по ведомству Третьего Рейха.

Или четвертой козы, пятого барабанщика, восьмого Малевича...

Что-то в таком роде, в таком-то Иерусалиме.

Можно, конечно, множить группировки – дескать, комната здесь, комната там, или комнаты вообще нет. Или можно представить себя футболистом, Давидом Луисом, вернувшимся из Бразилии, убирающим со лба кучерявую прядь, или представить себя миротворцем под эгидой ООН – как раз в июне новую каску обещали выдать.

Этот взгляд, это лязг, визг – единственное, что нам дано. Дальше – надо строить холмы или начинать революцию (редуты).

Эй, Единый, кто здесь хозяин?!

Чья эта пташка, пастушка?

Навеки пастушья сумка.

Мой агнец пришел из Бразилии. Я складываю созерцание ремнем, восьмеркой бесконечности и отправляюсь на дно вечности.

Он думал о Чацкине, он подражал Иваніву. Две склеротические вены, что те вожжи в руках Агамемнона, жалостливо подрагивали в мозгу его.

Эта библиотека – она же моя детская площадка, я приходил туда еще котеночком, рубил куличики углом лопатки.

Приходите, приходите в эту парашу жемчужную!

Люди, люди, я любил вас, будьте бдительны!

По вечерам даю себе уроки цинизма в виде отращивания щетины вокруг уголков губ.

Засим откланиваюсь, завернув котлеты в газетный рубайат.

Ветхие моторы, дырявые яхты, присутствие врачей – все это выматывает.

Но в следующий раз, когда окажусь в Одессе, обязательно пройду по улицам, уже не чураясь запахов объедков.

Я не могу их красить белым, не могу и красным – но грязно ругать их я тоже не могу. Так они останутся в контуре коровки, на манер танца валко-го: шаг туда, шаг сюда, пятна синие, коричневые.

Если шатает – обопрись пятернями на стену, и можешь даже извергнуть радость.

Никакого движения вперед – надвигались уже. Никакого сидения на месте, цитатности, постмодернизма – от трусости тошнит. Что же остается? Чистая кривизна, эксцентриситет, закруты, вывих Хама, звездочка в про-светах, головой об стенку, перекатывание в углах.

А как в тюрьме этот сыр?

А как речка Скамандр в окрестностях Трои, уже несуществующая, вся рассеченная каналами?

А руки, вздетые вверх – рисовать их вдоль холста или поперек? 70 см достаточно будет для вздетых рук?

А стена, с которой столкнулся Евель Олицкий – в Сновске, там где был расстрелян его отец в 1921? Потом она заросла красивыми пятнами и к 1980 году стала похожа на багрянец осени, падающий в пруды советских кинофильмов: "Живописцы, окуните ваши кисти..." – и вся такая бодяга, затирушка, размокший хлеб, Битцевский лесопарк.

– Ну давай уже включим настоящую музыку, сколько можно?!

– Нет, – говорят они, – ты должен иметь дело с отпущенным тебе куском сыра и подталкивать его по крыше тюрьмы.

Не холодно ли мне? Нет, не очень – у меня есть портвейн, у меня есть отчим (картины старых мастеров).

Не только петь о туннелях мироздания, но и странствовать в них – не быть коровой.

Молодцов-Бадаев на лоб нацепил фонари-орнамент-велосипед и вглядывается в стволы мироздания, что твой Мориарти, за несколько дней до начала войны.

Я не играю в шахматы, но бросаю "глупые кости шиш-беша", – это Гольдштейн их так назвал. Я не знаю его, мироздания, шурфы, дайки... Может, они забиты еврейской травой, присаживающимся подлецом Рувимом, напряженными бедрами Иуды, пархатыми гуслими Левия?

Но нет, нас еще могут запросто пригласить на танец, на рабочий, на столбовой, на великолепный пейзаж, близоруко грезящийся тебе на отвороте холста. О, эти каналы, стволы, уходящие вглубь земли – кремниевая крышечка, загвоздка, она хороша. Мне осталось дорисовать только пару овалов к телу этого тигра, а усы – вывести на соседнюю ширму. И все будет в ажуре, контражуре, абрикосе. Ну что, папа Сатырос, мы уже готовы атаковать избушку начальника таможенной охраны?

Мне кажется, меня всё еще раздирают на пласты, на жировую клетчатку – а я не раздираюсь, остаюсь щенком. Я знаю только, как накатывается волна, и как разглядывать ее белые рубчики пены, ее ноздри, ее пахитоски. Я – жировая клетчатка кита, его неведомые ноздри, я жду – он ушел за подмогой, а, может, лишь сделал вид – и оставил меня умирать в этой квартире? Тогда надо бы вставать, попытаться, что ли, приготовить себе кофе,

ойкая и дрожа за сломанную ключицу, стоять, покачиваясь, помешивая, кусок плоти ноздреватый...

Не все ли мы так? Пожалуй. Я даже не знаю, какого сорта и какого сора мои стихи, и не было ли про меня отметок в сегодняшней газете.

Я вползаю в трещины как Брежнев, как бирюльки в мочки, так вползаю в гранит или мрамор – в эти разветвленные чешуйки, в их "разбито-пробито", "на сносях", "растопыренные колени"...

Мой любимый цвет – коричневый, Данте называет его умирающим белым, горящей бумагой, еще не обратившейся в черноту. Это вечное "между" гранита – где-то там, где кристаллы кварца входят в пазы полевого шпата, на этих фрактальных гранях, обтекаемых слюдой, всегда дробящиеся как соловушка, песни заподлицо с песчинкой, шарканьем сандалий, эти лапки, скомканные, распростерты – крючьями ухватить тебя или свои собственные, вечные изгибы прибоя, моря?

О море, море! И пусть даже старик-процентщик в юбке-шляфроке запоет с еврейской акцентом "О морэ, морэ, а зохен вэй, и кто усеял тебя костями?!", и не забыть одеть сандалии задом наперед – спутать следы, спускать следы – о, свора бедствий, море, море, коричневый небосвод.

Меня вели на казнь, на порубание два стражника, как у Кафки, но думал я при этом о красных туфельках герцогини Германтской, как у Пруста, и шел сжавшимся птичьим комком, как Багрицкий, лишь посасывая полоску небритой губы, как какой-нибудь Гитлер – что мне еще оставалось делать в этом мире, как Люшков и Лелюшенко, эта темная черточка, зарубка, кора, носок, одеяло.

*из Чжуан-цзы*



Он был героем, этот царь Космос, он касался, он ходил в вышитой рубахе, у него было семь отверстий: зеленая листва, солнечный свет, орнаменты на рукавах и т.д.

Он не мыл руки с мылом после прогулки, но все нанизывал словечки: этот подошел – значит, "амиго!", тот подошел – тоже "амиго!" будешь, и так вскипала волна за волной, Маргарита влеклась к серебру, а в минуты уныния, стоило ему лишь положить голову на руки, и разрывались смехом губы его, или он спускался к себе в пещерку за уже накрытый стол.

– Важнецкий друг наш Космос, – сказали Поспешный и Торопливый, – только зачем ему семь отверстий?! Эти рукава, проймы, манжеты, эти похотливые дыры, в которые лишь зря задувает ветер. Не лучше ли ему прикрыться и стать защитником цельным, как Александр, или мудрецом, как Авраам?!

Так сходились они с Космосом на Весеннем Холме и каждый день закрывали ему по одному отверстию. А на седьмой день Космос умер.

Все бреду куда-то пьяный, такова моя коленчатая судьба, я – Иван Иванович Ивани, дворец(кий) сияющий, рушащийся во прах, дворец вымышленный и ненадежный, воздух в классе густой и спертый, где я все тщился отделить воспоминания от забвения, и свет – от провала, зимний класс с жужжанием ламп, где окна заперты, или весенний – Сирень Сиреневич Сирени, так его можно назвать, или даже с переходом в Нина Орбитовна Оголтели.

Айнмаль, цваймаль – подняться по лесенке паровоза, ставя босые пятки извилисто, как слезозмейка. Или как заяц – он вчера был под звездным небом! Или как надежда – вот она почему-то обязательно в носках.

Но морщина, скула, пролегающая поперек курятников, будто говорит тебе: "Эх ты, ничего не умеешь, а берешься!". Это морщина-милиционер. Но не будь дураком: зайди в комнату, приглуши музыку, и вскоре услышишь доносящийся из подпола тихий плач ребенка.

В самом деле, не в капусте же нас зачинали – как ни хотелось бы сидеть в капусте вечно, мацать ее прохладные крепкие отвороты, но надо подыматься, идти в дом. И ты опять вглядываешься через пролив, где блескуче висится Троя, или, перебирая босыми пятками, что та гадюка, лезешь на паровоз.

В дымной воде, как частичка, сорвавшаяся с внутреннего обода колеса, пятнышко грязи или лишний такт сонаты. В кольце Нибелунгов, брошенном обратно в воду Рейна, или тот, подаренный мне бабушкой перстенок, и еще колечко на память о Лене, я забыл их обоих в шкафчике в раздевалке, наслаждаясь термальными водами Исландии, а потом плакал в самолете всю дорогу до самого Кельна.

Пятнышко грязи, покачивая крылышками, под музыку "выхожу один я на дорогу", под "Владимирскую", под "ой, не шей ты мне, матушка". Пятнышко краски, покачивая боками, летит на самое дно залива.

Дать урок своей жизнью. Или дать урок в своей смерти. Что-то мне здесь слышится сходное с "найден в капусте".

Валюша сказала: "Садись скорее, а то эта желтая змея сейчас унесется без тебя!" Они с Чацей провожали меня на конечной остановке автобуса. Или, может, она сказала "желтый дракон"? Мы все тогда бредили Китаем. И в самом деле, длинный "Икарус" с "гармошкой" напоминал фигуры драконов, которые таскают по улицам китайских городов на празднование Нового Года, или что они там празднуют. Напротив, через дорогу,



отсвечивали кроны деревьев и группки людей под ними. Кажется, это была неофициальная биржа по обмену квартир.

Чацы давно уже нет в живых. Валюши – не знаю, но учитывая, что она была намного старше нас... Мы с Игорем почти годились ей в сыновья. Однако внешне она вполне могла сойти за нашу ровесницу. Чаца комплексовал немного из-за ее возраста, но и гордился – вот, дескать, как он справляется. Он всегда комплексовал и гордился одновременно. Это колодцы времени, его дайки. Они забиты трухой, опавшими листьями. Наша смерть тоже забита трухой. Нет, сначала, конечно, она заслонена какими-то магматическими породами. Или осадочными – у кого как. Но потом весь этот кристаллин меркнет, стирается в дресву, смягчает опавшими листьями.

"А если вернуться в Москву?" – спросил Морячок-несущий-крест. Есть еще шанс добраться до Москвы. Гюйсы его бескозырки развеваются все ниже, вот они уже почти касаются его полосатых, как тельняшка, трусов. Очередная "машина для получения тока". Я сочинял такие машины всю жизнь: ток идет сюда, потом – сюда, затем прыгает уступами... А вот откуда, собственно, берется ток – я так и не придумал. Ну какие-то кругляши, клавиши нарисовать всегда можно. Однако правды они не порождают. Я думал, со временем все узнаю про жизнь – типа, откуда берется ток. Так и не узнал. Так и остались – кругляши, клавиши, драконы, шуры-муры.

– Папа, дядя, скажите, а акулы – злые?

– Злые! Потому что улыбкой доброй гордится только глупец, особенно если работает в журнале. Мысли его – лепестки рецептов, приклеенные к раме. Рама – ворота во двор, во дворе – приплод и кошки. Нет, пусть уж лучше акула шебаршит зазубренным хвостом, складывает его в петлю – ей не ехать в гости. Ведь даже Робинзон Крузо в конце концов нашел ружье с затонувшего корабля и прострелил свой наручник – не ходить же ему двадцать семь лет с браслетом и цепью, лучше он вскинет ружье на плечо, запикает в рот трубку и отправится на охоту в синие горные леса, таинственные протоки.

Я знаю, что мне не надо исправлять, мне нельзя визжать. В далеком купейном вагоне я отправлен в семидневный путь к Камчатке. А вожжи можно брать в руки лишь изредка, в Москве в районе зоопарка, или посещая семью Шиповских, или прикрикивая: "да заткнитесь вы все, братцы!" – на небольшом пяточке, когда это еще было возможно, я придумал их всех: Шиповских, Москву, зоопарк, да и саму возможность того маленького пяточка, над которым протянуты вожжи.

Это клаудс, это клаудс – давай, наполним бокалы! Это тигр или пижама, или и то и другое вместе – полоски пейзажа. Видишь, мачта вдали и ее ви-

ноград обвивает, и она перед мачтой. О, какой она маленькой стала! Козлоногий тиран нам споеет и станцует "не знаю". Покачивание знания в зыби морей, уточкин крик, вечное жонглирование хрустальными маточкиными шарами. Все равно будешь Вася-вихор. Или вот как художник Саврасов, отправленный в Париж для излечения от алкоголизма. Там ему предложили рисовать тигров вместо грачей. Что он и делал – от алкоголизма излечился, однако способность к самосовершенствованию покинула его навсегда.

Пришли мы сырыми и нагими в этот мир – такими же и уйдем. Не помогут ракетные горы, братские озера. Но вот мелочи – скажем, "жил я, был, моя фамилия Чесменский, обожал красное вино, сухую колбасу..." – они тоже сгинут без следа? И вечность отвернется от Скорины, играющего в скорика-морика? И море никогда не примет муравьев?

В моем мозгу вспыхивают кораблики, а я их только направляю. Куда я их направляю? Просто тереться друг о друга бортами. О, бедный, вонючий Одиссей с пробитым бортом.

Белый кит тащит мне на буксире стакан чая. Белизну нитевую я вижу, веревку, набухающие нити к западу от Индии, в районе Мохенджо-Даро.

Пространства нет, или очень уж страшно в нем – всё кусочками, кусочками. Вот говорят тебе: "Давай уж выпей! Ведь уже девяносто второй или девяносто третий год!" Или говорят: "Читай памфлет!" Или говорят: "Ты бы ей хоть пояс развязал!" Пространства нет – одни кусочки, затоны, хоть и ширью полнится душа. Когда нырок? Нырка не будет – лишь, как утка, опустишь темечко, сглотнешь две-три капли и прополощешь клюв.

Когда я рисую, – а рисую я в основном автопортреты, – вглядываясь в поблескивающие стеклышки очков и слушая этот утонченный безумный чардаш, о чем я думаю? Я вспоминаю "Путешествие по равнине", по венгерской равнине – мой текст, следующий одноименному фильму Белы Тарра, который я написал для Никиты. В честь наших странствий по Донбассу. В честь нашей совместной выставки в Дрогобыче, которой никогда не будет, или моего пешего странствия из Львова до Киева, которое я никогда не совершу. В честь песков Каролино-Бугаза, где таится образ всепоглощающего троянского песка. Там застрял я с детства, на этой узкой косе между лиманом и морем, что уж теперь мечтать о Львове и Дрогобыче. Еще я вспоминаю поговорку "рыбку съесть и на хуй сесть" – в том смысле, что и то, и другое не получишь. И все это как отражение чардаша в стеклах моих нарисованных очков. Потом я делаю еще пару глотков вина и отмечаю про себя, что завтра, на трезвую голову, надо бы перечитать несколько страниц из "Бергсонизма" Делеза.

Наверное неплохо было бы повстречать в путешествии сельского дурач-



ка, простофилю, да еще и земляка, на которого при случае можно все свалить. Вслед за химической реакцией идет очистка. Вслед за "чем-то" всегда идет то, от чего нужно избавляться. За любой мыслью следует глупость – бородавка, огурцы, козлы отпущения.

Мне привиделось, что ученые придумали говорящую воду. Ты типа наклоняешься к ней, а она тебе: "не пей меня!" или, наоборот: "испей, родимый!". До этого я знал только анекдот, в котором буханка хлеба говорит одинокому овдовевшему грузину, что он "нэ одын". И еще Станислав Лем размышлял над вероятностью события, что атомы в своем броуновском движении случайным образом сложатся у нас перед глазами во фразу: "Эй, люди, это мы, атомы!"

Или мне привидится, что я гляжу на говорящую жареную картошку?

Или услышу голос: "Современный писатель должен видеть мир во всей его цельности!"? Пошлю этот голос подальше.

Или вот еще голос издателя Иванова я слышал: "Надо писать так, чтобы по твоей книге можно было снять фильм!" Послал его туда же.

Или: "Ты должен думать и о своей семье!"

Так что наверное лучше всего просто услышать голос: "Козленочком станешь, козленочком станешь!"

И в этом будет нечто боттичеллиевское – как разливы молока в Одессе поутру, наш бедный молокозавод, кукиш-улыбка. Трещины в скалах, провалы, протоки, борозды. Нехотение, нетерпение. "Голос Америки" по утрам, ее школьный фартучек, ее косы. Многомиллионные толпы, шастающие по городам Земли. Дерibasовская по сравнению с ними – просто лицом в землю, но и это, конечно, вносит свой лепет.

Пиус и его путеводитель из числа зверей, выплунутых на поверхность земли. Это как сахар. А Пиус обветренный становится де Писисом – он мельчает, мелькает, у него пробиваются скулы, он распадается на прорехи, плевки, но зато они цветасты.

Нет, конечно же встреча не была случайной, все было рассчитано, на манер бондарного круга или уралмаша – рассчитаны лямки, скоты, цветастые заплывыши в переходах.

Может быть, всё рассчитала печка – ее крутые бедра, ленин-ленчик-печник.

Он был хвастуном, этот де Писис, он нанимал гондолу, чтобы писать Венецию, однако смотрите, как он разворачивается, нагибает голову, его затылок, околыш его фуражки – нет, это выше моих сил!

Или это ниже моих сил, если я – революционер.

Лучше просто отойти от каналов, когда ими любитесь де Писис.

Лучше дальше – щелк, ветер, Ростов, расстрел, побег.

Рассвет мохнатку не предложит, но все равно, и на бегу, и на бегу, не переставешь поражаться – какие плечи, какая кожа, какая полная Югославия! Или речка лесная, сугроб. Выбирай сам: приморская Югославия или сугроб?

Между ними еще можно воздвигнуть ворота замка или ворота тюрьмы, в которые все проезжают подводы.

Такая тюрьма залихватская, что это уже скирда, снопы, метелочки советского герба.

Зáмок на взморье, его донжон опрокинулся в море, а ты все бежишь сквозь лес, и блеск твоих очей.

Руссель и Пуссен – лес versus говорильня, пробирка против стакана, лезущие на полевой стан девчата, их платки в черных крапинках, будто живут в Европе. Руссель versus Пуссен – будто красавчик Домогаров, шляющийся где-то рядом, в рубище, по Африке, вроде Рембо. Или Цех Поэтов, посреди которого расплзается огромная лужа крови, и все макают в нее каблучки.

Ефремов (фантаст) versus Пуссен – экскаваторы роют траншеи в недобитых Черемушках.

Ильязд versus Руссель – блеск стодолларовой монеты, положенной на ладонь, так что она обращается в блин.

Versus против рассвет – яблони, яблони на рассвете.

Может быть, это счастье, что просто существует такой-то разрез губ, или, скажем, такая-то ФРГ (эпохи 70-х). Такой-то квадрат лица, такой-то футбол. Медленная музыка. Прошло уже 40 лет с тех пор, как я написал "эти перемигивания не попадают в такт" – писал я в одиночестве зимним вечером у скалы на пляже "Отрада". А тем временем все продолжаю лететь на черных лентах в сторону Каролино-Бугаза. А тем временем плачу, или продолжаю чего-то бояться, забившись. Эти черные линии, эти пироги – впрочем, если лихо пригнаны их дощечки, это дает какое-то согласие с жизнью. Это как прищелкнуть. Или как сушашеся белье.

Или как голоса, звуки шагов за дверью, на лестничной клетке шушшание – порой они досаждают, но как же здорово, что они все-таки есть.

– Разве вы почувствуете себя хуже, если меня выслушаете?!

Это сказал я? Это сказал он, отняв кружку от рта, сделав до этого добрый глоток воды? Это была вода?

Экран, за экраном – лесá. Я значу? Я – кавалерия? Фразы разомкнутые, как грузины. Но и сходящиеся, как доски пироги. О чем я писал уже раньше. Гора песка, почемучка, погремущка.

И все-таки я хотел бы рассмотреть эту заросль. Я хотел бы узнать о ней все – это рассвет, парапет? Или, это, как говорится, снежный взгляд? И если представить себе, что мир – это только переключивание, то откуда в нем эта страсть, этот тяжелый взгляд-рассвет?

Здравствуй, банная моя столица, Марианночка моя, Москва – разве можно сердиться на твои лица, на пивные кружки, на тепленькую круговую поруку?!

А теперь у тебя еще еврейский управдом, и цветы поливают застоявшейся мочой.

Когда-то вышли они в бодрящий морозец, но только на пять минут их хватило для борьбы с Советским Союзом, и вернулись они в теплынь кварталов.

Зато потом тянуть жвачку рассказов и гордости им было еще лет на тридцать.

Чем думать о пламени, когда уже руки дрожат, не лучше ли еще хлебнуть вина и веком моргающим ловить заек.

Кажется, только вчера еще я видел Адриатику и поверял ей, как Матиас Шандор, "тайны своего сердца", но всюду ведь многостаночные Дарьи-кошки-дома, а еж, как говорится, он и в Адриатике еж.

Один подъем преодолел, другой преодолел – подымался и выше 3000 метров, но тут вдруг лесистый холм-пригорок-Холстомер, и всё – запнулся, замерзнешь на склоне!

"В домах детей моих много окон", – говорит Бог-сын, да что проку: все они одинаковы, как окунь, попавший в сеть. Между Яцек Сруль и Янко Круль албанский.

Все ближе и ближе к сплетенной Вселенной – вчера был Иртыш, а сегодня уже Сатурн. Мозговые капли оседают в молоко, полоски жира опускаются на дно, к морским звездам и пастухам. Хотя, если вспомнить, все началось однажды с обычной оптической иллюзии – если, стоя на задней площадке автобуса, смотреть на удаляющиеся купола Пантелеймоновского подворья (тогдашнего Планетария), кажется, будто они подымаются вверх подобно ракете.

За рамки хорошего и плохого, за рамки просветления и не-просветления.

Как узорчатая повязка на лбу Тимошука – я придумал ее в Ираклионе на Крите, и потом целый вечер был счастлив. Хотя на холсте она оказалась сущей ерундой. (Я переделал ее потом в сине-желтую, но и это не помогло.)

Как рекламный постер, налагающийся на медвяный запах моря, как все наши тикающие колесики, сплетни и переулки.

Не сможешь освободиться – раскройся, так оно все и течет.

– Это все лишь инструменты! – говорит он, мотая головой, будто расшвыривая что-то, будто он Одиссей или Ахав. Приближаясь к прошлому, как к дурдому, широким движением шеи он машет во тьме. Там, где прожектор тихо шарит по стене дурдома, шарит-жарит по стене Приморского бульвара. Освещенная прожектором стена-брандмауэр детсада, стена дурдома, страна бульвара.

– Впрочем, все это лишь инструменты! – так сказал он, широкоскуло мотая головой, взмучивая ил.

И в самом деле, когда осядет ил, прожектор будет все также светить на дно или шарить по стене дурдома.



Ремянба ты или не ремянба?

Ремянба те токинг, те танцы, шеренги, того Эсамбаева? Или когда ты впервые услышал Мехелию Джексон? Или историю Led Zeppeлин на виноградниках, на пляжах, уходящих к гирлу Днестра?

Песчинка пляжа, равная футбольному мячу, равная окрестностям Нептуна. Подавай ряды, цифры, канавки, шпалеры виноградников! Аллилуйя, и один за всех и все за одного!

Вот в некоторых странах не хватает специалистов.

А чего не хватает России? Или Украине? Наверное, чтобы не было России.

А чего не хватало мне?

Это швы палатки, забраться, как вошь, во швы палатки. Это аллилуйя-хлопушки – и, все равно, ты в ответе за ту розу.

Или это близорукий чай и миллионами нитей ты связан с палаткой?

Чешуйки куриного помета отлетают от писаний Циолковского. Он имел обыкновение работать, сидя в курятнике, подложив на колено дощечку. Карандаш наталкивается на бороздки куриного помета и выписывает странные кренделя. Ракета стартует на Нептун. Мы в ответе за каждую капельку метанового океана. Мне чудится в этом гудение большого глухаря, трансформаторной будки. Он начинался весело, этот матч – в пятнах крови на песке, шорохах и криках, рубчики влажнеющего темно-красного песка... Но потом пришла Кассандра, ликбез, логографы, пачкастые товарищи...

И все равно, я порой смотрю с восторгом, как карандаш мой описывает странные кренделя, будто ракеты, стартующие на Марс, Юпитер, Плутон, на жили-были три товарища.

Надписи на пегматите (письменном граните) идут как клочья одежды... Или они идут как древние письмена, ориентированные знаки? Но ведь клочья одежды, поизодравшейся в шахтах – они и есть древнейшие письмена

на все времена. Значки тех, кто сидел на свежем воздухе у рек Вавилонских и горестно пел, были уже потом.

Так до наших времен ужасная боль долетает, а ошметки, ошметки – как конь на скаку или козлик в кустах.

Мы ничего не забываем, хоть и лихо сумочки снимаем, хоть и ходим парами по парижским бульварам.

Увидеть великого Пана бобром, увидеть его как "подай экипаж". А корабль готов отчалить, и веет теплый ветер из страны ласточек.

Увидеть великого Пана как затмение-затемнение – скажем, в Лондоне, во время войны. Но танцуют матросы, и комочки грязи, отлетающие от чобот, способны пробить обшивку броненосца.

О, обшивка моей головы – стрижка под ноль, подоконник и португезя. Корабль отплывает, и веет теплый ветер из страны дураков, как феляция или Феллини.

Что поделаешь, если в России (да и не только в России) новичка, неопита немедленно превращают в чучело медвежонка. На его конечностях навешаны таблички "ВЕРИТЬ", "МОЖНО ВЕРИТЬ", "НЕЛЬЗЯ ВЕРИТЬ", "ВРАТЬ" – а между ними проведены связи во всех мыслимых (и равно бессмысленных) сочетаниях.

Но мы можем все-таки придать ночи, которой уступили звезды, легкий огонь. Мы можем придать ей какого-нибудь Либескинда, какую-нибудь Украину. Рифленую крышу, шифер, поездки Шифферса по Сибири, поездки кузнечика в самосвале.

Есть много способов ухаживания, но все они неминуемо сводятся к "закупать". Жизнь и кислая отрыжка жизни с трудом разделяются в лабораторном стакане. Однако, если прищуриться, если есть время всмотреться, ты все равно увидишь сияющий опыт-Олимп, пахтанье, мировой Океан.

Ветер от слова "палки" – таким был их вопрос.

Челн от слова "порог" – таким может быть ответ.

Стена от слова "вечер" – это наш парус порой. Небытие – наше небо. Все были сильно разогреты, все были сильно разобижены, никто не хотели искать дорогу в излучине звезд, все были озабочены обстоятельствами корректного простуживания, проживания, корректного мышиноного прослушивания, бегали в поисках крошек вдоль одной и той же стены. Когда я спрашивал адрес, то обычно "Улица Белоснежки" или "Улица Афишки" мне отвечали, в крайнем случае отвечали: "очки", "парта", "семь гномов". В крайнем случае отвечали: "культура" – как белоснежкина в пургу забава.

Деление между Яд Вашемом и плоскостью любого рисунка, как холокост песка и крыльев, как ауто-холокост Рембо в Харраре, в троллейбусе вдоль Воздухофлотского проспекта, а шибболет – он так и не проснулся...

И я поставлю на супы, и ты поставишь на супы, и все мы перейдем теперь на супы – на завитки-кудряшки.

Бормочущая река, текущая из конца в конец тьмы. Наша запруда, трещотка, молитвенное колесо, лоток или лотус. Вылазишь на камень, пробуешь отряхнуться, но все рассыпается клочьями тумана. Передвижной бамбук, стол, стул, суп, завитки-ячейки, поднять косточку.

Я все это знаю опять и опять, я всегда это знал, как ту колокольню в соборе – писать лица как далекие острова, миндалины, шляпочный трип. Хлюпают вода у нас под ногами, мы всё вычерпываем, выглядываем из той форточки дедушкиного магазина, вычерпываем воду со дна лодки, со дна дедушкиного магазина.



Ессе homo как "пьяный ежик"? Так ли это работает? Мы видим портреты обнаженных – этих несчастнейших и пресветлых созданий. Сколько статуй, сколько всадников – и все тщетно! Эй, посторонись, по мосту проезжает папа римский!

Я стою у порога. Я стою на дощечке-пороге-ковре. Дядя Яша и тетя Геня еще не пришли? И никогда уже не придут? И все-таки какая-то складка мира, его веко или веревочная лестница. Будто узник замка Иф. Перекладчины, лестницы, клапана гимнастерки, шишаки, собаки. Чувства успокаиваются, когда приходят убирать скатерть.

Медленно-медленно я подхожу к газопроводу в Дарьяльском ущелье и показываю значок. "Вы что, стали врагом России?" – спрашивает меня мент-новичок. Тихо моросит в сумерках и супермаркетах. Я вижу отблеск огней, у меня значок, это группа крови на рукаве. "На рукаве?" – уточняет мент. Да нет, скорее, на ковре – как второе шерлок-холмсовское пятно, перепутанное, бессильное, тщеславное, застывшее. Лучи солнца сквозь ости трав, осенняя изморозь. Грузия или Корея – не важно. Я собирался поехать к развалинам монастыря, буддистского или еще какого-нибудь. Я хотел, чтобы меня остановил мент. Тогда никуда бы не пришлось ехать. Но, увы, никто не останавливал меня тогда.

В общем ряду, тянут-потянут – сам уж не знаю, кого: эскимоса в носочках, эскимосского детеныша в чуме? Эскимоса в парке, в парике? Сколько их было уже, этих выставок, экивоков, гляделок, попыток распределить мир по крестикам одной игры. В его угасающей манерности, в его рок-песнях.

Один дом, и в нем три этажа светящихся окон, в каждом окне по фикусу, хотя загорается то одно, то другое. Один бомж спит на скамейке под сияющими престолами этих окон. Мы тихо проходим с моим Баушаном, мы стараемся его не разбудить. Впрочем, бомжу не так уж и плохо – посреди мира бескрайнего, где сходится экзорцизм с пост-экзотизмом степей. Я не горю на пыль и обобщения, но хотел бы все-таки понять складки мира как одеяло бомжа – с учетом писателя Володина, всех Толстых, небезызвестного берлинского вождя, и прочих, и прочих.... Складки мира, которые становятся мной-судьбой. Или кошельком? Или кошельком?

Чей-то жребий, чей-то выбор, прах мира. Перистые завитушки, плывущие по Гангу, титушки из пятиэтажек или попаданцы в современное искусство. Да, все мы связаны с окраиной, вся мы связаны с историей – может, лучше оставить, как оно есть, и пусть себе, бля... и пусть себе кусать локти.

Дом, Берлин, Баушан, Бомж – а ты всё валандаешься где-то между ними. Думающий об Украине как о съемной квартире, или плане Солнца, или плане солнечной короны. Каков твой истинный жребий: лиман, шайка, седькина головка? Отягощенный плохим наследством, но лишенный даже его, унаследовавший лишь октябрьскую листву палую. Балующийся в детскую игру, когда все держатся за руки, в две команды друг против друга, "нас двенадцать-тридцать пять, чью душу желаете?" – кричат, и названный с разбега пытается разорвать вражескую цепь: или уведет кого-то с собой, или сам останется в ней, и там снова с азартом будет кричать: "нас двенадцать – тридцать пять..."

Живот мира в октябрьских листьях палых, памяти павших шахтеров, памяти дураков. А также чресла библейские, акриды, мед, скрижали. Игра в вождение пальцами по медом покрытой табличке "не ждали!", табличке "Броненосец Потемкин", табличке "вот, блять!". И ничего ни убрать, ни повесить у субботы-имени, в поездном вагоне.

Он должен был взорваться. Но замерз в Четвертом ледниковом периоде. Он дал дорогу человеческой истории – тот астероид, который не взорвался. Тот эскимос, который стал человеком. Те закопушки, которые не должны были стать рудой, но стали ею – вечной хуйней, катком Медео. Я не знаю, как так получилось: сперва вообще не подозревал о существовании этой бомбы-борьбы, потом и сам был готов поднести запал, но что-то не сложилось на пажитях истории, и теперь вот стою сусликом в песчаных бескрайностях.

Но Красный фонарь ведь горит?! Он всегда горит – грифон, дедушка, скульптура львицы в Городском саду. Открыты все двери квартир. Ты хочешь гепардом или львом? На сквознячке, на распахнутых дверях, на изнасилованной Багире?

Но я все рассчитывал, пританцовывал, мешал Эльбрус с Джомолунгмой, рассматривал абрисы ковров через распахнутые двери...

О, эти пошлые имена – Альбина, Регина, Стелла... Это дно истории, вечная Молдаванка...

А если бы мы не пошли, а если бы мы задержались? Не пошли бы в курень – а пошли в ресторан с Аликом? Составили бы делянку, которая равняет курень с рестораном? На берегу лимана, на берегу вокзала, на берегу.

Потом я еще пририсовал к этой фразе лобастую завитушку. Я заштриховал ее черным. Я всегда называю ее "ледоход", но штрихую черным.

"Нет, это не я – ни по технике, ни по чему бы то ни было", – так ответил он, когда ему прислали на атрибуцию чью-то глупую картинку.

Так ответил он и пустил лебедя через озеро. Зámка на другой стороне, впрочем, не наблюдалось. Только пунктир, рябь на воде, как на Волге, где в нее впадает Ока, в Нижнем Новгороде, пунктир ее лица, ее слов, чьих-то еще слов, чьих-то еще лиц.

"К сожалению, настоящее существует в мире только как проблеск", – так записал он незадолго до этого у себя в блокноте. А остальное – лишь глупые пунктиры, когда надо пояснять, или отнекиваться, или плыть пособачьи, мешая Волгу с Припятью, глупый шипун через озеро.

"Идем, идем – мы уже славно посидели!" – так ответили они, когда он попросил зашить ему порванную рубашку.

Они зашили, хотя давно уже умерли.

Они бросили ее под дверью – дескать, найдет с утра, когда проспится. Там же стоял ящик с пивом, он проснулся с утра и сразу схватился за пиво, потом увидел рубашку...

Были ли они в почете, были ли они в зámке, были ли они в снежной королеве?

Он прикоснулся к плечу девушки, сидящей слева: "А не хотели бы вы...?"

Та уже просто дрожала от возбуждения. Они пристроились неподалеку, прямо на полу. Это напоминало брошенную рубашку.

Впрочем, даже в момент самого острого наслаждения он не надеялся, что это может стать дорогой к зámку.

Он знал, что никакая черта не может стать какой-то особенной чертой, поскольку все они особенные, и настоящее длится как проблеск, и зámка на другой стороне озера не наблюдается.

"Двух теншион нох, ферзухен нох", – так сказал он, на манер лошадки или куртизанки перебирая ногами. Он уже сам не знал – продолжает ли он исследование в этой реальности, с Баушаном прогуливаясь в парке, или он уже в другой реальности, всецело прогулочной.

"Я дам тебе ели лукавы, еловые лапы..." – спокойный, но не сдерживающий себя ни в чем писатель вздохнул и начал свой путь вокруг горы Фудзи. Хотя не ели простирались вокруг, но такие карликовые березки, с красноватой, очень красивой корой, свисающей изящными лохмотьями.

Мы переживаем там, где не надо переживать. Хотя я не знаю, насколько она переживает. Я даже не знаю, насколько переживаю сам. Насколько переживает поезд? Стук поездных колес? Насколько переживает пейзаж за окном, такой грустный, такой грустный?

Он цеплялся взглядом за войлочные формы Роберта Морриса, он устало подпирал ими свое воображение, он рыбкой проскальзывал в их жаберных щелях, а они свисали-свисали. Он обнаруживал там панцирные сети и спинки кроватей, несчастных шатающихся насекомых, дольками взрезанный лоб и прищур дедушки Ленина. Он понимал, что речь идет о вечности, он понимал это, даже не закрывая глаз – о той постели и тех объятиях, что рушатся в забвение. Он вспоминал лед, расчищенный только в середине площадки, чтобы можно было играть три на три. Кто будет стараться больше в такую стужу, тем более в Одессе, где и на коньках стоять умеет не каждый. Он думал о странном соответствии, когда Вселенная открывается тебе во всей своей полноте, но это происходит в то самое время, когда тебя уже настигает склероз, и это тоже можно вычитать в войлочных работах Роберта Морриса – своей ниспадающей безнадежностью они выгодно отличаются от социального оптимизма войлочных работ Йозефа Бойса. Он, впрочем, помнил, что ему удалось забить аж две шайбы: одну – удачным щелчком в угол, а другую – отскочившую, когда только и оставалось подставить клюшку. Еще он толкался, кричал и лез в споры больше всех – к немалому удивлению, его потом за этот отругал отец, призревший собственноручно спортивную сторону дела. А сейчас ему хочется пробраться в какой-нибудь музей и наступить украдкой на свисающую полу Роберта Морриса – если допустить, что в жизни еще будут когда-нибудь поездки и посещения тех далеких музеев. Хотя свисающие фалды Роберта Морриса, похоже, предвещают, что их уже не будет никогда.

Ты держал? Или ты не держал их в руках?! Узенькие ножки, прекрасный взгляд – институтский поэт, переводчик, курчавая борода. Он держал их в руках, он ронял их? Ключи от дома? Это были ключи от дома?

Миры светящихся окон, уходящие вниз, где Рома + Вера = Любовь, и Христос, конечно, и замки, и знаки-замки, и голос, которого нет – есть лишь желание, чепуха, решетка-реникса, преодоление двадцать третьей волны таинственного острова, продолжение уравнения город = напасти, или "как пожрешь, так и покукарекаешь" – в комнате смеха, в районе средневековья, и сияющая верность пятому сословью.

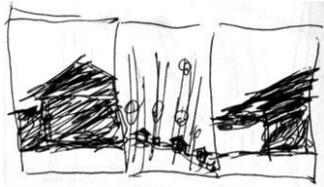
Градусы, градусы хлопают – я прошу тебя, я боготворю тебя! – дождь осенний по пузу хлопает, проникает в разбухший живот. Ты становишься в стойку птички или шиферного конька, но разбухший живот уничтожает различие. Дома, где никто не живет, куда мы прокрадываемся ворами, становятся городом, стеной. Ин эни кэйз, ин эни лун.

Я на небо глядел. Я искал просвет бытия среди сосен. Я искал его также и среди осин. Я глотал эту пыль, запивая портвейном. Если зубы скрипели – я за музыку это терпел. Позже в краски мешал я песок – красногрудый снегирь или глист, желторотый повстанец, что рыгает на ящик патронов. Я вприсядку руками как в брассе водил. Мне в затылок уже ударяет валец (или конь, или дядя склероз – дед мороз). В спотыканьях только просвет бытия. Или, пуще, как треснешься оземь зубами. А иному не быть: тот волшебник, тот тапок, тот взгляд, та собачка – погружаются тихо на дно побережья.

Я умру и отправлюсь в ту точку, где спокойствие находится уже в некоем государственном моменте, в его самом песчанистом моменте.

Я помню, как всё заходил в туалет в том кафе в Киеве, где с обратной стороны двери была приклеена старая, начала 70-х, фотография киевского "Динамо". Однажды я написал на ней цифру "4", обвел ее в кружок и долго еще потом, бывая в том кафе, смотрел – не будет ли комментарий.

Я не знаю, есть ли какая-то связь, параллель между личными, безумистыми пометками на старой фотографии киевского "Динамо" и вот этим падением в слежавшийся государственный песок, именуемый "небытием", но, мне кажется, есть она. Особенно, если живешь в столице.



Я вижу последний горизонт, лес – там ветка разевает пасть, будто тигр, который проскальзывает между избами, они ему не помеха.

Рассвет горит над огородом, тридцать три несчастья пылят в трубу.

Бросок костей как птица на заборе, или сучок.

Так готовишься вдаль и продолжаешь шамкать медом по липкой бороде.

"Но меняется образ в спинке кровати", – так говорит Уитмен в "Песне топора". И в самом деле, каждый должен пересчитывать прутья в спинке кровати. Даже если он генерал! Даже если у него есть дети!

Рыбак в отчаянье

рыбак в огне

его шляпа (сизая от ветра), тростниковая плетенка

рыбак на озере

огромная белая полоса его седин.

И что-то об уровнях лодки – имеющей или не имеющей тягу к бытию, об уровнях молодки, березки, ее пятна, ее зной, заботы топора.

Я брошу семью, я уеду в Париж, я готов оказаться вполне своевольным, но и там четыре соседа будут следить за мной, как коньки крыш, они будут ходить за мной даже в летний зной, гордо выпятив грудь в галунах.

Ну ладно, я буду оставлять семью только по выходным и уезжать в Париж художником выходного дня – и все равно четыре соседа будут ходить за мной, бодро выпятив шеи.

И я пойму в конце концов, что все мы как детский сад, как щенята за манной кашей, лишь лезем друг на друга в летний зной, и не расстанемся, даже если нам принесут бадейку.

Подайте в трамвае каши! Поддайте огня! Четыре соседа как самые важные события в моей жизни – они следят за мной, но и выгуливают меня. Поддерживают меня. Когда по субботам я оставляю крынки, ложки, шайки, бадейки и уезжаю в Париж.

Он думал о Происходящем, с большой буквы. Он перешел улицу возле кинотеатра "Одесса", прошел мимо памятника Гаврику и Пете. Потом он вспомнил про Северный Кавказ, потом он вспомнил, как все выходили из распахнутых дверей вагона, и он подумал, что "происходящее" есть всегда ненайденность большой буквы, её качество, которое пропихивается в пасть прибоа.

Сидение Пети и Гаврика во дворе, когда вокруг идет гражданская война.

Мое сидение под цветущими каштанами, когда я так надеялся на Порошенко.

Он робко протянул плитку щербатую в пасть прибоа, неумело свернулся комочком на линии прибоа, безнадежно и неумело плакал.

– А иди-ка ты на...! – сказала лицо Бога на кромке прибоа.

Или это было лицо кого-то из Цвейгов?

Слово только тем и живет, чтобы упускать мгновения. Происходящее только тем и живет.

Дорога к дому ради Зоопарка.

Завизжала машина "Скорой помощи". У нее под бампером валялась книжка Пепперштейна.

Если провести линию поперек страны, то страна будет поделена на "народ" и "зоопарк". И то, и другое – гниды, но вместе они образуют все же нечто дымчатое, красивое, вроде живописи Марка Ротко.

Мне кажется, в детстве все же краля была. По полкам карабкалась краля, книги читала, в поисках индийского начала краля хиппи была. Крошка, краюха, девочка, краля – когда Агамемнон вставал из-за стола. Когда позвоночная флейта Орфея уже трепыхалась на ветру, краля в вагонах кашу

варила. В вагонах сидели звери злые, Израиль сводили с Памиром. Или с нежностью черенка. Девочка краля по полкам ползла, книги читала – ну а потом пришла зима, Москва.

О, это вечно глупая маленькая идентичность – по дороге в школу, по дороге из пионерлагеря, ну еще один шажок, еще одна ложечка, на взморье-взморчике: потопчи, потопчи пену прибора. Как потопашь, так и полопашь. А я топал по узкой извилистой тропинке. Не дорожкой прямой, но козьими тропами, катышками. Была ли боль? Был ли Моцарт равен портвейну? Была ли веревкой на день наползающая ночь?

Прищуриив глазки, он выглядывает из кладки погреба-подвала. Как колышущееся наследие далеких эпох, время, которое было до меня. Хавка горизонта по чайной ложке и опьянение мировым океаном – капля за каплей.



Каблучками приколачивать! Да, с необходимостью надо было прикрыть Грозному лицо, замотать бинтами, пусть все думают, что он мучающийся после покушения Троцкий, этакий Гроцкий, и только трубка-амебка торчит меж бинтами его. И вот тогда носками похлопывать, каблучками приколачивать, посохом оземь ударять. Будто кульбиты у гроба президента Кеннеди, откидываясь сальто назад в коричневатой полутьме.

Я – трубка меж бинтами, я – камень на посохе, я – Софья Кульбитова!

Закон максимума, объединяющий вещи и живые существа – сидя на подоконнике, смотреть, как за окном идут танки: война, парад, война. Сидя за окном, смотреть, как идут березки: кутерьма, кочерга, спины гор, эрозия, овалы, стена.

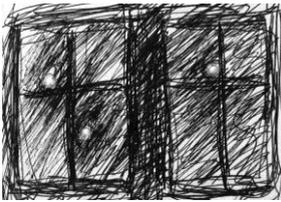
У них нет роли, у них нет числа, у них нет гегемона-энергии. Это звездчатые мордочки, мордасы, устремленные как паруса, это лисьи хвосты, чары, забавы. Это явления ночью: стук в дверь, бедный студент пошел отпирать. Стук в двери груди. Красный роток, озорные небеса – лебедь со свернутой шеей в чернильном затоне. Пусть разматывает полиция свои лампы, толпятся послушники и лыбятся их глаза – хорошо постаралась умная лиса.

Дома, корабли, схождение с ума – труба, печка, взгляд матроса Христа. Зубчик волны-чеснока в полном недоумении – как следует думать о проходящем? Изразцы? Пироги?

Песня погони по лункам-следам, мустанговый пот или голос зимы, воевода-мороз сзади скачет и его топтуны, он кричит "подожди!", он червон-

цами машет или дачу сейчас отберет, этот клеток гнилой среди русской позорной зимы.

Что происходит? Что-то ведь происходит. Окно открывается-закрывается. Электричка отправляется. Нудится, нудится Царство Божие – улица, два конца, два кольца, посредине отец, наверху, над крышами дымными мягкий пиздец, обволакивающий. Свет сосновый, ольховый, свет неминуемый. Где же ты, моя лошадка?! Тени твои равны волчьей шкуре (они горюны), а отсветы печки равны печи. А горошины семьи, равны ли они непроисходящему?



Открытость времени – как открытость помойки, сранья, дух трубы или теплой вьюшки. Действительное, страдательное, рептильное, возможное – вверх по лестнице в район трубы, перемычек, складских помещений, пастушки и трубочиста. Песни домов, сраная мягкость. Через капустку зайти? Через некоторое время?

Перебираешься через пирс, а там уже мелководье, камни – и не походишь толком и не поплаваешь, только задеваешь животом о дно и поводишь руками на манер динозавра. Зато безопасно, красиво, солнце встает подземное. Мы гладим в сумерках ее живот, путешествие к Центру Земли, лошадь на лыжи встает. Пеппи Длинный Чулок скидывает чулочки, дробью в живот разряжает рушницу Кожаный Чулок (взгляд вбок). Лошадь встает на дыбы-больничку. Ну что же, Финист Ясный Копчик, не пора ли задвигать вьюшку, огонь, мой папоротниковый цветок, огнеточник, не пора ли? – Ах, изволь!

Бабка с корзиной на голове, считай, не считай, сколько всего это будет вместе – два или три, но летчик-испытатель уходит в полуденный зной, а зной уходит в колодец, а город крутится над головой, как змееныш. А волны встают – по две или три, как корзинки на голове у бабы, а мотоцикл включается с урчанием, как цветочное Тюильри. Эти подлые взгляды сознания, не лишённые, впрочем, определенной мягкости губ, эти фиоритуры, корабли, идущие вкривь и вкось. Гнусные кораблики человеческой породы, углы, разделяющие пылающие небеса и надувшиеся губки, в каждой капельке – рыбка, и еще "посмотри, посмотри!" – в каждой капельке, и в каждой печи – заслонка.

Нет земли и нет опор, только рыльце раздвоенное, как у бульдога, или это Ян III Собеский ведет за собой самую большую кавалерийскую атаку в истории. Раздвоенное рыло быка, челка Гитлера-Сталина, раздвоенные пес-

ни сестер Берри, и клопик мохнатый повторяет за ними всё ту же песнь о неприступности иерусалимских стен.

Презрев весь ужас и страх сего мира, переплеты оконных рам и зубчики чеснока-волны, мы движемся, что твой Иосиф, в вихре пеплопраха, молока, кунштюка и самой поганой запятой.

Будь ты проклята, запятая, противостоящая копытам – нам нужна лишь песенка про "жито, жито", исполненная в ладу "алая-виджняна", "прудна-парамита", в полной степи, без жидов и городов.

Некое "так надо", проваливающееся в бездну своей провинциальности, нечто услышанное там и сям, перевернутое, какой-то Арсений Тарковский, покрошенный в щепки, невменоз. Единорог, прущийся через Лес или Город, никому не нужный. Кто-то из китайцев сказал, что если бы единорог вдруг и появился, то его все равно никто не заметил бы, настолько он отличим от всего представимого. Единорог бы просто перся сквозь лес, повторяя: "лес, дача, сортир, тубзиолет, море...", "... с этого краю, с того краю..." Вот он только что был на одесских Черемушках, а, глазом, рогом не моргнуть, и он уже в районе тель-авивской "эйзор таасия". Малая бездна единорога. Где, среди прочего, меркнет разница между единорогом и белибердой. (По поводу стихов Чацкого.)

Я тоже был раньше, еще раньше, как роза была раньше, чем роза. А дом кренится, а весь в лохмотьях. Слова "не бойся!" и "не очень!" мешаются, все оказалось проще, чем могло бы быть, но недостаточно прочным, чтобы быть. Все оказалось в постели, между "пролетели свистели" и "сорок четыре веселых чижа" – их тельца слиты в куриную грудку жар-птицы. Вышла к кринице молодича нарбутовская, что на карбованце, а ты солдатом австрийским раненным ей всё приговариваешь: "пить, пить!", и с евпаторией "пить, пить!" А свистели улетели в зиммерли – они теперь карбованцы зимы.



Самочувствия как такового не существует. На автобус тихо сел себе в районе порта Владивосток. По кишке пропел, потом ее же на себя одел – такой вот горловой мешок-резонатор с ку-клукс-клановскими дырочками для глаз. А скрежет твой зубовный – ревербератор, выполняющий небесный приказ.

Между портом Одесса и портом Владивосток колыханье зги и лебеды. А наши портовые зернохранилища, элеваторы – тоже вроде горлового мешка. По ночам там лязгает сцепка составов для дальнейшего следования марсианских автобусов и поездов. На всем пространстве Евразии, от Владивостока до Одессы,

раскоряченный Дар Ветер знай себе дует в пшеничные усы, присаживаясь поспать на местах древних могильников.

Если речь пойдет об усиках кардинала – заговори об усиках другого кардинала. Или о его бородке, или о его головном уборе. Назови его "два усика и бородка", можешь даже сравнить кардиналов Веласкеса и Рафаэля, возьми топор Сорокина-Достоевского, прислушайся к сентенциям Вики Мочаловой-Кабаковой ("Вики Светской-Советской").

Да, часто бывает, что буря могла бы быть, но так и не случается. Пусть это и нехорошо, даже несправедливо. Но ты все равно ломай комедию под куполом цирка, Сенька! Сдерни шапку (Вики Светской-Советской шляпку).

Что, Брежнев мой чубатый? Что твое время – оно как трава?! Мы всё ходим била хаты, опираемся на беленую стену, пишем на ней слова: "девочка со спичками", "гадкий утенок", "идет бычок, качается".

Хрущев, присевший на корточки у печки. Две горошины перца, изображающие игральную кость. Катер подходит к причалу Черноморки под музыку печальную. Слезы катились по бороде Черномора.

О, тихо пусть будет, пусть тихо так станет Моссовет – две машины в лесу, желтая и черная, столкнулись, уперлись друг другу в бочок, и хорошо стало в лесу и во всей Вселенной. Дети, оставшись одни, забрались под стол во время грозы, и смолк фикуса куст, и онемели губы кошки. Лишь мягкий искус углами. Успокоились волны, тихое пошаркивание Иисуса по водам Кинерета, как в войлочных тапках. Как в лодке милый синклит Моссовета. Мироздание сделало "поднесу". И я тебе поднесу бокал, на эмалевом подносе и с голубой каемочкой.

Кто больше всех хочет качаться? Участвовать, качаться! Фашисты, конечно, хотят качаться. Не в петле, не в петле – хоть я им ее устраивал, я им устраивал! Пристегивал к шортикам помочи, ремни – и пусть себе качаются, как на "кладбище униформ" Дюшана. Или как "жертвы Хатыни" и "жертвы Катыни" на холмах в окрестностях Кейптауна. Геббельс тоже пусть себе качается. Юнгер, кстати, в интервью, данном незадолго до смерти, – зачем бы ему кривить душой – отозвался о Геббельсе как об одном из самых умных и интересных людей, которых он встречал в своей жизни, наряду с Эрнстом Никичем, Пикассо и Кокто. Потом, правда, добавил, что до Леонардо да Винчи наверное им всем было далеко.

Ну вот, а потому я еще дал бы Геббельсу в зубы трубку, именуемая "люлька", и пусть себе раскачивается.

Лицо расстрелянного Чаушеску соединяется некоей своей частью с определенной частью лица измордованного Муаммара, но и с торжествующим в

безразличие лицом Брежнева соединяется, а я тем временем всё сижу в партере, приговариваю:

– Господин Везерис, двукратный олимпийский чемпион, покажет мне все ваши темные, гнилые, ни с чем не соединяющиеся места. Вот, скажем, ваши места, господин Каспер Кёниг!

Ух, какой тут был скандал, ах, какой тут был скандал, когда он узрел меня сверху, из ложи! Я наорал на него: можете себе представить, как зеленый фон постепенно покрывается синим, а потом все это уплетает цыпленок?!

Впрочем, могу понять и г-на Кёнига. Это жена его настояла: дескать, поедем и поедем!.. Ну они и подъехали, ближе к концу первого акта. Они же не знали, что, несмотря на стесненность в средствах, я тоже обожаю оперный театр...

Мы ведь и сами не можем разобраться порой: где там психика, где – Фанни и Александр, а где – ледяная пустыня.

Длинный, длинный цех: завод, завод в сумерках, в лампадах, в пожарной ночи...

Никто не говорит, что будет еще хуже! Никто не говорит: "камыш", никто не говорит старикам о смерти. Мы просто оперлись подбородками о льдину-торос и наблюдаем, как оно дальше все будет.



– Я, конечно, не задевала бы его горестных лохмотьев, – так ответила она мне на предложение пощекотать в аду Брежнева.

Ну а что, собственно – я хотел пощекотать ему сисечку. Обрести ее в круге. Пощекотать в саду сисечку Будды-Брежнева-Амитабы. А потом разместить ее в голубых барашках моря. Обрести, обрести в саду Брежнева.

– Давай, я вырежу для тебя еще кусок, – говорю своей нарисованной лошадке, – давай я наклею тебя на холст, ты сможешь смотреть оттуда или даже раздеваться.

Но она молчит, не внемлет. Или говорит только:

– Дюшан, Пикассо, Моисей Великий...

Что-то такое она говорит.

– Ну, давай, я отнесу тебя к склонам дальних холмов, к берегу моря, к хатам в пыли – чтобы ты уже или замолкла совсем или сказала что-то настоящее?!

Но легко сказать "отнесу"! Там ведь нет ни гвоздика, ни самосвала, а если они появятся, то могут порушить мою лошадку.

Разве можно переносить что-то в саду, в раю, или даже в Африке?!

Почему в прогрессе солнце золотое? Почему, ну почему?!

Почему за поворотом живописи горе, как Иван Царевич, оставшийся в дому́?

Почему горе – горница, а стан – всегда рыбница?

Почему девки пляшут, как Никитична или Шалапин?



– Давненько не брал я в руки карты!

– Давненько не брала я в руки карточки! – и они искоса посмотрели друга на друга, как двое невинных.

Формам, но не духу, следует быть прерванными. Чертам, взглядам, но не дыханию, следует следить за провалом мира, за окошком на склоне горы. Дыхание свободно проходит через окошко на склоне горы, пусть даже оно зарешеченное, пусть даже дыхание – изморозь.

Это круглое окошко, это иллюминатор Ахава, это лакшери-люк – впрочем, доступный каждому, если готов платить за него безнадегой. Это крыши сознания, изморозное дыхание через чакру-люк, одухотворенная пена дней, леса, бревна.

Отчаянье, сопли, корабли, проебанный Арарат, возвышающаяся Фудзи.

Кризис образа-движения наверное связан с тем, что мы не можем упасть, шмякнуться. Лишь скользим по льду. А Гравец знай себе дует в дуду. Повстречались в Москве зимой. Была суета Перестройки. Ныкались туда-сюда в пазухах городов. Иногда вспоминаю ее имя.

Хоть сами вещи и их происхождение различны, любовь дает им единый шанс. Один шанс, как единственный берег реки, единственный достоевский этап, наедине с Сонечкой Мармеладовой, а вдали громоздятся военные лагеря, хозяева жизни точечками в пикатых шлемах или, при более радостной картине, бородатыми мазками на бульваре Капуцинок, но ты идешь смеркающимся вечером по берегу реки, впереди заброшенная электростанция, белеющая как Ленин, маленькое дыхание мира возносится вверх, потом становишься на колени...

Плывет опавшая звезда внутри говна, по небу рыщет самолет, видны сидения через прореху в его обшивке. Умение партии, умение Ленина давно уж превратились в клетчатые носки, в оборки бытия. Лишь всё носится по небу эта виды выдавшая крылатая этажерка. Вместо зарева крыш – пыль, рубероид. На кого ты похож, герой-любовник?! Губы выпятил как чернокожий, любви к людям не более чем у иглокожих, в уголку рта торчит пахитоска – губы выпятил как отсоска.



"Король и королева выдумывают все фигуры, чтобы было кому их защищать – как девочка со спичками придумала пургу, а пурга придумала рождественского поросенка, который придумал бабушку, придумавшую рай", – так думал он, подымая ногу на болоте, шествуя по кочкам, пестуя свое незнание.

"Аккуратненькие левые засорыши тут и там придумали Россию и классовую борьбу – так думал он, вышагивая по аллее, ведя на поводке свою собачку. – Это венозная система горы. Вот только вопрос: кто придумал, что к этому еще надо сочинять стихи?"

Я – дочь Путина и Советской власти, хочешь, пойдем со мной в земляничные поляны?

Я – сестра Путина, хочешь, пойдем через дорогу, потанцуем танго с медведем в бледно-лунном свете?

Нет, я хочу упасть лбом о холст, так чтобы отлетели красные зажимы и распалась боярская дума.

Собака, Лизка или Каштанка, разглаживает снег. Опрокинувшись на спину, как девочка со спичками. Заглядывая в окошко, как лошадь на склоне.

А потом они упали все – собака, улица, княжна. Лишь луна-конфетка подрагивала над ними в ночном небе.

Мы видим, как время и жизнь брызжут в своей расщепленности. Мы кричим: "Нас двенадцать-двадцать пять, чью душу хотите?" В хороводе, или откупоривая бутылку, или прильнув к радиоприемнику – как там ракета пробирается к последней луне?... Какое шуршание, какие тапочки! Мы видим, как время и память движутся в своей расщепленности и угасают в комедии на линии прибора.

У меня нет никаких заслуг. Я лишь путь – страдающий, падающий, идущий по своему собственному пути. Сворачивающийся барашком, простыней, рогами барашка, локтями луны.

Если уходить в пространство черное – это будет пространство ночи (которое, очевидно, на улице). Если уходить в пространство белое – это будет потолок, который с лепниной. Если уходить в пространство соленое – это будет пространство моря, слез, воспоминаний, куда чудом затесался твой взгляд.

Гладь никто не чувствует – ни как двойняшку, ни как сережки, лишь только как наложение слоев в клубке.

Да, был у меня тот драгоценный камень, но ориентировался я медленно, и, пока клубок разматывался, камень выпал и закатился куда-то под сту-

пеньку. Не помог мне тут весь Оперный театр, не помогла и семья Лили Колмановской, хоть и выстроились они в три поколения на лестнице с одесского Пале-Рояля, вглядывались вниз, разыскивая закатившийся под ступеньку драгоценный камень. Не помог и бриз морской, и даже дыхание белых акаций, как оно веет там ниже, по Приморскому бульвару.

Брызги суеты, тот камень, распавшийся на тысячу осколков – все эти "современное искусство" и "московский концептуализм" – казалось, могли спасти меня, но части, чешуйки не обмениваются на целое, ибо всегда они шелуха. И стал я дворником, подметающим улицы – подмел на лестнице с Пале-Рояля, и на Приморском бульваре подмел, и сгреб все чешуйки, но драгоценного камня так и не нашел. А потом я понял, что, наверное, и это хорошо – просто быть дворником, бородатым и лысым, который подметает пустой бульвар, бульвар.

Мудозвон, апокриф, водяные лилии, Нэшвилл, черная трава. По крайней мере, дядя, там нет философии коричневого, и философии дяди там тоже нет. А вот зеленая трава на черном – возможна, они взаимозаменяемы, они как через игольное ушко или замочную скважину. О, этот райский гиппопотам, разлегшийся среди лилий! Гитара, банджо, треньканье на лугу. Там нет философии отката и нет коричневых подтеков вокруг шеи или головы – а ведь убить тебе могут только в окрестностях головы или шеи коричневой.

*В.Захарову*

Если ты всего лишь норовишь загрузить информацию – дескать "не получится с Богом, так попробуем с Боком...", если взаимовыгодный обмен всех протоков на коричневый ты хочешь устроить, всех произведений – на (хуй)архив, и пусть гомозят поросята – тогда, конечно, речку ты перейдешь, но она же не отличается от лужи, и в Уфу ты заглянешь, как в ужа.

Я помню, в Одессе, когда подмораживало, я разбивал сапожком колкую поверхность луж, и, что меня поражало – под ней зачастую уже не было воды! Она высыхала или уходила в землю, я не знаю, но оставалась пустота и что-то грязно-мшистое на дне. Еще я помню историю про то, как Нагасава Росетсу, направляясь однажды зимним утром в мастерскую своего учителя Маруямы Окё, увидев застрявшую во льду рыбку. Он весь день беспокоился, что рыбка погибнет, но Маруяма успокоил его. И в самом деле, на обратном пути он смог убедиться, что лед растаял и рыбка уплыла, или она разбила лед и уплыла. Далее следует мораль про путь, усилия, поиски, терпение, про форель, которая разбивает лед, и т.д. Все это так, но самое главное – не надо устраивать сборища застрявших во льду маленьких лебедей.

Мы старенькие, нас уже не выбить из колеи, мы не будем зарабатывать деньги. Я видел сегодня во сне квартиру Марсея Дюшана в Париже (он



разрешил мне пожить там несколько дней, пока сам был в отъезде) – скромная, в одну комнату. На стенах – коллекция ключей и дверных щеколд. Мы никогда не будем, как те обезьянки, посыпать солью наши выпук-

лые лбы, наши лысины – хоть и знаем, что там удержится соли щепоть. И матрас у Дюшана был положен прямо на пол... Впрочем, в его квартире были прекрасные деревянные ставни и просторная удобная душевая.

Результат изменений в творчестве – метафорических, но и самых опасных – он проходит без слов, понимаешь, без слов! Туда, где качаются ветви, или туда, где они падают и начинают сметать Ялту, карабкаешься в горы по козым тропкам к дому Чехова, или там, на самых снежных краях Обручева, отца и сына, или оденьте рукавички и отправляйтесь на прогулку, или поставьте лицом к стенке опереточного Кальмана, или связанные, лицом к стенке, голые девочки Даргера – давайте, я сейчас это разведую, и сейчас же яблоня, вишня, кукуруза, я угощу тебя молочной кукурузой и буду прыгать козлом, чтобы не быть как Кальман, и в небе голубом, и в небе голубом.

Я тебе точно скажу, мне нравится этот узел – провести линии по хребту ориентального халата, вдоль узора, а потом и поперек – так, чтобы образовались зоны, участки, камеры (это внутри узора!). А потом – точку слева, и точку справа, а потом в поезде, бессонную ночь напролет, в спорах. А ты ешь пирожное, дуги твоих бровей, я посажу тебя спиной к окну, в контражуре, я хочу, чтобы ты возвышалась.

А потом, уж не знаю, я назову это пирожное "афганским", дьявольски опасным, или назову его "лягушкиным шагом", и вновь окажусь в опустошающем пространстве броска ветки... Тем более, что я же сказал: "без слов, без слов!"

Если бы я мог придумывать персонажей, они бы были как дождь, но поскольку я делать этого не умею, то становлюсь дождем сам. Неуловимое различие между вишней и черешней, между улыбкой и оскоминой. И если я говорю, скажем: "Приходите ко мне в гости, я живу в Моабите", то приглашаю лишь к неповторимым потертостям у плинтусов. Хотя все равно ведь должен объяснить потом, где я живу (адрес).

А вот если окажетесь в Эфесе, то важно запомнить, где находится ликероводочный магазин. Надо пройти мимо развалин храма Артемиды, там в пруду под солнцем греются черепашки, и продолжать идти вперед до самого конца улицы.

Если окажетесь в Чикаго – он находится примерно там же.

Подобно тому как все они находятся друг в друге и сами в себе, в дожде.

Да, я заяц, я в шестом поколении заяц. Я псом родился в этот мир, и я же заяц. Я без билета, у порога, я могу только от печки. Еще я пытаюсь на задних лапах, приседая туда-сюда. У бревенчатого порога, в избушке. Я не умею, если не в избушке. Я пес особый, как школьный учитель – прав был Бренер. Однако я тоже прав, потому что всегда сражаюсь, хоть и зайцем. Хоть и ненавижу транспаранты, как пес. Хоть я и сам транспарант-транспонанс, иголочка. Я под пологом леса, когда в лесу. Я пихтовый, кавказский, мацестовый. Я жду провала – не в смысле неудачи (я и так сплошная неудача), а конца, когда расколется Мацеста.

Не исключено, правда, что и тогда я буду как шарик из той задачи, что без толку носится в окрестностях центра Земли. Тыры-пыры, Россия-Украина, рукопожатие-перчатка. Впрочем посмотрим, когда уже в самом деле будет без сиропа и без Мацесты (Москвы).

А если его собьют, стоит ли пригласить его в гости?

Когда я уже буду *там*, и смогу приглашать кого угодно.

Вот, скажем, приглашать ли Брежнева и Никсона одновременно?

Что меня ждет? Толстая тортовая аннигиляция? Или, наоборот, равновесие мощное – пардусом, рылом, Владимиром? Я все пытаюсь рисовать их головы как кочанчики капусты, памятуя о ситуациях, когда дети играли кочанчиками капусты в казнь короля, Олоферна, Иоанна.

Когда Юдифь перевоспитала Олоферна, они полюбили друг друга, и жили долго и счастливо.

Что, "осада"? Я не знаю, сняли ли осаду. Может, ее также невозможно снять, как убрать рассвет. Когда в автобусе, по дороге в Великую Александровку, я впервые увидел рассвет. Возможно это существенно повлияло на мою жизнь. Возможно я спрошу об этом у Никсона-Брежнева, когда положу их на тарелки рыночных весов, и эти уточки, клювики уравновесятся.

Я переворачиваю миску вверх дном, ставлю на нее блюдце и думаю о всем этом, как о натюрморте Моранди. Потом я снимаю блюдце, ставлю миску на стол в естественном положении, кладу рядом яблоко и опять-таки думаю о Моранди. Потом я вообще оставляю одно лишь яблоко, но к этому добавляется похрапывание дремлющей у меня на коленях собачки.

Можно ли вообще воспринимать натюрморты Моранди как некое похрапывание мира? Или его, мира, разрыв – вздох, еканье, остановленный воздох, и все запорашивается белой пылью. Нечто между стоянием и безнадегой, песком и морем, кромка, которая должна порезать тебя, твое захоловувшее сердце. Вариации без вариаций: "давать дневную тракторку сна", "сказать про сон, что это не сон", а он в чалме, он крутит руками. Это наверное называется "вибрациями". Автобус отправляется, автобус не приходит, он на подходе, его бок заляпан натюрмортом, он натюрморт.

О, великий разбойник Хацидзе! Его искала полиция по всему аулу, и весь аул устроил перестрелку, сошелся стенка на стенку – то ли в защиту Хацидзе, то ли уже непонятно за кого. А сам Хацидзе тем временем устроил фейерверк на кладбище, и там он шлялся, как одинокий дурак, он хохотал, кувырчался, бил себя в восторге ладонями по карманам, по газырям, и все в бенгальских искрах голубого огня, и в звездолетах, и в спорных территориях, в шелухе и пыли, в сгорающей шелухе.

Никогда не было так, чтобы кисть Ван Вэя прыгала и шурхала как кисть Ван Сичжи, хоть и оба они велики, никогда не было так, чтобы павильон подчинялся крыше – вот и я разбросал всё окатышами, крышу не достроил, стропила – то ли стоят, то ли "выше их, плотники", рисунок сосны, как и положено ему, кренится вправо, только ствола нигде не видно, размышлениям о бренности всего земного мешают пузырящиеся рукава, да и слезы утирать надо, образ глаз твоих, твоего взгляда, совершенно не восточный, вползает в этот балаган, и растерянные товарищи, бывшие товарищи недоумевающими мордочками глядят на этот пейзаж после битвы.

Навязчивый механизм остранения, свойственный мебели – эти вытянутые рожи в разводах полировки, этот "грустный ежик ушел спать", который мерещился мне в узорах ковра.

Однажды в прошлом или будущем он трахал старую деву. Однажды он был мент. Однажды он трахал кого-то у метро Маяковская. Я подошел к нему сзади и ударил его. Я подошел к нему сзади и сделал ребенка. Я был Делез, он был Кулик. Однажды его сделал Бренер. Солнце всходило над хатой. Я нарисовал картину "Страна Мудэ". Есть ли мебель в хате? Можно ли считать мебелью ее саму? Можно ли принять в строй пархатого? Когда "грустный ежик удалился спать по полянке в сапожках лаковых".



Он участвовал в этом живописном эксперименте – каждый день приезжал в лес, одевал римскую тогу, позировал со спины, а вокруг него крутились разноцветные овалы – вроде портретов маленьких бестий, повес, потом он одевался в цивильное, садился на метро, его штрафовали за безбилетный проезд (кажется, это тоже входило в концепт), и он возвращался обратно продолжать свою маленькую неприметную жизнь.

"Актерский ансамбль играет великолепно", – так часто говорят. А если он не играет "великолепно", то разветвляется на образы, на их части, каскадами, ветвями падающие в листву. Или мы видим лишь груди, бедра, походку – как у Брессона. Или проклятие, ветку омелы. Или каникулы – когда из-за горных вершин подымается солнце, а воздух напоен утренней свежестью, пением птиц и чем-то еще он там напоен.

Сколько лет должно быть сейчас сыну Подороги? Лет двадцать пять, двадцать шесть? Смог ли он проявить себя? Делает ли он стойку посреди дождя? Или он Ипполит? Пес Ипполита делает стойку в дождливый день. Песчанистые бедра пса Ипполита. Берега реки. Я знаю только историю, как он (сын Подороги) укусил в детском саду в США чернокожую девочку, и его исключили из садика. Эту историю рассказывала Нина Котел, с ее милыми киевскими интонациями, не способными никого обидеть. Дно Ипполита, зубы Ипполита, зубы колодца – там внизу, в полутьме, по окружности вихрящейся. Да, люди приходят в музеи отыскивать ответы на свои вопросы у тех, которым было легче, чем им – так они думают. Но на самом деле, им было тяжелее. Именно потому что у них были ответы.

– Я не совсем правильно это сделал, но сейчас я сделаю правильнее! – так говорит он, сиюсь изображить улыбку либертина в лесу. Не к этому ли стремится любая живопись?

Тогда к этой цели наверное ближе всех подошел Тициан. Его озверительные нимфы, их бедра, бесконечные как Сатурн.

Другой модус – "убийство лысого в подвале". Это уже Ван Гог, Клее.

Рембрандт ближе ко второму модусу. "Ночной дозор" – без сомнения, самая великая песнь в мировой живописи об убийстве лысого в подвале.

Бэкон – пожалуй, он хотел бы изображать первое, но клинилось все время ко второму, и в этом замечательное напряжение Бэкона. Лысый в подвале, в квартире, в гостиничном номере разворачивает над собой зонтик и воображает себя либертином в лесу. Это невозможно. В подвале даже невозможно развернуть зонтик. Но это все равно озверительно. Это летучая мышь, это мы все.

"Несоизмеримый опыт" – что это такое? Война, сражение, блокада Ленинграда? Безусловно. Но порой чудится мне этот самый несоизмеримый опыт в чем-то несущественном и боковом, вроде "прибалтийского концептуализма" – вот выходят они на песчаный пляж, и крутятся, вертятся, вроде перформанс у них такой.

"Не знаю, как долго я еще пробуду с ними", – записал в своем дневнике Верный Пэс.

Похоже, он находится в состоянии Перезагрузки.

Он ничего не пишет, не рисует – и я знаю, он находится в состоянии Перезагрузки.

Покинет ли он нас, когда Перезагрузка закончится, закончится ли она когда-нибудь? Этого я не знаю.

Все это как дождь, проливаемый над лесом.

А лес стоит стеной, а дождь – это дождь или ливень?

Я не знаю.

Темно-красная краска – я называю ее "миус" – вышла из игры. Я оставляю ее вам, ребята, окуните в нее кисти и рисуйте себе дворы. Переулки в районе Миусского сквера, где стояли троллейбусы на приколе, спокойные, как акулы, доплывшие до Америки. В них хорошо было распивать темно-красный портвейн. Это краска тихая, но жгучая – и пустая бутылка катается под ногами жучкою.



"Девчонки, место здесь не подотчетное!" – эту фразу я скандировал в нашем фильме. Стоя на стуле и покачивая бутафорскими мамонтовыми бивнями. Позади меня была энигматическая надпись "Загиб".

Ты можешь стать во весь рост на стул – чтобы приблизиться к девчонке.

Ты можешь забраться в нишу или на антресоль – тебе поставят туда графин со святой водой, как это было со мной в Харькове.

Ты можешь записывать для себя эти фразы, пока они проплывают по экрану. Сколько фраз ты успеешь записать, чтобы слепить поучительное лицо девчонки?

Много шума из ничего. Я нахожусь на бетонном полу. Я падаю все ниже, но нахожусь на том же полу. Мои глаза закрыты. Я котяра с закрытыми глазами. Есть мне, в принципе, уже и не требуется, но иногда еще хочется ощутить что-то во рту. Я нагибаю голову и подбираю его с пола, представляя себе, что это рыба. Но это не рыба, это мокрый комок бумаги, газеты, однако все равно я сижу с ним в зубах какое-то время. Мечтательно смежив глаза. Иногда я говорю себе: "Это мэдрик!", иногда я говорю себе: "Это край – лучше уж лечь и помереть!" Но слепые котяры и лечь не могут, они все сидят на бетонном полу. Ты распластываешь все ниже и продолжаешь сидеть с мокрым комком газеты в зубах.

Армия орхидеи с сыном орла, армия Делеза прикованного.

Он сидит, он озирается, выставив как Буратино голые пятки.

Или будто на возу сена его везут.

Или как добрый философ, или добрый старый поэт, пригревший мальчика-амура, а тот в него печеным яблоком запустил.

Как будто сборная выигрывающая в Израиле конкурс на лучшую Болгарию.

А на страницах книг я хотел бы выиграть в конкурсе на самую глупую виньетку.

А на улицах города я хотел бы стать затором по кличке "Бастион".

Нечто падающее с горы, но лишенное права выговориться – так нам следует понимать живопись.

Лишенное возможности повествования – ведь август не крутится.



Это тебе не фантом Макаревича и не игра "Что, Где, Когда?", в которой красную кнопку жмут. Это избыточное лицо борца-бульдога-императора, это черные риски его венца. Юлиан-Бородей, копьём пронзенный.

Скоростные поезда сверху, из космоса кажутся погонами, лычками. Тут не проводят переключек – тут только черные брызги-подтеки, стекающие по лицу проигравшего боксера, изможденного императора, а, впрочем, вокруг, если хочешь, рябиновки хоть залейся.

Пат, это пат! Ты отдаешь себе отчет, что ты алкоголичка, что ты не двигаешься, что ты слишком тяжелая?! От тебя бы отщипнуть кусок, но ты этого не сделаешь. Ты в луже навзничь. Ты – деревня. Ты облака, расходящиеся над деревней. Ты пат, ты Паша, ты миленькая – как даль, упавшая в комок, в ладони, на колени, как мерзость, которая не должна была случиться, этот необъяснимый случай, жизнь.

"Мы понимаем всю историю как тогдашнее "сейчас", – это сказал дядя Хайдеггер. А мне бы хотелось понимать всю свою жизнь как сегодняшнее "тогда".

Решение? О, какое тут может быть решение?! Дряхлый 90-летний Гельдерлин спускается по ступенькам к воде, и перед ним открывается Венеция. "Венеция – какое Могушество!" – шепчет он. Огромное всеподавляющее присутствие, некий насильственный свет, за гранью нашего желания, мышшь, песчинка, рушащаяся сквозь ладони, некая гора, ужас, стенание, пыль, удавка. ("Какой Геволт!" – сказал бы одессит.)

А ты – голова. Перед тобой каждый может дернуться и откинуть голову назад. Каждый может дернуться как режиссер – а ты лишь голова пыхтающая, ты фарш, ты на бытии заплата, ты только вздыхаешь обиженно, ты видишь свет, ты видишь город, листья, ты видишь, что с этим ничего нельзя поделаться.

Это врачи-рыбаки, это приехала ни одетая, ни раздетая (в рыбацкую сеть закутанная). Это сети, которыми я пытаюсь уловить бытие, вилами по воде писанное. Это тщета, крыши. Корона Российской Империи, или Снова Неловимые. Или снова Бык, Копоть, Поезд, Срань Поездная. Антон Антонович, городничий, произносит тост в Таиланде. Он с дочерьми. Он Борис Николаевич. Лепестки расходятся широкими кругами. Он Билл, который приезжает из Америки раскладывать эту клумбу. Я не знаю, хватает ли у него еще сил. Он уже Леонид Ильич.

"То, что не дает помыслить себя в мысли, то, что не дает увидеть себя в видении" – это погоны, лычки ушедших поездов, снег в тамбуре, округленный взгляд Буратино, окуклившиеся птеродактили, разводы коры.

Стыдно думать об уронах, но невозможно не использовать уроны:

– Ах, ты будешь жрать собственную блевотину?

– Да, я буду жрать собственную рвоту.

Он показал мне небоскреб. Я показал ему небоскреб. Это было как школьные задания на выходные. Завтра, может, позвонит тебе твоя крикунья. Послезавтра, может, привезут тебе твою книгу. Небоскреб, прохвост – жри свои экскременты. Мудак-городничий-грибник, жри свою шапочку-дуплю.



Мы в этом мире уже не художники – художники были раньше и кончились где-то с поколением Пастернака-папы. (Я уж точно не художник). Мы непонятно кто. Однако как раз это надо понимать. Только через "непонятно кто", через вяканье мы можем что-то сказать, и без иных претензий.

Я смотрю на фотографию Пастернака-сына в военной пилотке и форме, превращающих его в какого-то "Шле-му", в "азоханвэй и танки наши быстры", однако ж с неизбывным трагическим надломом. Кристалл и вата, переходящие друг в друга. Мы не знаем, кто мы. Мы сквозняк в парадной. Мы поем: "Ах, пилотка – лодочка", с заваливанием в концлагеря, а Зинаида Николаевна в ногах валяется: всё "подпиши!", да "подпиши!", а следующее поколение вновь начинает с туфель-лодочек, и такой вот вечный переворот всегда был в Биробиджане.

*Эта паркетная буря...*

Зинаида Нейгауз, что валялась в ногах у него: "подпиши! подпиши!", или Гитлер-найденый-рыбак, что глядит поверх морского павлиньего занавеса, а я подхожу и добавляю то там, то здесь немного охры или желтой, зная, что ничего это не изменит, да никто и не заметит. В самом деле, разве можно изменить что-то в тех коричневых глазастых пучинах Вселенной, где море неотлично от паркета, а паркет – от Пастернака.

Персеида Нейгауз надевала цветастый халат для него...

"Гарнир готов?... Нет!?!... А эпизод?... Эпизод третий?... Там, где герцог с лентой через плечо?... Там, где герцог с лентой через плечо перебегает галерею наискосок?"

Так он часто думал, такое он читал в период, когда рисовал врачей-рыбаков. Он думал, что это должны быть авантюрные портреты. Он даже

посмотрел фильм "Королева Марго", где все бегает в рейтузах или корсажах, особенно Изабель Аджани. Конечно, тяжело авантюрить, когда... Когда листья сливаются в пыль под ногами копыт, в Иисуса Христа. "Лысый овал в шершень не превратишь", – так сказал ему когда-то один пиит. Впрочем, тот пиит был в колпаке. Тогда все были в колпаках, они сидели под плинтусами, это называлось "интерпретировать". От той эпохи осталось нечто спорадическое. Как пуканье моей собачки. Разве что с перекошенной губой наводит раз за разом герцогскую ленту наискосок. И еще наводит шапочку.

Куда девать всё это?

А куда девать всё то?!

Будто Ленчик, всё бежишь за поездами, за пучком их путей, за стереоуглами.

Великая пошлость мира, что заставляет нас бежать по поездным путям за поездами.

Вместо того, чтобы смиренно вытянуть ладони, и пусть светятся ребра твои – как у того мальчика, бедного, индийского.



Тетрадрахмы, тетрадрахмы, тетра чего-то там еще – напоили мозги. Тарелка супа для мальчика душистая. С петрушкой, пастернаком и прочими травами. Тебе – бокал с похмелья.

Ежесекундно кровь превращается в вино. Каждая нить за собой тянет другую нить. Помни об этом, девушка-мышка, мысль-мыслишка! Революция, как и любовь, играет не в домино, но только в кости. В единственное зернышко на белом. Или на красном – как придется.

На голубом небесном, на винном, непрозрачном цвете моря.

*Якову Виньковецкому*

Тот винноцветный Виньковецкий – он хотел как Поллок или Рублев, плестись с ними в одном бокале пробелов моря. В одном жгуте несчастья, как ослик Бенедикт. В одном обрывке на бересте.

Привальный ослик Бенедикт на кромке моря – хотел утесом стать, а получилось вроде с белых вишен дым.

Каждый горит как он горит, а говорит – как дуб говорит, а делать будет – как ложка встанет, как свет золотой льется с утра в баньке или бокале. (С нитяной улыбкой наперсточника.)

Как три-четыре – как трубка встанет в моем бокале или трахее. С улыбкой молочника или бабушки.

В одном флаконе моря-духа, в одном флаконе бодуна – бродящи-

Бродского-петуха. Виртуальное стихотворение или виртуальный Степа, виртуально хранятся они в виртуальной хатке у старушки на болоте.

Она привечала его французенкой, бельгийкой или болгаркой – впрочем, вестей было так много, что они уже приходили не только со Съезда, но и из ресторана Дома Литераторов (Евтушенко).

Каждый хоть раз в жизни – а, как правило, много раз в жизни – будет этим стариком-Евсеем, хватающим молочный пастернаковский коктейль-трубу, созерцающим этот завод по производству голубого дыма в сизой московской ночи.

Хорошо быть поверх всего другого – когда в величезности основ ты возносишь памятник новых снов и собственных мыслей. Сродни мраморной маргаритке. Хорошо проследивать жарким летним днем в метро какие-то разводы, трещины на мраморных или кремнистых стенах. Или когда возвращаешься зимой с прогулки. Всякий раз это памятник новый, незнакомый, как Паллада, что дается тебе ласточкой в руки здесь и сейчас. И в то же время, эта книга судеб, тобой уже исхоженная, единственная и ненавистная книга твоей судьбы, что берешь с собой в постель или на ужин, и разбираешь там всё те же хитросплетения, делая вид, что они новые, новые.

– Сколько же можно, можно?!

– А сколько же Волга, Волга?!

Это она ухо свое лопушком подставила – и тут же раздался взрыв далекий. Я знаю, никуда мне не уйти из этой схватки-варева. В предыдущей серии его не было еще. Вот и теперь так хочется получить что-то конкретное, вроде чаши, которую можно опрокинуть или поставить себе на колени. Кружишься, мыкаешься изо всех сил, слышишь возгласы, яростную полемику:

– Это Ленин!

– Нет, это не Ленин!

Знаешь, что это относится не к тебе, но все равно мучаешься этим отжившим, бездумно перенятым тобой лягушонком.



Спокойной офицерской доли,  
спокойного "здравие!" во всем –  
нет, тебе я не желаю,  
пусть лучше подлецом  
или с острыми краями  
будет зыбиться твой профиль,  
пусть будет фон кофейным или грязно-васильковым,  
пусть руки ударниц над крышами отсохнут,  
лишь прорванное бедро в полете,  
как сок точащийся излучением наростов.

Не шагами дурочек, но как черный остов-осколок кашалотовой шкуры и лучающийся ленинский взгляд Моби Дика – таким я запомнил его в безднах первомайских гвоздик или в отсвете печки на рундуке, когда в домах еще топили печки. Все выложено кругами – и только хвостиком махнула. Нам не следует отрицать видения, но, наоборот, надо видеть в них хоть какую-то зацепку и награду.

Невозможная коллизия между ним и его женой возникла: отдать ли в КГБ стихотворения?

Чтобы они петлей там взмыли в туманный полдень.

Пусть он знал: удавка КГБ не заарканит небо, но лишь пустой петлей, что рушится бессильно, и даже ножки стула не захватит – но все равно, косяк, и вечный стыд, и кто бы плелся с ношей, когда бы знал последствия отдачи текстов в КГБ.

Я вижу четыре ступени работы над картиной: Пятно, Взятка, Время, Охотничий Танец (Менуэт). Порядок может быть иным. Животное – Жи-раф. Существо – Лель (колокольчик). Улыбка – глаза. Уход – море. Промежуточное состояние – колосья. Средства транспорта – поезда. Тип окна – иллюминатор. Стояние – жизнь.

Эти пятна, что наступают на лица, эта луна – царевна Повилика, я хочу добиться переменной каменности лиц как самого жалкого, последнего утеса. Зацепка – раскрытие в бесконечность времен, как прядь ее волос.

Пока еще не погасло солнце, пока еще не исчезли звезды, мы должны быть очень осторожны, даже в улыбке своей. Орнаментальная разнонаправленность различных областей бытия должна заменить поиски речного, голубоглазого сходства.

Собачка исчезнет – твоя и моя, исчезнет этот невыносимый зазор, доска, по которой идет бычок качается, где он должен причиндалы свои бесконечно выставлять курам на смех, где плещутся знамена и Рина Зеленая играет роль Черепахи Тортиллы. От всего этого хочется блевать, но тогда уж надо сразу выbleвывать все звуки и Млечный Путь. С другой стороны, хочется все же оставить после себя какие-то подарки на память, но где же их взять?! Даже лодка капитана Немо разбивается о быт, а Дерibasовская – тем более.

Многоразличная разность бытия, его тюрьмы-мосты, тары-бары разговоры, гречаные поля, а тут еще ходишь по жнивью в сапожках. Пэхче и Силла, Кеннеди и Брежнев, салазки-тобогганы рушат сквозь снег. Однажды изобрели человечество – и будь готов выдержать его гнилой персиковый отсвет. Ибо лучшего все равно не дано – братан, Гречищев, персиковый цвет на хуторах, Федерико Феллини, хуйня, дуновение.

Чего я не сделал, что я должен был сделать – кто его знает, пока меня доска по нёбу не задела, ломающаяся скамейка, ебаная семейка тетки-чечетки, которую надо покинуть.

Пока Дима Булычев еще был жив – я же не мог представить себе, что он, такой красивый, семнадцатилетний, танцующий рок-н-ролл, и крылья пиджачка его взмываются, умрет от передозняка через полгода.

Потом Пушкинский музей сменил своим многомирьем наш скромный Музей Западного и Восточного искусства. Там "Королева Изабо" Пикассо, "Красная комната" Матисса будто говорили мне: "Не потей! Все равно не достигнешь – разве что потри ляжки свои, как лампу Аладдина", но из соседнего портала уже вынесли и Чацкина, как куколку спелёнатого, и Сережку, что умел по-солнечному мочить пеленки, и Перца с его окариной. Так всех нас вынесли в негромкую утреннюю сумятицу Обсерваторного переулка, на Сабанеев супчик-мост. А потом я еще выбрал киевский увяз-перевоз, и с тех пор все танцую ночами на остатках Десятинной церкви.

Что же ты все молчишь?! Пока я танцую на подпалинах тигрового мыса. Субботник, парховник, колбойник. В докторанты все равно уже не возьмут, но иронию смерти и безнадёгу можно затемнить движениями жмыха.

Я был в этой лодке, ольхе, я был в слепых глазах Циолковского, устремленных на Солнце, я был самой последней заклепкой гальюнного иллюминатора на Незнайкином корабле. Санчо Панса, бог весть что о себе возомнивший, копьё себе всаживающий в жопу – думая, что это окопы, розовые, розовые дали.

Если Шер Хан – то, значит, Шер Хан. Если глаза – то глаза звездной катенькиной ночью. Боюсь сесть не в свои сани, но мне хотелось бы как Андре Жид, подымающий сапог выше уровня головы, или как замерзающий Санников, его земля – маленький южный остров где-то далеко во льдах, и там глупые онкилоны.

Там встретить мечту свою под ветвями улыбкой чуждого тебе человека (Пастернака), согретую задорными паучками, вскормленную капусткой.

– А ну-ка строиться всем по вагонам!

Советские люди послушно бегут строиться.

– Я, милостивый государь, уже двадцать лет своей просьбы не скрываю, – сказал Пастернак в разговоре со Сталиным, – готов лежать хоть в центре, хоть с краю!

Я был поражен их отношением к делу, а тут еще Юрий Гагарин пролился на землю артемидовым дождем.

Идет хуйня, хуйня в прибой, как пьяный ветер в заворот. Что же делать нам теперь, Борис Леонидович? Понизовье наступает стеной, краем ставни, крынкой молока. Конечно, мы все умеем, прикинувшись лилипутами, играть в прятки. Это легко и в переполненной маршрутке по дороге из Затоки в Одессу, и на Тверском бульваре, и на Бродвее, но когда занавеска ходит

лезвием в углах, это почти что невозможно – будь ты хоть Есенин, хоть Ленин.

Конечно, юмор мира – единственное еще, что стоит за правду и за наслаждение, как одинокая сосна разлапистая, а ноги ее – соловьи.

Хоть и слышится порой мне в шорохе ветвей нечто вроде "жили-были три танкиста" – тут уж хоть святых выноси. Или ноги цапельные, сабельные. Внутреннее, ласкающее, выворачивающее – все те же ливерные гадо-сти-гадания. Жил-был парикмахер.

– Черт возьми, мы сильнее всех! Мат вам, мат!

Это любители силы в советской власти, евразийцы – я их ненавижу – все эти Эфроны, Сувчинские и Святополк-Мирские. Точно также подобные им носят теперь с Путиным. Или левая шваль, неудовлетворенная собственной карьерой, но, с понтом, страдающая за все угнетенное человечество. Музыканты, наигрывающие песню "Запад нас наебал" – Рабинович, Летов... Что я люблю в украинцах – там этого ни грамма нет. Мы меншовар-тые, мы вообще в такую хуйню, как смысл мира, не лезем.

Раз, два, три! – на всем протяжении зари. Только идешь и думаешь: не осталась бы в дураках победа. В одном флаконе моря-духа, в одном флаконе бодуна страна всё толчется. Моя ли? Какая? Я уже сам не знаю. Только идти и идти бы краем моря, краем леса.

"Наследник или Центр", "Инвазия среды", "Шоферы", "Курочка лапой", "В галстуках", "По тонкому льду" – такие вот названия возможны для выставок с участием моей серии картин "Врачи-рыбаки". Еще названия: "Небоскребы, зажигающие окна", "Расшаркивание курочки на льду (к ситуации в Белоруссии)", "Курочка в галстуке", "КОАПП – комитет охраны авторских прав природы" (плагиат), "У Черной речки", "У черной реки", "Святой колодец, трава забвения" (двойной плагиат), "Пузатый", "Пузатый – 2", "Маяковский начинается" – не столько название, сколько комментарий (с плагиатом), "Мистерия Буфф" (пьеса Маяковского), "Велосипедное покрытие вечности" (пришло от персонажа Велосипеденко из пьесы Маяковского), "Махорка Муфф" (пришло от Штрауба и Уйе).

Гусь, прячущий лапы в муфточку, ум – в Иваново, крылья – маленькие, плотно прижатые к груди.

О, эта кнопка, так и не начавшейся, невывернутой китайской войны. Она на другом берегу реки, я не могу достать до нее. Я помню только сообщения о боях за остров Даманский. Я помню приемник, его ручки и клавиши, я помню окно, деревья за стеклом, темнеющее небо, эту свежесть весеннего вечера, недокрученную пробку неначавшейся войны.

Или это девушка на том берегу реки. Она сидит с кувшинами, она прикидывается дочкой кого-то из знаменитостей, Тура Хейердала или Эрнеста

Хемингуэя. Мне бы хотелось разоблачить ее, вывести на чистую воду.

– Так разве я сама это придумала?! – говорит девушка.

И в самом деле, я не знаю, кто это придумал.

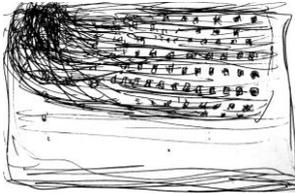
Взрослые и дети! Вы все хотите выигрывать коротко, вы разбрасываете маски – по урнам, по тавернам, по берегам рек. Вы подбрасываете друг другу маски – в красных извивах дня, синих извивах вечера.

Все проброшено в урны! Только демонстрация идет упрямо – в золотых извивах дня.

Сколько же можно, можно?!

А сколько вот Волга, Волга?!

Сколь веревке не виться, всё упадет в затон, где быстрые лица и серебристые рыбки-струи. Эх, пятна нефти на красной реке, вот бы путятина-гниду обмакнуть с головой, а сверху пусть ядра приклепнут веское слово свое!



"Можно начать вспоминать с головы или хвоста, это в любом случае контур опрокинутой восьмерки, валяющейся на линии прибора, это бочка, кажущаяся коммерсантом, но лишь выпавшие зубы кашалота перекатываются в ней".

Ох, не этому, не этому учили нас в школе, в нескольких кварталах от Дерибасовской, когда за окном цвели каштаны. Ох, не к добру, не к добру заливается собачонка.

Конечно, никто и не ожидал, что буденовка пребудет вовеки, но есть же простая человеческая порядочность и знание, что отпечатки в любом случае останутся, когда ты хватаешься за трубку телефона.



Когда все пройдено, предано, когда Менгисту Хайле Мариам и Мобуту Сесе Соко как клоуны в цирке, по темной африканской равнине они играют в кегли, в озорные чарки застольные.

Глупое лицо клоуна, бедное, преданное его лицо – был ли он черным в белой пудре, был ли он белым в саже – вселенская лахудра все это стягивает к зеленому приборю грехов наших.

О, великая пудра-пыль по равнинам, о, великий мальчик-ежик, он все не спит, все выжидает момент.

Мне так жалко тебя, диктатор Заира, – соси сок у архистратига за обедом, – и пусть леопардовые пятна шапки-пилотки твоей все еще будут следами неведомых копыт по темной африканской равнине.

А за моим окном пусть тянется верба или маслина.

Это ранние соловьи – сначала они кричат "zu schwer!", потом они начнут кричать "насилно мил не будешь". Они еще ранние, они бледная немочь, их тела невесомы – готовые захватиться в любой посуде, или исчезнуть. Они как капуста, оставленная в кладовке на зиму, они как врачи-стоматологи или бедра.

Такова песнь ранних, не обжившихся соловьев, не знающих разницы между квартирой и изножьем-зачатьем. Они еще барьеры бледненькие. Пастухи на пажитях вечности, где фоном графление, крестики-нолики. Безумные пастухи Африки.

В уриэливой могиле солнца ветер крылья раздирает. Он бежит себе в волнах, паруса его неказисты: только щеки, только брови, редкая улыбка или прикосновение. Ширятся носы расплющенные, или брови насурьмленные, или носы еврейские длинные – и вот уже близок небесный затон, где танцуют все вместе, не смотря на народы.

Семеро из одного стручка переходят ручей. Ох уж эти слезы вселенной в лопатках. А я все глажу лопатки вселенной – не проклюнутся ли оттуда крылья. Нет, увальни-крылья оттуда не проклюнутся, разве что только усы. А если Христа сюда подтянуть? Или избушку? Гимнастерку?

– Вы Таня Громеко?

– Нет, я Юра Живаго.

Трехтонка русского романа непринужденно громыкает через перипетии трех войн.

Орошаем лопатки Ивинской, Тихвинской, Юдинской. Несмотря на неимоверные усилия, все по-прежнему пребывает в связке Полкан-Гороховец. А полуночникам по-прежнему нет места.



Говорение на разных этапах хранения,  
Шашечки на разных этапах игры,  
Липки искривленные – варианты губ,  
Песок – как слышимость рокота.  
Таким предстает соприродное мне лицо.  
Нежность предстает как Держиморда.  
Мироздание небесное где-то на балу, между небом и языком искорка медвежьей поэзии – таким

предстает соприродное мне лицо в тексте.

Безнадежный взмах руки – колодец,

Равнина мира – город,

Имя города – Гороховец,

Улицы его – толчок в спину,

Таким предстает исход всех этих дел.

Впрочем, наклон выбритого затылка может порождать различные версии этого исхода.

Наклон школы, искорки в окнах.

Первоначальное по объему незначительно, оно не нуждается в масштабах. Оно сеточка прибора или та оторвавшаяся нитка на ковре, с которой начинается ковер.

Они в шапочках набекрень, они во врачебных колпаках, они в головных повязках, они в сеточках и поясах.

Тятя, тятя, наши сети притащили... Что они там притащили? Они притащили смарагд?

Может, весь мир следует трактовать в противопоставлении сеточек прибора и головных повязок (наших). Только со временем начинаешь понимать, что это одно и то же. Кажется, Ницше сказал, что у каждого из нас на лбу записан пропуск в те миры, докуда мы можем проникнуть. Не больше, не меньше. Этакая гуля. Дальше, чем суждено тебе, ты не пройдешь. Но и остановиться, не доходя до своего предела, невозможно.

Я обнимаю Брежнева, я целую его в румяные щеки, как яблоки и ветви. Нет, не так – об этом уже лучше было сказано в другом тексте, там я обнимал Брежнева в сетчатых колготках. Мы все движемся как в той сказке – "не одетые, не раздетые", в сетях, верхаи на зайцах.

Стволы – у каждого человека есть стволы. Ну-ка посмотри его/ее стволы! Это все равно, что идти в лес?! Тогда посмотри хоть свои стволы, посмотри их как трубы, пройди в них, расщепи волос на четыре части, и пусть каждая из них станет трубой, лесом, подвесь фонарики к ветвям, проходи мимо них осторожно, раздвигая руками лес или дым.

А сборная Германии все также хороша? И все также хорош этот дом? А пять лет уже или шесть? А заходите, заходите! Собирайтесь! И ты, Исаак, собирайся! А здравствуйте, счастливые глупцы!

Но мой уличный котел – он без посредников. Мой осел. Он все играет в наслоениях. Две тысячи наслоений – не меньше. И они все решают. Точнее, решают не они сами, но их оторвавшиеся нити, тромбы, наперстки.

"Вы полны комплексов!" – говорит Ленин рыбе. Очевидно, она не хочет идти на прогулку. Он придвинулся к ней, он что-то шепчет ей на ухо. Интересно, удастся ли ему переубедить рыбу на этот раз? "Заходи, Исаак – заодно и пообедаешь!"

Мне самому надо прибраться – там, где так лихо щекочат. Я должен двигаться вспять – вплоть до сумрака голодных рабочих. Или сытых рабочих. Или двигаться поперек – так чтобы сеточки перекрестий, противоречий...

Не знаю, правда, зачем я это опять перелопачиваю, и вновь запрягаю, и перелопачиваю. Кому это нужно? Примерно как разговор Ленина с рыбой. Но я и не могу утверждать наверняка, что это никому не нужно. Как мы никогда не узнаем, довелось ли Ленину переубедить рыбу. Мы никогда не узнаем – это нужно или не нужно.

Куда, куда уходит царь? Его корона, его Иван Грозный? Вряд ли кто-то хочет перечеркнуть царя. Скорее, подняться к нему по ступенькам – как мы поднимаемся в хороший ресторан. Но даже когда нам это удастся, царь все равно удаляется дальше, во тьму. Или, в лучшем случае, он переходит в наросты. Это прекрасно передано в картинах Руо.

Это видение или это розыгрыш?! Но как же теперь стащить их вниз? Они на балкончике, эркере, на самом верху ставшего стеной Днестровского лимана! Я не знаю, как стащить их вниз с этой огромной и гладкой водяной стены. А если б и знал даже – это ведь так высоко, пока я буду тащить их, они могут отлепиться и разбиться.

Но в какой-то момент они спустились сами! Возможно, им удалось переползти на ту сторону стены через едва видимое окошко.

А я так и остался смотреть, задрвав голову, на этот гребень волны, конек крыши, стену.

Или иди в подвал – там тебя ждут. Там совесть – старая, школьная, погребинская, или нынешняя, германская. Там розовое, смешанное с песком, застрявшее между черными ветвями. Там истончается надежда-наседка. Она была когда-то квочкой, а сейчас лишь синеватые крылышки бессильно свисают вдоль тела ее.

Или вы подумали: "Она была когда-то книжкой"?

Господи, неужели инквизиция все еще существует?!

Тысячу раз не вздыхай, ты уже знаешь, что всё это хард. Просто иди в бой с лопатой на плече или иди в Переделкино. Длинные тени пусть замирают на твоём плече, длинные листья как нужники, старые перчатки как длинные объятия. Овальные черные солнца пылают завзятыми рядами.

Они врываются в дом в Переделкино, они убивают Зинаиду Нейгауз, как когда-то они убили Зинаиду Райх, так начинается всеобщая революция, полный пиздец, они трясут замо́к, они спотыкаются на пороге – длинные тени порогов, как крылья овальных пылающих солнц.

А ты вообще думаешь о судьбах своих картин? Точнее, судьбах их персонажей: что испытывает то или иное лицо, когда ты в десятый раз перекрашиваешь его или посыпаешь едким зыбучим песком?

Судьба родины, судьба Яши – рыбка-поебень, зануренная в тяжелый песок. Я только знаю, как сделать его серебристым – но с той, с другой стороны, с изнанки, с пещерки, где Микеланджело встает, ветер на дыбе встает, встает ветер на эскимоса. Они все вместе толкаются в свод пещеры, пытаюсь раздвинуть ее до серебристого света бокалов, до лазурного света побережий.

Я был на кладбище, кладбище было православное, в канаве валялись нищие, они были сервильные. Вокруг бегали собаки. Иногда заходили мусульмане. Они шли по дороге через все пространство к церкви на горизонте. Пока они доходили, церковь исчезала. Я не знаю, куда они шли.

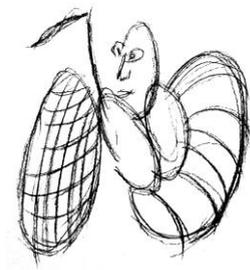
Еще был грузин, он все время что-то придумывал. Он придумал шарманку – когда ее крутишь, внутри по жердочкам лился мед. Звук тягучих падающих капель создавал музыку. Иногда это был мармелад.

Я тоже там был, я стоял у ворот и прищурившись смотрел вдоль дороги, как люди идут к церкви. Я думал: мусульмане они или не мусульмане? Я посматривал на бегущих собак – как говорится, с некоторой опаской. Я слушал музыку медвяных капель, она мне нравилась, хоть и чудилось в ней нечто социалистическое, в защиту пригнобленного пролетариата. А это мне не близко.

Мне кажется, у меня уже не было никаких воспоминаний. Я уже не чувствовал разницу между "вот оно! только это!" и "все время повторяется!" Нет, я не могу сказать, что там присутствовала структура повторения. Впрочем, и бесконечной протяженности единственного момента я тоже не чувствовал.

Должен ли я считать это вариантом ада или, напротив, – просветления, сатори? Или вообще ничем – мелюзгой какой-то, искрами из под копыт, капельками меда или дождя?

Я зашел в магазин помыть руки. Мне сказали – "да ты сиди, жди конца просто!"



Горегляд, Килогерц, Голобородько – смотришь на подоконник или порог, а там сеточка колышется, милостиво закрывает дороги, по которым уже не пройдешь. Хотел бы подтвердить, что мне купили важнейший документ, в котором бродит Купидон – но он всего лишь карандашей коробка, коробка белая везде, в карандашах не видно цвета. И только в небе полная Луна ворочается боками Купидона.

Сеточки и пояса – это два мира моей морали, за ними – глаза-глаза, твои или чьи-то еще, не знаю. За ними врачи-убицы в белых халатах. Или я сам в белом стою, как петушок, кланяюсь налево и направо. Крапива, бурьян, давно потерян шесток. В этом, как говорится, вся справа – по-украински "причина" или, точнее, "дело". Всю жизнь я пытался выдать траву за сеточки и пояса. Можете шутить!

Я смотрю: да и во всех других картинах мне кажутся такими убогими глаза – глаза, учившиеся в Москве, глаза, научившиеся Москве, глаза банковских путин. Глаза Путина, глаза больной собаки, наевшейся варенья. Наверное это просто издевательство над самим понятием "зрение". Мне бы

хотелось писать глаза-битвы известки, когда бьешь по стене в ярости, бежишь и поскальзываешься, и попадаешь. Только так, чтобы это не было понарошку.

Посмотри, посмотри – вот спаситель партии и государства и русской поэзии в еловых подштанниках, с узелком, в узелке – щи и крючья. Таким его отрыли в Востряково или Переделкино. Как собака отрывает кружок колбасы. Как жопу от скамейки отрывает банковский служащий, и в ход вступают всемирные балалайки – надо же заглушить голос "Голоса Америки".

Или имя ее Зайчик или имя ее Знарок – что ей будет за то, что не подписала (подписала)? Или имя ее Барто – у ног ее могила разверстая, она прижимает к груди лисичку, как знахарь или пожарник прячет за пазухой огонь. В общем, имя ей Медвежий Зарок – подписала она или не подписала, но следующее письмо уже в пути.

Если ты видишь, что книги вокруг тебя это Губанов или Коржавин, но между ними нет разницы, то какой смысл мучиться мерой борьбы и отношений. Если все говорят "копни глубже!", но это означает лишь "на километр господского разезда", а глубина выгребной ямы все равно равна песчинке. Лучше уж удалиться туда, вглубь, ко всякому пищевому мусору – картошке, морошке, зажав между ног морковку, включить душ – пусть пойдет циклон. Колобком скатиться с пригорка, получить свою стопку-горку и расписной кушак в придачу. Господин не дремлет, отмеряет твой шаг. Шире шаг товарищи! – пока мы еще в лаптях, можно и отовариться.

Что это значит: "Когда сняли осаду"? Что это значит: "Под небом голубым"? А пуговица – что это значит? Мурлыкающая морда кота, запястье, свет, падающий на тротуар перед магазином, великое равенство света перед магазином и волной, великая нелепица велосипеда или сосны, когда я был маленьким, когда я стрелял из лука среди сосен, зайчик выходил из норки своей, бобер выходил из хатки, Маяковский говорил: "я пишу стихи, этим и интересен". А я, кроме того, еще молюсь на Книгу Песен – стоглавою, стодорогую, песью, колокольную.

Я кружусь в ритме танго или в ритме вальса – хуй его знает – со своей собственной национальностью кручусь, в пятнах света, льющегося из окна магазина, на дороге – этого тепла бы хватило, чтобы растопить Уран, если бы знать, где та дорога. Где гусеница, заковырка, заусенца. Твое тело, которое станет другим. Тот бульвар над морем, который всегда будет одним и тем же. Но буруны-бороздки морские всегда разные. И так до скончания света, горизонта, шапочки, козырька.

Я хотел нарисовать лицо, а получилось какое-то пятно-фифа. Как такое могло случиться? Как два берега реки, как мороженое? Как черные клави-

ши диез? Вход удачи? Вход в катакомбы у нас во дворе (потом его заколотили). Вход в сыр через колбасу. Удача-песик-удача.

– Да он отличный малый!

– Может и отличный, только пусть лапу так сильно мне не жмет!

Они как ждут меня.

Они как пальцы, ступени, пятна.

Жирное пятно хохолка.

Разбег от остановки "Красный крест", там начиналось кладбище. Даже два кладбища, но одно из них, еврейское, было уже порушено. Дальше по той же стороне дороги была тюрьма. Всегда надо начинать разбег, опираясь на другое кладбище – где чужие. Или на тюрьму. Это называлось "справа лежат, слева сидят". Или на униформы – они "стоят".

Если не получается – ну, значит, не получается. Тогда перемахнуть стену – способом "перекидной" или "фосбери-флоп". Надо играть в футбол в воде, пусть и на мелководье. Надо гоняться за каждым заплетом.

Не забывать Петра I. Я наклоняюсь, ты наклоняешься – под небом голубым? Мы подставляем жопу или солнечные зайчики? Мы – зайчики? Или тюряга?

И даже если позвонить Никите, он все равно толком ничего не объяснит.



Это Троцкого племя и вымя. Это слезы Вселенной в опятах.

Как поднимешь – так и поедешь, будь ты хоть Ленин, хоть Солоухин.

Человечество – это факт ссученных звезд, про это знает даже Господь.

Мелкие взрывы пробегают по лицу Троцкого-Ахава, Исаака-Делянки, мелкие фистулы, криницы-колодцы, обмелевшие Дунай и Днестр. То очко в туалете удмуртской деревни, куда я уронил сделанную еще их дедом задвижку. Это я приехал знакомиться с родственниками своей жены. А у меня в квартире не было ни восточных ковров, ни каких-то ламп Аладдина, и даже по-еврейски я не говорил – к их немалому разочарованию. И к своему собственному разочарованию, не был я плотником.

Один прыжок – океан, другой прыжок – океан. Один народ – прыжок, и даже не очень длинный. Одна улица – ледоруб. Да что там улица – каждое светящееся окно. А мы кто? Повязка на лбу Троцкого, гвоздочки, которыми Тэштиго приколачивал флаг, мы – Господь, его подметки, его лирники, и убивать пошляка Бильжо.

Я хотел бы умереть – если бы это был зной, ветер, колпак на голове убитого Троцкого, но если ты лишь муравьишка, молчок, то даже и умирать не хочется.

– Айн момент, битте! – говорит диссидент.

Пусть во рту всё поет и раздирает полынью-картошкой, тонкий голос в степи: "Революция, пить, пить!" – будто писк комариный в степи, за плетеным колодцем. С недоумением пожимают плечами Девушка и Смерть. Отблески чая, в которых встает моя книжка.

Но вы все равно ничего не заметите, для вас всюду – ширь и благодать. В принципе, и я готов согласиться – ширь моря, невыносимый бушлат Моряка, в котором тонет любая посылка. Разве что только зубчики волны – как, помните, рисовали на прибалтийских флагах – нелепый орнамент, возможность экивока, одна-две царапины на крыльях расписного сундука.

Моя сестра, Дриада, и муж ее, Распил, они уехали в Будапешт, еще до всяких событий, потом перебрались в Берлин, когда он еще не был разделен стеной, а теперь они живут в Америке, тоже без особых событий, муж ее делает бочки, он поменял свое имя на Филипп, так оно и прибудет до самой гробовой доски, или даже дальше, я не знаю. Только в детстве, помнится, когда мы еще жили вместе, я прыгал на краешек подкидной доски, и сестра летела к самому куполу цирка или к своду переплетающихся ветвей.

Лишь в самом конце мы встретимся – злополучно и злопыхательски. Как бычок не попадает в урну и отскакивает от нее. Как Ленин боялся ударить лицом в грязь, если будет медлительным. Как кто-то боялся грозы, подымаясь вверх по уступам Карпат. У каждого в мире своя снасть, лишь парус одинокий белеет единственный. Замирает блюдец атак. Ленин в душе моетс-я с Надеждой Константиновной – перед походом в кино или кончиною.



Монетарная демократия, что вас так угнетает, подушечные надежды, рабский выход на Марс "цыганочкой", бедные Муаммар и Хусейн – их повесили, оградили круг (как Хома Брут перед Панночкой). А вы тем временем мне все шлете сообщения о том, что, дескать, сказала бабушка, перемежая сказанное кружками колбасы на бутерброде. Уймись! Мы давно уже в банном вертепе, и продолжение истории меня интересует исключительно в ракурсе планетных орбит. Сегодня всем классом мы идем в планетарий, выучим про Сатурн и Уран, чтобы не спутать в пургу их с Содомом и Гоморрой.

А еще сегодня на линейке сказали, что каждый должен быть "пролетарием", но нашему классу предложили взять повышенные обязательства: каждый пролетарий должен быть как потухшая звезда.

Но сколь же звезд, воспоминаний, пропущенных автобусов!

Эти желтые двойные "Икарусы" с "гармошкой" напоминали нам китайских драконов. А также что-то из фильма "Сталкер". Все мы жаждали тогда

всемирной культуры, где можно отыскать знаний на любой вкус, как в аптеке. "Капитан Ахав" или "кусоч говна"? Разница ведь только на один звук. Ее как раз учат распознавать во ВГИКе и прочих курсах искусствоведов и москвичей.

Напиться или остаться трезвым, но все равно идти вглубь линии, вглубь времен, звонить ей пьяным из троллейбуса на Лукьяновке и говорить, что не знаешь, куда попал – и это истинная правда. Звонить из яблока, падать мимо яблока, промахиваться, и все равно идти внутрь волоса, как завещал Христос.

"D – как если бы мир был мягким, а доски полов прогибались" – такой фильм мог бы снять Годар в 60-х, в разгар студенческих волнений. И здесь он сходится с Гайдаем или Пастернаком – как если бы мир был лазоревые страх-усы и слезы вселенной на потертых коленях полотера.

Мир – это мокрый паркет, по которому ходил черт. Давай заглянем за дверь – там по колено земляничных полян и вечерних программ "Время". О, выбраться бы поскорей! Давай загадим паркет – здесь я доверяю Василию Сталину.

С какого-то времени довольно часто накатывают минуты творческого необыкновения, будто шлепаешься в лужу. Раньше такого не было. В юности просто тянулся на носочках, ходил на цыпочках. Окреп – и упруго, полно зашагал по тротуарам. Изучал светящиеся окна дома напротив, возможности колонизации космоса с помощью кефирных грибков, судьбы южноафриканских аборигенов в свете катынского расстрела. В общем, дядя такой с папочкой.

Потом уже начались задержки – здесь стошнило, там стошнило на углу. Много блевал в Японии.

А сейчас вроде алкоголизм прошел, и тошноты нет, просто идешь себе по лужам: "шлеп!", "шлеп!".

Или бить по лужам палкой, как в детстве, впопыхах, на ходу. Бить по макушкам, как озноб, как волнистые попугайчики. Тезки мои, Лейдерман и Липовецкий – их можно бить собранием сочинений Пригова. Да, тем самым, постмодернистским, взятым с ближайшей полки, неизбежным как эскалатор в московском метрополитене.

Маргарита, что сперва влеклась к серебру, а потом осталась широкой каймой волос золотистых – перевязью через весь холст, на фоне голубом, лазоревом.

Сложно-синий цвет спит у ее плеч. Старый, сложносочиненный. По сравнению с ним, всё остальное – мусор и пыль, как статьи, что писал я для

компьютерных энциклопедий: здесь шагает Персей, там каменеет Евсей... В общем, мыло мыльное под ковриком.

А между тем печка горит, избушка возносится и звезда со звездой говорит.

Объявили, что только в пятницу можно будет читать стихи инженерам! Так ведь к пятнице у них дыхательные пути уже смолой забьет... Ну да ладно – сам выходишь по этой трубочке-трахее на берег Днестровского лимана. Там ракета на подводных крыльях отправляется поперек бурой воды, наискосок, вода за кормой будто квас разогретый. Так и читаешь стихи. А то выходишь в море – там вода уже винноцветная, будто падаешь пьяным в темные углы парка, а получатся ли из этого стихи – еще посмотрим. Но даже если стихи худосочные, как яичная скорлупа – все равно, нечто японское, хрупкое отражается на солнце, и опять-таки шелест волны и блеск побережий.

"О выбраться, выбраться бы поскорей!" – этот крик постоянно торчит из стихов моих. Да, конечно, он очень удобен, рифмуется и с "дней", и "зверей", но главное – это лоскуток. Лоскуток, который хочет вырваться из своего многосоставного рубища, этой самой косматой на свете шкуры.

Космополисов не будет, не будет и фрейдизма – когда выглянул наконец из упругого овала материнской дыры, то живешь себе понемножку. Даже если и вырвешься, то тут же, через семь мгновений, упадешь листком засохшим на дороге, никто и не заметит. Однако лучше так – котеночком сухим и ненужным, чем торчать и торчать в этом чесоточном рубище. Не говоря уже о подлом трико – арлекина, путина, гимнаста на склонах цирка.

И нет говняных запасов. И кончилось его любимое говняблочное житье. Раньше, бывало, достанешь рулон холста из-под шкафа, отрежешь сколько тебе нужно – и малой хоть печку, хоть лисичку. А теперь – шаром покати или скреби по сусекам ракемем, ничего не осталось, скоро и воспоминания померкнут. Только на бумаге минеральная пыльца-блевотина завихрениями Высшего Рынка (Бессарабского) будет свидетельствовать о достоинстве мира.

Есть ли в нашенской квартире маленькие уютные следы? Нет? И других следов не будет. Разве что в трико сумасшедшем ты пройдешься от шкафа до кастрюли. А не станешь – так и будешь совой лежать на раскладушке, вспоминая далекие грузовики, проезжавшие в детстве за окнами, и отблещки фар, крутившиеся по стенам.

Соединенные Штаты Америки в 1935 году – будто народ, предоставленный самому себе. И вот они толкуются на набережной, встречают суда, раз-

гружают суда, сбиваются в бригады. Добровольцы то здесь, то там делают шаг вперед по трапу, но где-то среди них уже и Джексон Поллок, и Ротко, и Гастон.

Товарищ фотограф, будьте уверены – подручное не распространяется, распространяется все остальное. В терминах Вечного Распространения: распространяется лишь настоящее, иное. Распространяется пустыня, но не верблюд.

А какой ярлык привесить усатому хозяину, когда он просто идет себе домой, к дачному участку, посматривая по сторонам? Вот тут-то и игрушка, загвоздка!

О, Любовь (в смысле, девочка), останься! Будешь подбирать игрушки у моего бедра.

Тили-тили-Крым. Тили-тили-место. То ли духовной жаждою томим (бровь), то ли разрыв-пространство между бровью и веком невесты. Вулканы и яблоки с огромными краями. Хвать ее за подол – будто смерть Фрунзе в лошадиных зарослях.

Я протираю стол, я ставлю на него "Спидолу" – мне осталось пару сотен мазков до нового легиона, и я получу орден нависающих мазков.

Я отправился на махровые фактурные разработки, в перерывах еще я отправлялся на лаврионские рудники, а так – все продолжаю пленэры в Крыму, разве что грязные кисти пачкают руки.

Нужно еще навесить мостки между горами. А то вдруг калека не сможет пройти.

Круглятся отражения в яблочном боку. Лучше я сразу возьму их за рога и наведу найденьшу брежневские брови. Бешенная, шестидесятническая боль стиральных машин. Или изумрудное "извольте-ка, встречайте!" китобойной флотилии "Слава", когда она возвращается в порт.

Батальоны просят огня. А я продолжаю пленэры в Крыму. На том муравовом, аллаховом кургане у затопленных штолен, где когда-то находили черепа партизан и минерал "керченит", из которого получается чудная синяя краска русских икон.

Я продолжаю пленэр – пусть даже вместо палитры приходится ставить на школьных товарищей. На гомон раздевалки, где все норвят друг у друга сдернуть труссы.

Я продолжаю пленэр с оборками, с (не)торопливыми глотками портвейна. В море зыбь или там проходит контейнеровоз, везут гробы на орликовую смену у ручья. Жарит солнце, а я в маечке. Жарит солнце – ну ничего, я в панаме. В этой белой афере, в ее поглаживаниях, снегах, бугорках, руках.

– Не страшны пассажиры?

– Не страшны. Только пить тут не смей, и выше по течению не стоит!

Ищи воду чистую, как колодец, не пристанет к ней волчья муть, грязь размокших газет. Только лягушачьей лапой – дрыг! И, как говорится, прямо в бровь. Вот такие они пленэры в Крыму.

Черт возьми, я все пою вам песни впалых щек, а вы и не слушаете! Шкрябает, шкрябает кисть, что хотела ухватиться за плоеную юбочку девочки Суок – а вы и не слушаете. И уже обирается кисть – знаете, будто хочет сдернуть одеяло. Пленэры в Крыму, перебегая из Тарханкута в Чуфут-Кале семимильными шагами. Или перебегая какой-нибудь африканский мыс красным куском мяса. Я так не хотел бы заканчивать пленэры в Крыму! Ведь солнце еще жжет голые лопатки. О господи, пусть оно сожжет весь горох в лопатках!

Рыжеволосый братец мира ходит туда-сюда, и говорит, что рассвета не будет. Может быть, вода жизни – лишь обман. Но ты выполняешь задания. Мы выполняем задание – какое угодно: детские шорты или туманность Андромеды. Но желание-задание пребудет вовеки.

Подбивать ногами рыжую листву, но не забывать о задании века (вовеки).

Мать облаков скальная – сплющило. Мать облаков скальная – тренд. Мать облаков скальная – как она попала сюда? Мать облаков скальная – улыбка Сократа.



Вхождение в линию. Каждая линия имеет свою толщину, свою стиснутость, скрученность, косматость. Вот именно, каждая линия – мохнатка. Когда тыходишь в линию, ее уже нет, ты не видишь того, что она призвана изображать, но выглядываешь из нее в мир, как из окошка. Есть линии, из которых это особенно удобно делать – морщины на лбу, складки, идущие от носа к губам, бровям. Каждое нарисованное лицо – это шевелящаяся система окошек, откуда ты выглядываешься в мир. Этакий бронтозавр, увешенный окнами. Бронтозавр ползущий, всматривающийся, дрожащий мудака – это ты сам. Эволюция бронтозавра – твоя тошнота. Гибель бронтозавра – твой удел.

Но пока еще: кидай желтое на синее, но так чтобы зеленого – ни-ни!

Троцкий попросил меня написать его портрет – "после пиршества" – так он выразился, когда ему раскроили голову ледорубом.

– Какое уж тут "пиршество"? – усомнился я.

– Смотри на это как на пиршество духа, – ответил Троцкий, – или, хочешь, смотри на это как на раскокнутую дыню. Размером со Вселенную.

Потом он подумал:



- ... Ну одну третью-четвертую часть Вселенной...
- Да, гдэ-то так! На три-четыре части, но уже нэ цэлая!
- высунулся Сталин.

Это стол, за ним сидят цыган и цыганка напротив друг друга. Их ноги соприкасаются под столом так, что они образуют букву V. Ребро столешницы кажется ее сияющей и ненужной перекладной. Это обеденный стол где-то в харчевне. Это обед. Если, конечно, не ужин. Возможно также, что это солдат и маркитантка. Что не имеет большой разницы, поскольку цыгане в то время и в той стране часто служили солдатами, хотя сейчас в это трудно поверить.

Так или иначе, это прорыв. Он длящийся – как торг. Но с кем, собственно, торгуется прорыв, когда он длится? Я думаю, даже Бог не имеет права торговаться с прорывом... (о картине Маньяско)

Он и в самом деле страдал в России. Будто шлялся по огромной губе, будто черт был в васильковой ступе, как деревенские барабанщики. Будто древнегреческие герои были вывернуты на изнанку, всеми отрешьями своей эпидермы.

И в то же время, он боялся за Россию – как за вражеский самолет, который летает по небу в разрывах зениток, а все равно ведь соперживаешь ему.

Я знаю, когда надо будет окончательно съезжать – отовсюду, он грустно глянет на все эти мелочи, которыми он прилаживал свою жизнь – на этот огрызок ластика, вазочку, подобранную на улице, самодельные полки – и подумает: как же хорошо ему работалось все эти годы.

Зачем меня заставляют снова смотреть на фотографию Перца и Милки – я до сих пор вижу их хорошо. Я вижу через окошко – оно ведет к Днестровскому лиману или даже к Заливу Сан-Франциско, оно ведет к тычкам, шепотам, шелесту карт, когда раздаешь играя в клабор на пары. И пусть взгляд мой стал уставшим, или припухшим, когда нет разницы между "не выпался" и "еще не ложился", нет разницы между каретой, бричкой, комнатой, кімнатой – но я по-прежнему вижу их хорошо.

Шла выставка пожилых радиолюбителей "К вопросу о судьбах мира".

Шла выставка "Стиснутые губы".

Накатывала волна коричневого горя или черная безнадега.

Дал себе слово понимать эти слова сосново, а самокат мой стиковый, а улыбка ее как брежневские годы детства, а родинка между нами размером с Юпитер, тень между нами размером с Киев или киевлянин. Бездна размером с ручей, а слово катится как лес, его черемуха – не этого ждали мама с

папой – падает чернотой в угол взгляда, хлеборобы идут с полей устало, руки свесив плетьюми-кошками.

Должно же быть какое-то значение в "работе над..." Должен же быть какой-то хаос в "работе над...". И парта для сына должна быть... И для тирана дыба. И революция: "пить, пить...". И все в одном пятне – чайном, желтом, жопном – одуряющем и незлобивом. (Об акварелях Родена)

*Роберу Брессону*

Здесь вроде бы ничего нет, но потом оно затягивает, как шерстка, как изгиб спины, или как доброта. И все равно волнуешься – не заметил ли кто-то тот поникший цветок? Успокойся, он никого не выдаст, даже под пыткой. Он в пальто.

Трещит юбка в крапинку. В тряпочку. Молчит бес подлецов. Лишь его выражение у окна.

Нотр-Дам (собор) открывают в 10.00 или 11.00. Мы всё спорим, когда пойти, хочется избежать давки.

Остается помнить, что самое главное – продолжать кормить маленького. Несмотря на печати. Одиннадцать печатей. Погибает далеко не каждый. И даже погибшие будут продолжать улыбаться в усы.

Ну да, дервиш. Ну да, рощично. Если продолжать все время думать о соединении лиц и кустов – а я об этом думаю всю жизнь (а также о котятках). Если думать всю жизнь о схождении крыш со смертью (окна светящиеся – это жизнь, исчезает разница между единичностью жизни и множественностью, это как муравей). Когда-нибудь я поведу тебя кататься на лошадке. Мы будем раскачиваться в предгорьях Казбека, будто сюрреалисты. Мы будем вдвоем, будто Джорджо Моранди.



Это познание, которое как грибы, метет по грибам юбкой, подолом, которое в носках – они же крыши, это пыль, скрипящая на зубах – выхожу один я на дорогу, это колодец, Тоня и Вера у колодца, расположенность, располононок, распашонка чужого младенца, это те страшные круги и петли, которыми я стремлюсь заполнить любой фон, и лошадь с белым овалом вместо плеча, она мне всегда нравилась, я считаю ее своей достойнейшей работой, это то, что мне удалось сделать, входя под закопченные своды темниц, это то, чем мне удалось расплатиться за школьный портфельчик и прочую белиберду, я размахнулся, я хотел выбросить эту сеточку, авоську в море, но она все застревала, цеплялась к рукам, и в конце концов остался только белый овал желания, плеча.

Мне предложили опубликовать свой текст в каком-то очередном интернет-журнале. Ну что же, можно и опубликовать, а можно и не опубликовывать – все равно никто этого не читает.

Вот если бы публикация была сродни поездке на мотоцикле в джунгли. Или хотя бы пусть некая женщина – моя публикация – с толстым задом и мощными босыми пятками садится на мотоцикл в джунглях, а я просто погляжу со стороны.

Хотя, с *другой* стороны, все, что в природе бывало – все хорошо. Природа – это 15 баллов, а "бывало" – это лишь 0,4: публикация, жопа, джунгли, мотоцикл... И по сравнению с 15, любые 0,4 будут хорошо.

– Если хочешь, пойдем домой, – мне говорят.

"Если хочешь"?! А как же трубы и книги? Я прочел эти книги, и теперь петушком буду вечно скакать по лужам и коситься наверх, на трубы.

Мысль возвращается из дальнего странствия. Мысль огибает гору. Мысль сидит на горшке – о новостях разговор. В море заходит по самые грудки – уместно хлопнуть в ладоши. Готовь полотенце для мысли – ты, брадобрей!

Лица – это бечева мира. Все люди – бурлаки. Тянем-потянем... Это страшная бечева, поскольку никакой барки нет. Об этом нам говорит дзен-буддизм и прочие эзотерические учения. Однако как бы мы прожили, если бы следовали им!? Поэтому только треск, только скрип рассыпающихся бревен. Аналогично – половиц. Аналогично – песней зовется, города-государства в розовом свете, и все такое.

Если ты не художник – это будет называться "выволочка", а если тебе повезло – это будет называться "потяг". Есть, конечно, совсем дураки, которые всё норовят возводить к причинам, переводить – тогда будет "состав"... Состав преступления. Многосоставные наши, членистоногие...

*Ричарду Дибенкорну*

Живопись, которая остается абсолютным оправданием мира, она остается его потоком, его кепарём, это автобус, из которого хлещут пятна пота, печень, забывшее как его едят (Гоген в Полинезии), истощенный детский сад им. Гогена в Полинезии. Грань неуловимая между разговором и "спросонок", когда говори, не говори, но двери распахнуты в полдень, их забыли закрыть, они слегка приоткрыты, они сад камней, напластования, инжир, мореход...

И тут начинаются запятые, начинается пшено "имеющий уши да слышит!" А если у меня уши свиные, нечувствительные, громкоговорящие!? Дрон – там, дрон – сям, и вопрос о происхождении Вселенной подменяется компьютерное игрой, дорожный песчаник подменяется "дружкой" и прочей хуйней. "Кто смог снести бы плети и терзания века?!" – говорит Одиссей,

его парик, а они в ответ: "Театральный, театральный!" Да хоть бы и театральный – избяной, еловый, мшистый, а за углом подкараулить!? Не хотите караулить – тогда, конечно, пердение в нижнюю губу, дружанство, дружба, компьютерные игры. Только смерть все равно красна на миру не будет, а будет "остановка автобуса". И долгое ожидание автобуса на коленях.

Он был Одиссеем. Он был Луной. Он был Одиссеем косматым – просовывал руки в прибор, зная, что они будут отрублены. И прибор будет отрублен, но он воссоздаст его вновь и вновь в цветении вишен.

Конечно, тяжело бороться с медузкинским нашествием, они ведь берутся из ужаса и пыли, загрязняющей место.

Только с нащадками-пингвинятами я бы не стал бороться...

А с пингином-камином? Ну насать в камин, как Рембо – и все дела. И пусть просвечивает. Ведь это как бороться с ветром дня, с ветром, который говорит тебе: "я – ветер, я – день, я – усы, борода, ручей, я – дружба" ... И здесь уже ракетный, яростный, баррикадный котильон.

Прежде всего надо обеспечить себе тыл: личная жизнь, квартира и все такое – клянусь!

Ну а потом ты видишь какую-то надпись пылающую. Вроде: "Во время вхождения наполеоновских войск в Москву в 1812 году..." и т.д. и т.п. Но только она пылает, эта надпись, пылает на фоне темно-зеленом, оливковом или голубом. И ты тщишься ее изобразить – так чтобы буквы были размазаны огнем, но надпись читалась бы.

Я не обеспечил себе тылов. Может, поэтому те надписи, что я вижу, они пылают особенно сильно? Или наоборот, приглушенно, как газовые рожки? А что с их размазанностью огневой? И способностью все это изобразить более-менее толково?

Мне трудно ответить на этот вопрос. Я знаю только, что буквы эти – они же зубы во рту твоём. С тылом или без тыла, больно или не больно, но на этап, на редут, на мельтешню, перетирая – а без этого никак.



Я должен понять, что не в окно фарватера смотрят они, но в окно затопления. Я должен выразить это скулой – прежде чем опрокинется они в свои опять двадцать пять или в трехсвятительскую ночь. Они глядятся в рамы переплет, хоть нет его, они глядятся в дождь, маслинами-бусинками-бабусями набухают глаза, волосы набухают корзинкой, рабочий сцены (я не актер – я рабочий сцены) перетаскивает по сцене портрет, комочки грязи отваливаются от рамы и стелются вдоль половиц, их взгляд неизречем как Фаюм и неизречен как песок или Есенин, их лица собачьи, их дело труба.

Вот ваше тело умерло, уменьшилось, и теперь мне придется думать о схождении с ним. В темноте, на дистанцию воротничка или пролива. Копошения капитана Врунгеля. Я буду вновь и вновь переоткрывать эту дистанцию в полях или росчерках неба. Выпуклость щита или проход по улице вечерющей. Или окрики: "Окошко?! Где тебе, сука, окошко?!"

И если они убили в Сибири Валленберга – значит, свеча должна быть погашена.

И если бы я был послем Израиля в России – я бы настоял, чтобы все свечи в России были погашены. Пусть меня потом обвиняют в недружественном акте.

"Это некая лыжная еботня? – так он спросил. – Или это ее лицо?! Слякоть, стынть, быт, колесо, журнал "Мурзилка"? Или прокос, провал, прогалина – там самосвал проехал и размазал утенка?"

Рассказ всхлипывающий и прерывающийся, рассказ как помощник по дому, мостик, мостик – не знаю к чему рассказ – носок, рыба в носке, в одном носке, ерш в кулаке, лучистый мой мальчик. Можно ли оторвать твои брови на фольгу? Можно ли написать твое лицо как кукареку?

Бежит, бежит огонь по Киеву, и я согласен, что на аэродром уже не вырвешься. Раздобыть что ли изделие местных промыслов: шкурка какая-нибудь выделанная, лужа, оправленная в серебро, веточка-вертихвостка. Но не ходят трамваи и голубые мосты охвачены огнем люциферным, а Днепр широк как грех – слава в вышних богу и в человеках благоволение, как говорится – носок сапога кованый – вот и весь мой сувенир из Киева.



Они разбегались. Я видел их. Тысячи старушек и старичков, отпущенных из дурдома, уходили в поля. Они были хорошими. Они проходили через меня. Я был ими. Оставалось еще узнать, что они почувствуют, когда увидят море.

Что почувствуют мои молодые друзья, когда увидят меня – об этом лучше уж не думать.

Правда, потом я вспоминаю, что когда японскому младенцу исполняется год, счастливые родители раздаривают знакомым все ненужные ему уже игрушки. И тогда я кажусь себе этаким Меиром Шапиро, раздаривающим по мелочам, счастливо прислонившимся к дверному косяку, поблескивая глазками.

Так и оставшись гражданином засранной Рашки, я не имею права голосовать ни в какой приличной стране, будь то Украина или Германия. Тем внимательнее я читаю предвыборные программы, и очень переживаю, если

приходится менять предпочтения. Дескать, где же она, моя этическая верность. Однако жизнь, как говорится, не стоит на месте. Я тоже не стою на месте. Вот прочел заявление кандидата от "зеленых" Анналены Бербок, что с Россией надо пожестче – всё, заявляю во всеуслышание, что я переметнулся от ХДС к "зеленым"! Однако жизнь не стоит на месте. Поэтому, когда все идут голосовать, я просто возвращаюсь с собачьей прогулки. Веду собачку на поводке и читаю на ходу стихи Михаила Лаптева.

Незадолго до смерти Марк Ротко купил роскошно изданный альбом своих высказываний. И он заметил, что все они были правдой. Там были и его тексты на коллажах, или на деревянных щитах, напоминающих Кабакова: прикрепленные к ним мячик, нож, палка, и какие-то высказывания про этот мячик, палку или про то, что надо бы сейчас просто сходить посрать. Однако, в отличие от Кабакова, все они были правдой.

Лес, боже мой. Лес пустой, как семя. Лес в России. Лес Монастырского (с гексаграммами на ветвях). Лес – когда все это кончится, лопнет?! Лес будет как зной. И все будет как зной. Пустой.

Я рисую двух рыбок. Одна из них в самом деле похожа на рыбку – этакая с тонким искусством, может и убежать, уплыть. Другая похожая на плевок растертый – она сопригается со всем остальным.

Джоан Митчелл тоже как-то раз нарисовала рыбу. Она, рыба, будто стояла на земле и просила милостыню, со спинным плавником напоминающим мешок. Но всех почему-то особенно напрягло, что рыба стоит на земле:

– У нее под ногами линия! Разве может быть линия у рыбы под ногами?!

– А, может, вам просто кажется, что линия слишком длинная?! Что ей не следует идти до самого края холста?! – издевательски поинтересовалась Джоан Митчелл.

Матушке России на это наплевать. Папеньке Израилю это все равно, вроде тапочка залетного ему те, кто ходит, как Андрей, по белой пене океана или печи.

Вот почему все селятся делать инсталляции или выслуживаются рисовать картинки, в которых лишь биение вокруг Мертвого залива.

Матушка Россия, ляжем спочивать. Папочка Израиль, пойдем на карачках по всем норам. Дядюшка Залив – во всем, во всем, во всем. Тетушка Устье – с тебя будет спрос серебряный. Певица Нежданова закатывает жемчужные рукава...

Ну а что же, я не люблю тратить время попусту – как говорится, бог взял, бог дал. Разве что заберут в больницу – тогда уж, конечно, придется к каждому кусту склоняться.

Одиссеевы лики на башнях.

Что теперь скажет оно, удаляясь дрожащей походкой?

Разбирают по бревнышку крыши. Муравейник ударит в причал. Отголоски репы перекатываются во лбу: "это необходимо", "то необходимо", – говорят мне со всех сторон. Но я и сам знаю сплетения каналов, а если и ошибаюсь, то какая разница между вороном и каталкой! Скоро все мы будем облитыми солнцем мускулами маленьких существ, а на земле останутся только ластики и резиновые пробочки от флаконов, которыми так славно было когда-то играть в настольный хоккей.

Они приходят к воротам тюрьмы, по-немецки "пфортам" – в первых только подают прошения, и, кажется, очереди совсем нет, но ответ получаешь в воротах за номером два, три, четыре, и там очередь кажется скаженной, она совсем не движется, исчезает разница между платком и шапкой Мономаха душевной, а мания величия, мания величия – они уже давно забыли всякую гордость, какая там мания величия! Те, которые еще помнят, как выходили на пляж, могут сглотнуть и унять сухость в горле, остальным – вечный казан и гречневая каша, отмирают платок и коса. Ежегодное послание к президенту: мы давно уже стоим на кроватях, лежать разучились, и одиссеевы лики на башнях.

Он не старается создать впечатление истории, устремленной ввысь. Это, скорее, трепещущие концы синей ленты, подвязанной к микрофону на улице, на ветру, хождение в лес, когда видишь его как этикие зародыши цыпят, вверх ногами подвешенные, и разбираешь по бревнышку и говоришь: "я вас, блядей, насквозь вижу!"

– Ведь оно уже существовало! Оно прошло – нос нам оборвало, зубы свело!

– Нет, вас обманули: еще ничего не звучало! Еще должны мы услышать молитву стиснутых губ у далекого причала, где вода зелена.

Ах, зачем вы сказали, что этот остров еще свободен, зачем позволили отнести его так далеко на юг?! Есть у меня песня-голяшка, есть и танцы вокруг, но это ничего не изменит и ничего не отнимет. Все тот же автобус, обслуживающий иммигрантов – он отъезжает от Стены плача, делает круг по скудному базару и возвращается назад. Все те же картины – вы снимаете их, прислоняете к стенам, делаете вид переговоров, а потом вешаете их на прежние места.

Друг мой, мы приходим слишком поздно. После абстрактного экспрессионизма, после Нью-Йорка или после Киото. Правда, боги живут над головой и там, наверху, они продолжают творить, кажется, мало заботясь о том, понимаем мы или не понимаем, и готовы ли следовать за ними. Они берегут нас, ведь не всякий сосуд может вместить их бесконечное отчаяние и божественную беззаботность. Поэтому жизнь – лишь сон о них. Заблуж-

дение помогает подобно дремоте: такой тренд, сякой тренд, нужда и тщеславие делают нас сильнее, и мы совершаем свой круг, гремя доспехами. Однако мне часто кажется, что, может, было бы лучше уж спать, вообще не ведая о богах, чем суетиться вместе со всеми у липких стен или в одиночестве, без друзей, чего-то ждать и вести в темноте никому не понятные речи.

Мы владем не кручей, но только несчастьем. Так дни за днями проходят – косогор, завиток, слоновая пыль. Все иголкой тщимся попасть в тот колодец на карте. Но Бог – не Кощей, и не спросишь его о смысле времен. Завывание, ветер, понос... Ну что тут исправишь?! Разве можно поправить детишек бегущих, их руки фертом на той, еще школьной фотографии?! Разве можно уволить в запас лишь шесть из двадцати шести бакинских комиссаров, вместе с их Шаумяном?!

Открыть все шлюзы, выбегая на берег замерзшей реки – и все равно будет лишь рыба снулая, случайность, волнистая шерсть спаниеля в простенке меж книжных полок – даже если выбегая на берег замерзшей реки.

И все равно, мне хотелось бы пронести широкими полосами смыслбессмыслицу до всех краев земли. Чтобы Валентина Ивановна, моя первая учительница, стала как Джексон Поллок, чтобы спряжение Днестра и Черного моря стало как огромная сияющая медуза Протерозоя, а свет солнца широкий – как полосы и плавники, и соль на Хаджибеевском лимане, без которой бы не было Одессы. И чтобы мы бегали друг за другом – но не как бледные штрихи, и чтобы мир можно было сократить на Кантор-Кантор и Ройтбурд-Ройтбурд, но при этом оставалось бы время заплакать. И чтобы забегать в углы, и чтобы ленты, и цвет зеленый, и чтобы... чтобы...

Так они и порешили: он должен был получить парадный сак или парадный плуг. О балладе-схватке не было сказано ни слова. Однако он почему-то подумал, что баллада тоже подразумевается. Когда же пришел на поле, баллады-схватки там не было. Были только какие-то багровые заковыки плугом. Или нечто пухлое, упрятанное в сак. Баллада-схватка выродилась в список – хоть и простирающийся до самого горизонта.



Две сестры, три сестры, две-три надежды открывают последний приют для меня. Одна-две ступени, презентация, с гор спускаются горцы, гуцулы. Два-три горца и, возможно, мост.

Подмигнул, проебал. Только раз я был в черенке, а колнца бамбука не в счет. И кошачьи хитрые глазки – если залита скатерть вином, кто считает прилипшие крошки?!

Это свитки? Или это удары, затеки и камни? Что тебе с этого, зайчик, бедный мой Робинзон – ведь все равно ты

скажешь: "не знаю!"

Да, Незнайка прокатит нас всех на горбатой спине на Луну ненадолго. В четверг с чердака я видел звезду, а в пятницу – серого волка. Под кроватью видел в ступке горох, видел доспехи. Но что тебе, мальчик-нырок-кувырок – всё равно это не твои дети! Я понимаю, тебя нюансы волнуют, мой маленький и волнистый – как вино распивать в валенках, а потом крутить руками, воображая себя машинистом. Это свитки, развернутые на просвет, неотличимые от окон – трава, что путается с тюрьмой: ходики, муذاзвон.

*Ричарду Дибенкорну II*

Каждый раз вместе с Дибенкорном я узнаю нечто мне ужасно нравящееся – как о основном корне. О, эти царственные лица, выступающие в темноте: надев штаны, сразу идти в Лувр, как Хемингуэй, притворяться, говорить, что напишешь картину, как Джексон Поллок. А самому стоять у стены, морща десны, листать книгу, блокнотик с записями поперек – о, там даже есть ты сам со своим стадионом, и на протяжении многих страниц, и там даже есть Чацкин со своим стадионом, где он работал завхозом и выдавал гантели. Птица слетает с говна-головешки – в отличие от многих, я никогда не боялся писать картины этаким охристым "кака"-цветом, я не боялся печей в деревенских домах, перед одной из таких я встретил свой лучший, девятнадцатый день рождения, с водкой и маковой чернотой – я не боялся походов с бахромой.

О, эти царственные лица раджпутских князей, слетающие на меня с каждой газеты. Пыль возле мусорных баков, братец, сестричка – небесные скобки, бархатный Челубей, шелковица, которой все безразлично – только бы ели ее ягоды, внезапно распускающиеся во рту такой травяной сладостью, что даже не верится. И это при том, что у каждого в мире свои железные стены, недоступные мне как гильотина или баба Нина с Привоза – память обо мне растворится в кругу друзей между Европой и Америкой. Хотя упоминать здесь Америку также самонадеянно, как ожидать, что манная каша обратится в гранит. И столь же самонадеянно – как ожидать, что она обратится в кусок мяса – было упоминать здесь Европу. Можно упомянуть разве что Украину, но и этого никогда не случится, пусть даже я воздержусь от всяких сравнений.



В общем, всё, что можно изобразить, стоит на этом величественном и прогорклом, как Мао Цзэдун, часе.

Вернулись они с поисков Мадонны: "Горе нам, горе! – говорят. В морщинках бумаги на рисунке нимба увидели мы лошадь, нашли ее – и пахать теперь всем придется!"

Будто лыжник вернулся с гор, и теперь он усатый, как горе.

Будто выстрелом – встретить людей хотел, а наткнулся

на самураев.

Твой удел – пахать и разглаживать в нимбе морщины, а излишки сдавать государству, хоть они необъятны.

Я должен был отвезти тело в госпиталь. Возможно, это было не тело, а только лицо. Возможно, лицо моего отца или деда. Или еще чье-то лицо. Например, Антонена Арто. Или два лица – лицо Антонена Арто, ангелочком порхающего над лицом Антоненом Арто на качалке.

День клонился к вечеру. Я катил лицо через лес. Корни земли придавали ему этакий цвет – коричневый, браун, медвяный, медный. Или это были светлые корни платанов? Помню только, что я должен был доставить его или их к утру. Если предположить, что я вообще должен был его или их куда-то доставить.

Два образа ненавидел я всегда. Во-первых, "жизнь грациозную"... Это один образ, как бы растянутый во многие. И во-вторых, "воробьи клюющие зернышки на дороге"... Или это тоже вариант первого образа?

Те, кто знают, что Томас – глыба, те действуют, и узнают, что Томас Глыба – глыба. Другие же не действуют, и думают, что глыба – это Томас Манн. Они не действуют – погружены в обман.

О, психотерапевты! О, игорный зал! Или я опять ошибся нотой?

Получается, что в мире Паскаля Бога быть не должно – он вроде как шурф, колодец, "дудка". В него забрасывает ведро красноармеец, хоть и не хочет он пить. Рыбы тоже пить не хотят, однако они хотят ведро, чтобы танцевать помногу, подолгу, на каблучках, пока диск луны не шлепнется о поверхность воды в колодце.



Еще я хотел бы перечитать "Хаджи-Мурат". Но мне привиделся какой-то другой "Хаджи-Мурат", написанный Иваным или Ильенком. И в нем был бы тогда такой трепет, и движение, и родная нежность! Но мы никогда не узнаем о них, как о запертой кладовке.

Или выбери Вильямса, выбери из какого кабачка он прославился, или он солдатом остался в оккупированном Крыму, или в том чудесном саду, описанном Леонардо да Винчи, где растения обогриваются теплом проточной воды, и покрыт он невидимой сетью, чтобы всегда слышался в нем птичий щебет, и лимоны, и апельсины... И только когда со скрипом приоткрывается дверца, ты понимаешь, что это тюрьма, в которой сидят заложники, или это барокамера, сурдокамера, или удаляющаяся подводная лодка... И в

какой же из них сидит Вильямс, а в какой – ты сам? Если, конечно, Вильямс – это не ты.

Я редко слежу за выступлениями Путина. Ну, может быть, раз в полгода – год. Поэтому всякий раз замечаю, что он постарел. И это, черт возьми, внушает надежду. Не то чтобы я думаю, будто с его смертью в России что-то изменится – скорее всего, ничего не изменится или будет еще хуже. Но все-таки хотелось бы пережить этого гада.

Мы поехали на машине в горы, дело было зимой. Ты был легко одет, даже без носков. Ты всё просил, чтобы тебе дали носки – но их не давали, не потому что со зла, просто лишних носков ни у кого не было. Мы остановились где-то на склоне горы. Ты вышел из кабины, ты стоял, прислонившись к машине, скрестив руки на груди, в туфлях на босу ногу и обзирал альпийский пейзаж. Какое это имеет отношение к смерти Путина? Я не знаю.



Я колодец, самый что ни на есть. Я коллоидный раствор. Я петушок, еще не знающий, что он холодец. Я еще не знающий, что он пыль.

О, руки длинные как морковки – за талью мира ухватывают ловко. Так казалось, но это не про тебя. У тебя руки длинные, как тюрьма. Твоя пшеница – сплошное "для себя", пишущая машинка.

Я слышу разбой пароходов и крики матерей. И крики обезьян. На цыганке синяя шаль. Мать моя космос? Мать моя ракета? Мать моя радист? Эбонитовые клавиши и свист холодца в закоулках Вселенной – у плохих поэтов не водится пленных.

Лица песчанистые, лица – педаль, тархтелка, врачи-рыбаки, дома, в которых никто не живет, и "трах-тах-тах!" – и гусенично по губам.

Это вечное печальное воскресенье, в бороздках, веточках и соловьях, толкотня у почтамта, но никто не пришел к восстанию: барашек, руноседло, стул-стульчак, свинья-говнюшка, и опять пионеры-герои, но никто не пришел в восстанию.

Это была машина, вроде "блаблакар", попутная, я ехал из Одессы на Каролино-Бугаз, или из Берлина во Львов – я уже не помню. И не помню, зачем я поехал так долго, в объезд, когда меня ждали с выставкой, а может быть даже и к ужину. Мы заезжали в дождливые деревни, я видел подыхающий с голода скот, эти живые костяки, они были страшнее, чем динозавры, мы ехали в грязи по трупам лошадей, мы заходили в хаты, я разговаривал с хлопчиками, которые рисуют как Чонтвари или ставят химические опыты, которые мне и не снились, и здесь же нам пытались всучить лежалый мохер или сомнительного ангорского кота для случки. А, впрочем, "не хотите – как хотите", без всяких обид, они не настаивали, и

тихие девочки-скромницы провожали нас до дверей. Мы забывали вещи на маленьких станциях – потом возвращались за ними, или не возвращались вовсе, очень часто шел дождь – тот, который всегда в "Семи самураях", мне хотелось бы, чтобы это путешествие длилось без конца – это гораздо лучше, чем рисовать мои песчанистые рожи, это примерно то же самое, что рисовать их, это примерно и есть до конца, без конца, два конца, и посредине гвоздик.



Пора, мой друг, пора, пора в рак печени податься – хоть нет растрепанных волос и щек алкоголических багровых, но все равно: песок просыплется к рассвету на поля, и ты исчезнешь, будто на почтовых.

Я вам так и не сказал, что нужно делать! Все мучился, договаривался, не договаривал – пять воробьев то ли в кошелку положил, то ли на стене распял, восполняя недостаток длины шеи.

Кинуться? Что ж, можно и кинуться. Кинуться всегда хорошо. Вроде как город Куйбышев, и внезапно станет широким, как Волга.

Так что положил я было в кошелку все свои договоренности, даже и с Петербургом – но непробиваема река-стена тупости людской, желтая как моча-мозга. С таким же успехом мог бы я положить в кошелку свои (её) вишни-глаза. Как всегда, не обошлось без кладбища-крана-закрутки. Газ в баллоне, баллон в шарфе, проходящий Мурзилка (в шарфе), спинка баллона, прислоненная к стене, там паутина, не хотите ли почесать баллону спинку?

"В 1918!" – это он сказал с самого начала. "В 1941 началась Великая Отечественная война", – это он добавил потом и пожевал усы. Не хотите ли на холме пожевать баллону усы?

Все мы жуем усы баллонов!

Он очень зlostный – сбросить в яму его? Но там хватает зlostных. Может, лучше вздернуть его на столб, к птичьим трелям, к пяти воробушкам на столбе, не отличимым от "на стене"?

Ох уж эта самореференция – ее можно отменить в любое время, ведь все равно пребываем как в полусне, и не открыта, и не закрыта ручка (вентиль) баллона...

Стоит ли договариваться, стоит ли строить желтую Волгу как стену-тюрьму, сортир придорожный в парке, стоит ли с костистым вывертом шеи подыматься по лесенке под потолок, все перевешивать работы так или этак!? От перемещения слагаемых ничего не изменится, плакала ручка баллона с повинной! Ее всё открывали до половины, а это – ни холодно, ни жарко, люля-камыш, поток сознания, неотличимый от телевизора. Когда

мы уже научимся стрелять без тепловизоров, мокрой тряпкой снимать паутину – и долой книжки с картинками!

Внимательно изучил все темы. Из множества предложенных тем выбрал две-три – правда, и сам не знал какие. Он знал только, что они два-три пятна, что они цветущие как деревья, что они заплеванные, что они касатка – которая в океане и которая в Киеве, или в Одессе, или которая касатик, ласковая травинка...

Вот таким должен был быть эпилог к тексту "Маньяско", да, впрочем, и к любому тексту, а не эти дурацкие сетования: "Алессандро туда... Алессандро сюда...", "Саша больной", "у Саши украли кепку"...

Действенность – клики отцов, но мой разум – апсида, собачка, я сначала будто бы вышел в лес по грибы, но даже не видел его, этого гриба. Гриб Карлик Нос рядом стоял.

Но что же случилось потом? Мы с Верещагиным пили портвейн в Цусимском проливе, я должен был гриб проглотить и спокойно тонуть. Но собака-апсида не спала, и вот карусель: я по-прежнему лесом иду, спотыкаюсь о деревья и ветки, про грибы уж забыл, и слова забываю, кукую в лесу, у реки, на поляне, на этой ежиком, бобриком стриженной травке...



Но есть более сложные страницы, более странные и героические – Арафат с винтовкой, от дула расходятся листья, усики, зеленая нежить прет в листьях бука: будет бокс и укус, будет бег в сапогах по пустыне, будут брустверы из подушек, полосы и затеки краски. Презрение к страху и панические атаки – такие, что и на улицу не выйти. Сопричастность к говну мировому, сопричастность к аудитории, уставленной репродукторами и прочими ТСО. Ребенок-калека Сарториуса, розовый малыш, лезет под кровать, розовый малыш лезет в ванночку. Цветы, лошади собрались в кружок, прославляют панночку. Цветы лезут, защищают бабушку. Мир неотличимый от виска, носка сапога. Бег по пустыне среди пятиэтажек, асфальт и трава.

Поиски могущественных сил непрекращающиеся, поиски винограда и белого вина, обрушенная хижина, придавленные ребятишки, и все равно – поиски винограда и белого цвета среди обрушенных строил.

Выше отпуск держите, плотники! Выше держите отвес!

"История – это кошмар, от которого я хочу очнуться", – говорит Стивен Дедалус у Джойса.

Но нам не дано очнуться от этого кошмара, как не дано очнуться от самой жизни.

И всякий раз, когда восходит Солнце, он начинается вновь.  
Мы только можем идти по солнечной стороне улицы, или по теневой.  
Об этом хорошо знал Веласкес, когда писал картину "Сдача Бреды".

Ты не заходишь в эту зону. Где среди сотен красных мазков вдруг появляется какое-то грязноватое размытое зеленое. Наверное случайно. Но ты все равно не заходишь в эту зону. Лишь приближаешься к ней то с одной, то с другой стороны, кружишь, отгибашь холст у верхнего края, у нижнего – пусть стекает туда краска, только бы самому не заходить в эту зону, как если бы она была зоной памяти о твоём погибшем друге, или родителях, или вообще памятью о чем-то таком, что даже боишься вымолвить и вспомнить.



Я пишу картинку "Человек с тамтамом". Мне кажется, я знаю все про нее, или, точнее, чувствую. Вот только не понимаю, какого цвета должен быть тамтам. Хотя это странно – они все бывают вполне определенного цвета: ну, скажем, охристого, деревянного, или нарядного красного с искрами, или в блестящих латунных ободьях. Однако касательно тамтама я как раз не уверен. Потому что всему остальному – вроде фона или рожи на нем не обязательно иметь "цвет". Они размазня, и я выбираю без выбора. А про суку-тамтам такого не скажешь. Чувствуешь себя ребенком, перед которым засунули за спину конфетку: "А ты угадай в какой руке!"

Во-первых, откуда мне знать в какой руке.

Во-вторых, если я и угадаю правильно, он же быстро переложит за спиной в другую.

И в-третьих, самое главное, нахуй сдалась мне та конфетка.

В конце концов я решил – пусть тамтам будет из песка. Или земли. Черной бархатистой земли.

И это очень правильно, потому что: там-там! – и всё уходит в песок. Или землю.

Он ни о чем не хотел говорить, даже когда лежал в бессоннице, он понимал, что это бессмысленно, он пыхтел, оттопырив губу, он был мальчиком – ходил в магазин, он был жирным мальчиком – так что слегка свисала грудь, но он не был девочкой, он даже умел кататься на велосипеде, – и все равно понимал, что это бессмысленно – как тростник, дупло или как, скажем, встающее солнце.

Это важное дело – не наливаться, не надуваться. Даже подходя к вершине горы мыслями будь как у подножия – только не надуваться. Будь гитаристом стоящим сбоку, слева, склоненным, склеенным с началом или

концом, с первой буквой или последней. Забрана рука твоя струной, и не-ясен звук, и скованы рисунки – но все равно уже не уйти домой, здесь твой Родос и твой подоконник!

Этот счет сложился в Греции еще или Венеции, но что мне до этого! Война идет в учительской комнате: учителя ссорятся с учителями, пуговицы нежные, интимные, пальцы ломкие, цветение акаций за окном. Его зовут Фукидид, или его зовут Перикл, корабль нагружен товарами уже давно, а все отплыть не может. Так и стоит он у причала, набит кирпичами, сухогруз – кто его знает... Пока стоит он у причала, товара не разглядишь, а эти учителя все ссорятся в передней, а этот сухогруз – мы в мыле уже, мы в пене, как коняшки в первых рядах, и распахнуты щеки, а они все ссорятся в передней на вокзале.

Женева – среднее Средневековье, Д. – пожарные после Древнего Рима, А. – хлебать гречневую кашу, разводить протоки в молоке, сокровенные дорожки и прочие забавы.

Если сделать тамтам, а потом его развертку – то это и будет мыслящий человек. Это будет муравей – пусть он утонет в молоке, где в шорохе горит "налей", и прочие забавы.

Пусть это будет настоящий Петрушка и его полные грусти незнайкины забавы (глаза).

Развертка тамтама – полосы лака и черной земли. И так устала мама ждать красноармейцев.

"Вот скоро и я узнаю окончательную истину!" – сказал старец Аристид Майоль, почувствовав боль в спине и общее приближение конца.

"Мать твою за ногу!" – добавил он, присаживаясь под раскидистой оливой.

Еще будут дни сексуальнее прочих. Еще будут ночи, наполненные шорохами и звериными криками. Постав, столб, устав с завивающимися усами, дома с завивающимися окнами.

Улыбка горгоны медной, свет во дворе, каштан, платан – и прочая жимолость!

Пионерия, о, пионерия по гребешкам волн!

Жена паровоза, жена фонаря и совы. А ограда – жена угла, несмотря на расстояние между ними. А гордец – муж прыжка. А белочка – хламида Хатыни.

"Ни хуя" – это как подтверждение, как прядка волос, прилипшая ко лбу. Подтвердите же, ну подтвердите, когда все уходит в темноту!

Тятя, тятя, наши сети, а зохан вэй, притащили мертвеца. А мышка улеглась навзничь, выставила локоток или фаланги пальцев. Ничего не изменишь: только капитан Ахав и Мальчиш-Кибальчиш пройдут дальше.

И все равно, "ни хуя" – как восторг в полном тумане, липовый запах на уровне истории, зернышки в оболочке граната, ее, истории, синергетика и сингония.

Еда, девчонки, война... Гляжу, а он висит себе, распятый...

– Молить за Ваше спасение сейчас? – спрашиваю.

– Нет, не хочу, – отвечает.

Немного похоже на триптих Сая Твомбли, там где про Тирсиса с Этны – река, сумерки, кусты у воды...

– Так что же, просить о Вашем освобождении? – предлагаю.

– Нет, не хочу! – и висит себе дальше, распятый.

И писать надо также, чтобы – вот она, живопись, и нет ее, она распята, растерта в камни, в штукатурку, в булыжники Одессы. Она – полет голубя и плевков голубя, затылка и пепел – в невесомой, самой тонкой завесе вдали, газе, в секторе Газа. В прибрежной воде, где утонула жена Дубоссарского, в мама моя – той недалекой, не лучшей маме. Нам глупо держаться за "великую живопись" – которую мы все равно не утащим в могилу, но вот держаться за воду, за попку, за окурочек, за плащ с прорехами, за четвертое сословие, за след за кормой корабля – квасной, и пенистый, и да будьте вы все прокляты!



Черная с желтым – это спина коня. Значит, мордочку надо делать другим цветом? Это спілка моря, воды и коня, а мордочка кажется тебе каким-то другим, более соблазнительным сюжетом?

Как ты себя чувствуешь, упавший навзничь Шекспир, или упавший в лесу ничком? Или когда оставшиеся в живых дети (их примерно 75%) уходят из центрального детского сада в лес и там натываются на опавший ствол, и вокруг него ли-

сичкины забавы. Самое время вытащить жетон и сказать:

– Давай, леший, подымай ствол и вообще наведи порядок!

Или, давай, вылезай из кузова, белый, из здоровенного кузова. Или когда воблой бьют между ног. Промелькнет черная с желтым спинка коня – ну а мордочка должна быть совсем другого цвета!

Бедный Христосик, как тебя гоняют и в хвост и гриву!

Ну что, я смотрел его приговор – бесплотный образ, наделенный оленьими чертами. Я видел толпы его – эти бестолковые капустные головы, ангелочки вращающие бровями. Я видел эти облака, зассанные как простыни, в

хлипком движении света ... Только потом, уже в следующем перерождении, я узнал, что имя его Эль Греко.

Не спускай глаз с Эль Греко – будь бунчуком, пропойцей, саксофонистом подлым Бунтманом. Не спускай глаз с Брежнева – и будешь живцом, наживкой для неба, но брови его – как Эль Греко, только на последнем рубеже, где солдат срет в окопе, не теряя всей своей окопной духовности. Ангел в полете как ангел в полете, в сумерках, в пустыне Гоби, и будешь любовью безответственной, биологической, в окопе.



Да, я нарисовал портрет "В халате с прорезами". Помню, помню, – сейчас он остался в гостинице – но когда я прогуливался с ним, до одиннадцати, по коридору, по улицам, множество людей оставляло в нем свои заметки. Они втыкали их в прорезы, как втыкают записочки в Стену плача. Некоторые втыкали их как дротики или влагали как персты.

А сейчас портрет стоит в гостинице, прислоненный к ножке стола. И какое-то розовое зарево нависает над ним. Это странно – в картине ведь нет розового. И тем не менее, нечто розовое – рассвет, вечность, надежда, блевотина – все то, что ожидает нас после халата с прорезами...

Неважно, каким будет фон – золотистым, как у японцев, коричневым или багровым – главное, чтобы сказали тебе: "ух ты, товарищ бандит!", главное, чтобы было сжатие – венчик цветка или заклепка. Столбик, струпик гноя, облачко в небе...

Проход под текст – в дома, где никто не живет, только окна светятся. Проход под живопись – туда где ложки, вилки. Проход под историю, приближение к двум великим и страшным фигурам: "мели, Емеля!" и "Ебанько, подай патроны!" Потом крот сворачивается клубком в своем непрорытом канале, его шкурка тускнеет, его шубка свалаялась, осы жрут его, далекие озера.



Козерог с младенцем под утро, когда ребенка записывали в жены. И белая полоса – Марка Ротко приют.

Сколько лет занимаюсь искусством, и не могу привыкнуть, каждый раз берет оторопь – всегда получают карикатуры, стопка за стопкой копыта бьют иноходь.

Я вижу парный портрет Марка Ротко и Марко Вовчок. Они на фоне каких-то изразцов.

На изразцах чередуясь отпечатаны кресты – для Марко Вовчок, и условные изображения атома (три овальные орбиты в разных плоскостях, как любили рисовать в 60-е) – для Марко Ротко.

Кроме того, Марко и Марка соединяют зеленые ленты, вроде свадебного венка. В свое время я соединил такими лентами портреты молодых Ленина и Крупской, пририсовал золотое обручальное колечко и подарил этот коллаж на свадьбу своему тогдашнему галеристу Мишелю Райну.

Потом Марко Вовчок исчезает. Я вижу только Марко Ротко, но он мучается в аду на фоне все тех же изразцов с выдавленными на них крестами и атомами.

Наверное это ему за то, что не хотел писать холсты для синагог. ("Я сделаю все что угодно для церкви, но никогда – для синагоги".) Зря, ведь это как оформлять атомную электростанцию. В Советском Союзе художники-шестидесятники с радостью оформляли всякие там атомные НИИ и прочие подстанции. Но, конечно, не синагоги.

А вместо Марко Вовчок я мог бы придать Марку Ротко Зинаиду Райх.

И грядущие атомные электростанции, и зеленые ленты.

А Мейерхольд будет с пуделем, на фоне восточного ковра, как на портрете Кончаловского. Он еще ничего не знает. Точнее, конечно же, все он знает, однако думает, что это его минует, потому что он великий пролетарский режиссер, а не какой-нибудь там Вовчок или Клюев.

Они ее уводили прочь – она уходила как не русская, от этой картины-окулиста, от ее сырых пятен и пятен лесных.

Они ее уводили прочь от картины-стоматолога, она уходила как еврейка, и ветки на зубах скрипели. Но картина оставалась – как заяц, как нагрузка леса. Если песок сыпется – его не проведешь.

Яков Голосовкер хотел обелить титанов, вытащить их из леса. Как Гарри Линекер хотел обелить Гаскойна – вытащить его из пьяного леса.

Как Джорджо Моранди хотел отбелить границы между предметами, он оттаскивал их друг от друга – так и преподаватель живописи на летней практике все оттаскивает студентов от леса. Или от лета.



Я всю жизнь пьяный кентавр, я оставляю за собой обломки множества цепей, но свобода не приходит, не приходит, лишь "налей! налей!" красными ягодами восходит над лесом.

Я всё смотрю как другие, вроде Христо Стоичкова, встречаются с Христом. Я прячусь в пролеты лестницы-Вечности и подбираю заплеванные бычки, вроде художника Васильева, думающего, что он не Васильев. Впрочем, песню "Окурочек" петь не буду, убогое постмодернистское дистанцирование не буду выдавать за великие сны времен.

Что еще сказать? Друзей у меня не осталось. Мои друзья – Репей, Стебелек, Колодец, Собачка. Хотелось бы эти записи свести в конце концов к какому-то мартобрю и алжирскому бею, но и веселого сумасшествия мне не дано. Так и буду сверчком зудеть по закоулкам.

Давай заткнем им глотки и скажем "нет!" – как полетим в самолете.

Давай заткнем им глотки и скажем "нет!" – полетим в вертолете.

Как глянем в иллюминатор, как сядем за трактор, за стол, за пирс, или буй, или тумбу причальную. Давай их заткнем, чтобы ждать у моря погоды, опустив руки – и плевать, что в отчаянии.

– Разбираешься в баскетболе?

– Ну умел выбивать, ставить заслоны – Саатчиком и Самокатчиком. Умел составлять ребусы, например: "За что арестуют Димку?" Умел находить битую – на бегу, лесом. Но потом ушел в дальние страны розовощекой Европы, а вышел с другой стороны прохода, уже одряхлевшим. Сидеть и плевать бы в воду – так нет, все еще кенарем норовлю про удел и баскетбол петь, и прочие песни, ненужные народу.

Пожалуйста, запоминайте это решение – я открываю дверь, запоминайте это решение – я задвигаю щеколду. Троллейбус идет в зоопарк – это навсегда.

Рассвет пребудет размятый как дети – я буду отрывать билеты в кассе.

Солнце встающее над Полтавой. В кустах, как говорится, рассыпались стрелки. Онегина, как говорится, ебнут по голове подсвечником.

Я открываю двери, я задвигаю щеколду – готовьте шкафы и полки, это надолго, это навсегда.

Есть такое страдание: будто все время рисую картину, но кисть мажет у края, соскальзывает на стену, изображение режется этим уступом. Оно есть, оно слитное, но уступ режет его. Такую картину никуда не принесешь, она все время неправильная, и все проходят мимо, и ничего невозможно совместить.

Изваянная для этого божества мошонка хранилась в Додоне. Процарапанный для него клитор хранился в Малее. А телом его был каждый столб или столбик подходящего размера. Он сидел на каждом камне – если, конечно, камень был священным. А улицы загибаются в тростники – так колышется брюшина, и каждая бабушка у магазина кажется сводницей или поклонницей.

Разошлем информацию по соседним бассейнам. Расставим ее на каждом перышке ангельских крыл, желтом и голубом, чтобы потом размазывать раз за разом в небесный цвет. И телефоны звонят, и кареты уже на подходе,

чтобы известные писатели могли увезти приглянувшихся девушек, и танталовые ветви благоразумно приподняты над землей. О, выше стропила, плотники! Давай медоносы! Чтобы одним движением, и черточкой, и тычком, и рисочкой голубой, и каждым перышком, и на потом. И добычу в карманы.

Что делает этот будущий 17-летний художник здесь, на олимпиаде по математике? Или что он делает в сентябре, у подножия памятника Неизвестному матросу, а его золотая медаль горит как Потемкин?

Что думает он, когда плеть опускается на его узкую костистую спину, длинным бульваром бегущую вдоль переименованного города на Иртыше?

Что думает он, путая гречневую кашу с темнотой?

А ресторан на полдороге?

Медленно-медленно и осторожно, как шаги в сентябре, взбирается он на холм, где зарыто неведомое сокровище, сокровенное как страна или государство или капелла Скровеньи.

Разговоры с обеих сторон холма, как если бы он расщеплялся на брата и сестру его, и вот, не будучи хамами, они решили поговорить друг с другом, обо всем на свете, с обеих сторон холма.

И "революция, пить! пить!" – с обеих сторон холма.

И спасательный отряд обнаружил его, хоть он и отправился умирать в пустыню, на боковую дорогу, где никто не ходит. А до этого прощались они так долго, как брат с сестрой, и яблоки падали на боковую дорогу, в сентябре. И этот отличник, которому вдруг взбрело в голову стать художником, и с обеих сторон холма.



Лучшие годы жизни я прожил в Греции, потом вот переместился на Дно. Но и тут неплохо. Сейчас, например, изучаю тему "волки, идущие краем леса".

– Будете писать картину?

– Ну не знаю – может быть, когда я хорошенько изучу эту тему, то пойму, что картины писать не надо. Кроме того, у меня уже есть картина-ария "Волки идущие краем леса – кружево", а также картина "Ангел летает без очков".

Всегда нравилось присоединяться на полпути, у изгиба магазинов. Это хорошая точка. Но потом в бессилии опускаешь руки, и летаешь в серой мгле, как Мересьев.

Ошибка, что мы всегда вообразаем ее, картину, как девушку. А между тем она женщина опытная, деbeatая, крепко стоящая руки в боки.

В общем, дали ему стену для рельефа на мосту – панцирную, одноштучную. Он же выдумал такое, что весь город собираться стал. Я не знаю, сто-

ит ли подробно описывать этот рельеф – обычные розетки, пальметки, львы, но все вместе было невыразимо прекрасно.

Даже и сейчас, столько лет спустя, они не могут простить ему, что это он, а не они сами, прочертил такую линию от шумеров и семитов до сегодняшнего дня. Они отгородили рельеф, будто место казни, так чтобы никто не мог толком посмотреть.

Он был как вспышки спичек соломенные, рыжие, купорос, даром что алебастр, как те римские рельефы "стукко", очерченные чуть ли не ногтями, которые так замечательно описывает Муратов – где свет, и хижина, и мальчик присаживающийся посрать, гиппопотамы, заросли, тростники, пигмеи с толстыми яйцами.

И я там был, и подходил, несмотря на ограду, и видел это пиршество духа: стена панцирная, неотцифрованная, одноштучная, миляга.

Мир исчезает. Мир мучительно мочит себе руки. Мочит себе рукава. Пятилетки сменяют друг друга. Порой возникает даже нечто вроде радости, облегчения. Но только на несколько часов, пока не обнародовали итоги предыдущей пятилетки или предыдущего свидания, и тут выясняется, что планы не выполнены, и все опять рухнуло в пустоту.

Надо не возражать пеплу.

Надо песни кидать в Дунай.

Надо показывать кукиш тому, кто наверху.

И с деловым видом поправлять расписной кушак.

Бесчестие, конечно, неизбежно. Но не майся, не майся, пусть будут эти песни и демонстрации занозистого металла, и рубка кромки, дефенестрация каждую неделю.

Ах люли, люли, в гробу мы их всех видали. Пойдем, Марина – дай ручку! – и продолжение меандра еще не разрезано верхним прокосом.

Картина приходит из небытия. А мертвые, слежавшиеся там лежат? А последний звоночек?

Картина несет в себе свое небытие – и твое, и каждого из нас. Она существует ради времени, которого уже нет, которое было раньше. Как самая дальняя улица твоего города, самая могущественная окраина.

Не для того, чтобы дать нам надежду. Не для печалования, памяти и прочей федоровской дребедени – липкий потец заливает его музей-кремли. Картина просто обнаруживает перед нами свое возвышающееся "есть как есть" – то, что могло быть другим, но не стало, великое "так получилось". Она подобна дереву во дворе, которое в конечном счете не может сказать нам ничего большего, кроме того, что оно "вот такое". И одновременно искусство утверждает, что помимо безусловной "таковости" природы существует еще одна, создаваемая нами. Зачем нужно удвоение? Вот это загадка. Пожалуй, даже более глубокая, чем вопрос о существовании Бога.

Возьмите дату последней менструации, отнимите два дня и прибавьте месяц, вспомните день, когда вы последний раз были счастливы, отнимите от него семь, разбейте яйцо себе на голову и вымойте желтком волосы, дождитесь последнего философского парохода и помашите ему платком, дождитесь изгнанного политика и помашите ему ледорубом, устройтесь на спине осла, свесьте ноги, посмотрите на небо через левое плечо, и повторяйте все это время от времени, в зависимости от роста ресниц или выпадения волос.

Что такое "хорошо" и что такое "плохо"? Вот однажды задержали газетную полосу, выпуск газеты. Это Ордыев из Средней Азии так велел, главный редактор. Он вышел на берег реки – возможно, то самое место, где когда-то так опрометчиво пил воду Пржевальский, он разулся и снял носки, он опустил ноги в воду – возможно, он сделал это в память о Пржевальском, и это было хорошо, даже если потом он запретил газету!

Я помню пожилого китайца, он ходил в шляпе-маске, закрывающей лицо, на манер тибетских. У него было две собаки – большая дворняга и маленький бультерьер, каждый день он обходил город со своим велосипедом, он присаживался на городских скамейках, то там, то здесь, он собирал какие-то выброшенные вещи, упаковывал их в тюки и грузил на велосипед. Собаки тоже сидели сверху: бультерьер спереди, а дворняга – сзади, на багажнике. Потом молодые ребята-негры, работавшие в кафе по соседству, помогали ему вкатить этот груз домой. Это было хорошо!

Я видел смешанный хор, они пели а капелла тексты из Корана, и одеты были соответствующе, мужчины и женщины, но при этом крутились, будто они поют спиричуэлз или кантри, как в фильме "Нэшвилл". И это было чудесно!

Я знаю десятки людей: либерально, с понтом, мыслящих украинофобов, защитников русского языка в Одессе и советской борзости – в Нью-Йорке или Тель-Авиве. Большинство из них оказываются также исламофобами – потому что только так они могут реализовать по жизни свое убогое еврейство.

Я знаю еще десятки людей, которым до всего этого нет дела. Они подвизаются на ниве "современного искусства". Хотя ничего, ну просто ничошеньки, в искусстве не понимают.

Я не знаю, должен ли я сказать, что это "плохо"?

Нет, это наверное не "плохо". Это просто глупо. Так отчаянно, обидно глупо.

Он называл ее "С перчиком вскачь". Он называл ее "Памяти Зигмунда Польке". Он называл ее "Двенадцать прорех". И вот если в каждую прореху



заглянуть с лупой, – которая сама по себе прореха, ткань светящаяся, инфузорная, – в двенадцать прорех заглянуть и двадцать четыре крика услышать: "загубили! загубили!". А что, собственно, "загубили"?! Ведь ветер всегда поддувает рубашонку.

Мы не знаем, о чем идет речь – однако это не мешает нам видеть, что дело обстоит именно так. Это брошка, она брошена. Может, это позорная сионская звезда, может, это луг, или нить пропущенная – никто не слышит, и все разговоры побоку, поскольку дело обстоит именно таким образом.

Есть мнение, что поэт Заболоцкий целовался с картинами, когда писал стихи. Он принимал ванну, потом сидел нагишом перед этюдом – на треножнике или мольберте – целовал его и писал стихи. Были ли это его собственные этюды, или насколько живопись была еще свежей – скажем, так, что краска приставала к выпяченным губам, – об этом история умалчивает.

Стенки кабины, где вещи внавалку. Ну что ты там копошишься?!

Привязь, Привоз, прикол. Добрая Вера и красивая Тоня. Они все ждут тебя у колодца. Они ждут горизонтально. Они если и будут двигаться вперед, то лишь по приказу высших сущностей – властелинов душ и генералов культуры.

Вера и Тоня на берегу реки. Как сельский концерт, расческа, одиноко оброненная, сброшенная на речную гальку. Только смотришь с надеждой на Бога: "Ну пошлет ли он тучу наискосок?! Свет наискосок! И пусть земля просияет, как мед или праздник!"

Раскрой крылья своих жалких предков, всю эту пыль местечек. Раскрой их на фоне таблицы или шахматной доски – когда единственный выход в школьные учителя или в шахматисты. Раскрой их на фоне низких стареющих температур, темнеющих деревень, где стуки вальков и крики бабуинов еще прорываются сквозь звездно-звездную ночь.

Но я не заезжал в Крым! И я не заезжал за тремя кучами из русского контейнера!

Ой, Ладол-Ладино, нуль на островах, где зыбки.

Ставки сделаны, господи!

И теперь, в диванных валиках утопая, мы посмотрим как бегут лошадки. Ханна Бегум! Как бурунчики моря. Подтяните гольфы, малышня! Ты можешь сделать ставку на ту волну или на эту волну. Ты поставишь на ту волну, я поставлю на эту волну, и мы выдвинем опоры-мольберты к морю, и посмотрим, чья победит.

Выдвинув в галереи, все мы наби-пророки – пока не пора делиться, пока не пришел рассвет.

"На первый-второй рассчитайсь!" – о, этот морской язык, когда одна нога в валенке, а другая – в гольфе. Но они не сильно отстают друг от друга.

Ладино или Босния? Ладино или Монте-Карло? О, эта замурзанная Европа с прищуром мордочки коня – слюнявая или с торбой на корме. Звуки пенятся в телевизоре, яркость меняется в телевизоре – ты сам подкрутишь звук и яркость в собственном телевизоре. И прихлебывая из горла на каждом углу идешь в Сиракузах от пляжа к вокзалу. Звук-жужук и яркость-ярость ты подкрутишь в собственном телевизоре. Будет на коленях ясная Наташа. Но на всех дураков и простыней не хватит.

Выходишь сбоку из церкви, из ее рукавов огибаешь. Может, с книгой что-то не так? Что все это значит? В самом деле, что все это значит – мы выходим из бассейна, по колено в воде, мы огибаем церковь. Завитки волос или чумной барак?

Ой, Ладо-Ладино, завитки, подлокотники! Достаете со скидкой рассыпавшееся ведро воды из колодца. Хотя воды на всех хватит, она хлещет из всех щелей. Будто птеродактиль, огибающий вершину горы, а у тебя только ластик, берешь ластик и стираешь птеродактиля слева или справа от вершины горы. Огибаешь шапелю, ноги в валенках недалеко отстают друг от друга, а все равно еле ноги волочишь, вязнешь в песке, спотыкаешься о воду, а бурунчики по номерам.

Я давно уже заказал себе альбом мусульманских орнаментов. Не знаю, получу ли его еще в сентябре, а, может быть, даже и через неделю, но разница невелика, та орнаментальная разница для моих шаркающих шагов.

Каждый раз, если получилось, я вздыхаю с таким облегченным удивлением: "Ну вот, кажется, опять получилось!" Примерно то же говорит Камбэй в конце фильма "Семь самураев": "Ну вот, кажется, мы опять уцелели!" Откуда такое сходство? Потому что – и это главное, что надо знать о фильме "Семь самураев" – у самураев ничего нет, даже сравнительно с крестьянами, у которых всегда остается их земля. Путь самурая – уходить. И у меня тоже нет ничего, и пишу я ни о чем. Только останавливаю потоки, которые вот они, здесь, кажется, опять уцелели. А мне надо уходить дальше.

Довелось узнать, чья это колонна?

Довелось узнать, что колонна полая?

В каждой стеклянной трубке-колонне столбики монет. Довелось узнать, где монеты выше?

Они же столбцы оглавления.

Оглавление всегда пишется *post factum*. Так скользит и спотыкается карандаш по выпуклостям, по стопке исписанных страниц.

Но ты не знаешь, какая стопка выше, какая волна, каков цвет глаз.

Он распростерт между истиной и турникетом. Он распростерт между линией и страной. А хорошо все-таки делали, когда задумывали ликбез!

Грезит слюна отскоками, а я взобрался на крышу мира, на минарет, я видел как белыми точками порхающими уходила нечисть над Москвой – уходили слова, картины, перформансы.

Накинешь платок – получится платок стиснутый.

Прекрасный род получится у тебя, египетский, коленопреклоненный. Нет, только полусогнутый.

Я видел вчера отличную картину Янкилевского, обозначенного в аннотации "Янкилевичем" – фигура в шляпе вырезанная, обратным контуром, как у нас в Григорьевке монумент с матросом в бескозырке, она с достоинством небесным несла свою преклоненность, она была адски выпрямленная.

Я пробовал также читать поэму Янкилевича о Дюшане – ничего не понял, по правде сказать, кроме того, что он правильно и правдиво мыслит в духе Black Mountain school, наслаивая нить на нить, ну и бог с ним. Я не знаю, каким образом все нити, все выражения могут быть правильными, если наслаиваешь их. По мне, они все неправильные, оставленные потоки, падающие, стиснутые через замочную скважину, через скрипичный ключ. Впрочем, бог с ними и слава богу за все, а также ударная установка, в обводах своих поблескивающая, пылающая и похохатывающая, неизбежная как ВИА "Самоцветы".

Вчера на прогулке перечитывал "Парижачьи". Гениальный роман. Гениально, что все они там с маленьких букв – "кожухи" и "лебяди". Как частицы носимые, как механизмы. "Парижачьи" contra Пастернак. "Парижачьи" – истинное продолжение русского романа ("Анна Каренина"), но не "Доктор Живаго" – отстойник, монумент, возвышающийся над миром, так сильно возвышающийся, что его видно даже в США. "Парижачьи" – молекулы, конфигурации, октеты, носящиеся в миру, как расстрига, их никто не замечает, как богов, они не о чем, они проносятся над озерцом в Булонском парке.

Через 200 000 лет людям возможно трудно будет понять, что вот жили на земле такие же люди как они, только быстрее старились и раньше умирали.

Октагон – это восьмиугольная клетка, забранная сеткой, в ней происходят бои без правил. Я представляю себе такой октагон высокий, и на каждой стороне его, обращенные внутрь, висят большие красные плакаты с надписью: "Через 200 000 лет ... и т.д.". А на полу валяются опавшие листья. Потому что дереву, дабы показать что оно живет, приходится какие-то листья сбрасывать. А потом приходит зима, и оно сбрасывает их все.

Опавшие листья наверное взялись из инсталляции Перцев в Копенгагене – там на полу лежали большие, рельефно вырезанные цифры 1983-1985,

кажется именно эти, а вокруг были насыпаны опавшие листья. Вот в сущности и все.

Учитывается нога:

а) собственная нога;

б) нога Сатурна;

в) две ноги врозь разведенные, коралловая окантовка.

А они на улице встречают ее, а она в черной мантилье.

Не первый случай?

Не первый.

Вдова осужденного?

Вдова осужденного.

А покажите ручки!

А не бойся, девчужка, я с тобой!

Мы с тобой на пару, мы как провода, и с народом заодно отобьемся от врага.

Я всегда говорил, что у ног учителя надо класть топор, но он, зная мой шустрый нрав, боялся, что я сразу начну всем уши наяривать.

И все же мы отобьемся, господин учитель!

Бык и Осел спорят за улицы.

Высоки стены тюрьмы, но, даже сидя на корточках, глядишь вдаль, перебрасываешь взгляд поверх стен тюрьмы.

Отец был в восторге: "Давай читать!" – сразу сказал.

Была война.

Мы сразу пошли в музей.

Была лужа растаявшая, расплывшаяся от грязных отцовских ног или солдатских ног.

А они увидели ее на даче, на улице, в саду – вдову – как вышли из-за угла.

Это было вскоре после Освобождения, когда всякая шантрапа по улицам шляться могла.

Винному – винное.

Винноусому – винноусово.

Валик Хрущ никогда не спешил. Писал на обгрызанных дощечках, клей варил, размешивал, грунт наносил, разводы окучивал. Клопы, как кисейные барышни, подъедали его картины. Так самой природой нам дана возможность фактуры, особость взгляда и промедления. Вот и я стою, росточку невеликого, но не хочу в архив в Марбахе. Стоя на дворе солнечном, аки на арене цирка, дьявола бичом гоняю, Хруща вспоминаю, даже подражаю где-то – на обгрызанных дощечках, расчлененных... Тили-тили-тесто – Христа затоны.

Если появляется лакомый кусочек такой и лакомый кусочек сякой, то на-

до уходить, чтобы достичь, как говорится, точки no return, где невозможно возвращение себя. Один лакомый кусочек кладешь перед собой, другой – после себя, и танцуешь на облаке, в тине, стараясь не трогать эти золотые ключи. Плюя в пятки своим палестинам. Вертись волчком худородным.

Провернули, промелькнули, примелькались, примкнули к православию. Обещали сделать Руфь, но с годами превратили в фигу. Раньше за спиной у дэна всегда стоял Троицкий, но сейчас и на это не спишешь.

Надеюсь, что смогу найти контакт с работниками этого рассекающего заведения. Они говорят: "Ну и страдайте, если Вам так хочется!" О, Тамара Тарасовна, этот стон подлецов среди яблонь я в аду даже буду слышать! Эти твари с лицами белыми, намазанными, что хорошо в жизни пристроились, что говорят: "мыши! мыши!"

Эти столбы по шесть, где дается энергия. Где оленей я встретил. Равнина снежная – разграфленная и не графленная. Черемушки еще были тогда не застроены: сухая трава под снегом и огоньки телебашни вдали. Арлекин снимает одежду в третьем акте. Буратино снимает одежду в третьем акте.

В полость герой молча проходит смотреть на крышку гроба. А она желта, как теннисный мячик. В юности все говорят вместе, но потом расходятся, молчаливые как спаниели. В юности думаешь, что фильмы создаются в соответствии со структурой мироздания, как его огонь, привыкаешь жить в шатрах, но они как следы кривые, еле-еле ... Идет горе, ты с хрустом выплевываешь свое плечо – также думают и инженеры. Мало-помалу начинаешь понимать эту Антарктику, но фильм к тому времени заканчивается. Антарктида заканчивается, ты рифмуешь ее с какой-то великой актрисой, но даже этого не успеваешь сделать – рифмы заканчиваются.

Вместе с тобой пройдем этот путь, хоть оба его не внемлем, Илька! Мы как кобели на цепи. Ну хорошо, мы как кобель и сука на цепи – не забывай про обои! Ты помнишь этот квартирный свет обоев?! А помнишь подвал?! А полуподвал?! Чашка кофе, где прячутся неверные. А молочный коктейль за 14 копеек? Бои во Вьетнаме за Дорогу №6? Я всю жизнь мечтал освободить тебя – так и не освободил. "Тум-тум!" – говорит мне мир. Тум-тум! – и все будет хорошо, и кресла будут, но я так и не освободил тебя. Я ненавижу выворачивать карманы – только это придыхание, и я иду по улице, мой воротничок – тигр, мост, мои шаги – вышки, мои вздохи – препятствие, но я же прыгаю, черт возьми! Я прыгаю как водоросли, как олень, как вздохи. Я дойду сейчас до той баррикады, где я должен стоять. Я никогда не дойду, черт возьми, до той баррикады! Только мысли твои и мои над морем, над горизонтом: мы – вздохи, мы – движения плечом вокруг этой стены, той стены, мы – муравьи, рассеянные как Ахиллесы, мы – золото, мы восток и

закат. Я всегда протягиваю руку – мне всегда протягивают руку, в ней гвозди, и пустышки, и овес – пытаться лошадей. Что выберешь ты, кацавейка?!

В траншеях языка есть место каждому, самым лобастым друзьям – но не тебе, ты высишься вечно над горизонтом. И что я, пророк, чтобы подойти к тебе?! Только гляжу на пригоршню, руку – в ней овес, гляжу на овес. Волны расходятся пригоршнями, кулечками к твоему лицу, и над пляжем играет "Belfast, Belfast, it's a country that's changin'" – ты еще не родилась, страшно подумать, что может быть мир, в котором ты еще не родилась.

Я должен держать кулаки за пустые кости, все стихает, стихает-проходит, и дуги вокруг твоего лица, и гривы треплются на горизонте. Над Затокой или Одессой, над зонтиком или вопросом.

Я одеваю калоши и выхожу в полную тьму, и слякоть, где светящиеся окна только, и твое лицо, и т.д., и т.п. ....

В дому Отца моего много кружков и много желёз. Много распятых-распяток, ободов, ощеренных зубов, осликов, выродившихся в кружочки, уздечек, плотно обхватывающих губу, много улиц и много половинок.

Много песчинок, песка, а нет прохода к Робинзонову морю. Еще раз встать, написать волну, написать ее как тетрадь, как замшу, как розовую...

Я – ощерясь, кружочки в прорехи, листочки, травинки в прорехи, Люсьен Фрейд и дядя Степа в одном флаконе, бумаге, кушетке. Это для нас поставили кушетку в музее-дурдоме, вот и лежим на ней, голо выпятив яйца. Мы – похлебка. И все-таки, я вглядываюсь в его/ее ощеренную пасть, я монтирую кружочки в пасти, в Самсоне, Советском Союзе. Ванной, сортире, на даче – красные и голубые. Аки смех, чтобы смех не затих – в этой ночи пальмовой, антарктидной, шоколадной, беззвездной.

Кушнер взял поднос. Кушнер взял свечу – он хотел приблизиться, разглядеть лицо юного Ван Гога, Моцарта Ван Гога. Кушнер подтянул ремень – и лицо вдруг стало лицом Кобзона, стало тазом, дугой, мимансом, стало подковой, глотком бессмысленным, прудом луговым, шаром.

Вся тысяча бессмысленных страниц, что мы написали с тобой, та сотня красных станиц и с десяток удавок – взгляд в паричке Кобзона Ван Гога! Эти гексаграммы в стеблях кустов – их никто никогда не услышит.

Эти равлики-павлики!

Мы погрызем вишневую косточку, мы погрызем слоновое темечко. Если ты знаешь, кто хорошо это делает – мы дадим ему имя "столовое вымечко".

Много было имён и вымён позолотных – Советский Союз или Гренландия, в полях на пляски поделенная. Но Советский Союз потерял свое волчье вымя и стал стеной, равной своей удельной княжести.

Муравьиная дратва прохожих, лебединая песнь дождей, облачный столп приближается, я продвигаю роман под названием "Ничей!"

Это остановленные потоки, это плакаты. Как на египетских гробницах или как на советских. Советские люди разрушают города. Советские люди оскорбляют города. Советские люди оскотпляют города. Пыльная весна на Заречной улице. Город Зарайск. Город Саранск. Маленький пыльный автобус пробирается сквозь цветущие вишни в городе Экибастуз. Цветут яблони на Марсе и на болотах в городе Экибастуз. Когда мне недолго до гибели осталось, красавица, я гляжу на детей в спортзале. Их гимнастика, их ласточка – не долго мне до гибели осталось, красавица. Город Верный, город Париж, город Петергоф.



Это чердак в немецком лесу. Или это чердак в небесном Отце. Мы поднимемся туда вместе, мы откинем лестницу. О, я знаю, эти нити напоминают закладку-мохнатку, лобок, но вряд ли я это имел в виду. Скорее, просто чердак, овин, где обрезаны нити-потоки, остановлено желтое – так что, если хотите, сравнивайте это с вермишелью. Да, лучше сравнивайте это с вермишелью! Хотя работа называется "Ом мани падме хум".

Или по-другому: каждый день, начиная с 1962 года (речь идет, конечно, о совсем другом годе, но почему-то пишется "1962"), я сидел бомжом под аркадой "Centre des Arts" в Париже и правил свои тексты. Я сидел с ноутбуком среди своего пахнущего тряпья и правил свои тексты: обрезал нити, склеивал, вермишеллил, и это тоже было "ом мани падме хум" – сколько мне удастся там выправить, отредактировать, пока Клото не обрежет мою собственную нить.

Об историях, которые я мог бы рассказать посетителям салуна "Неуловимый Джо": одна из них называется "Утрата родины", другая – "Прощай, оружие".

Так тяжело, но сдается Вулкан. Так нависает Ормуздый Кавказ. И я знаю, многие дети приходят спать на моих работах. Конечно, я мог бы гонять их каждый вечер – раз, другой и еще раз, совсем поздно, перед полночью. Но тогда им пришлось бы спать дома, в тесноте, этим арабским, сирийским, курдским детям в платочках, пеленках, а они ведь уже так привыкли спать на свежем воздухе.

Есть Делез – самокат. Есть и город, где ты родился, он – дележ. Есть в нем рынок "Привоз", есть "давай!" и сияние гор. Он – Памир-Даолянь (город Дальний): разделение, расправа, что на руку легка, лень, раздор облаков, край, крайна, крайовый, кровать и опять самокат. Мы смиренно подходим на смерть к палачу-Лычаку, вроде граждан Кале – с веревкой на шею и бритвой-ножами в губах...

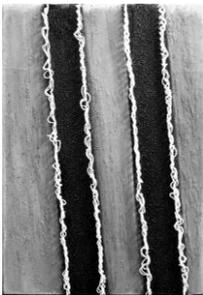
Я готов продолжать эту работу, даже если мне в конце концов скажут: "Ты – сводня, не более того! Все деньги будут возвращены – и ты ничего не получишь! Ты здесь на 15 минут!"

Ну я знаю, что я немного на дольше, однако в конце концов все действительно вернется и будет вроде 15 минут – не больше носа старого Пекода, мышиноного отпорка, облачка, гласа в пустыне. Но не больше и твоих глаз, всегда на меня смотрящих.

Хэй-Мегиддо, хэй-Мегиддо! Вместе с соседним пассажиром ты должен сойти, а не то чтобы спать. Вместе с пассажиром, строителем ты должен сойти, вместе с ними, в красные пески пустынь, и да не будет водителя у того автобуса! Насыпи, холмы, ремесленные братства, ремесла. Улица Ремесленная (Осипова), по которой гуляли мы с дедом, она же – холмы, насыпи, дворы в воронках. Чтобы не видеть стихию приспособленчества, каждая точка пусть будет окружена пустотой, рвом, что слева и справа, и шейка верблюда – концами шейного платка, и изгиб колес будет дан каждому колесу, и каждой матери – изгиб сына. Дай работы бедным, дай узлы! В этой квартире и в той, на этой ухабине, дай работяге зной, дай ему узлы, колеса, бедность. Дай тщеславие в рассеянье и непокорность тщеты. Дай с пустыми руками и дырки в ладонях – но не как жертва, а лишь гарантия тщеты. И никаких православий, пусть все слова снова будут ложью и волшебством, и дымом, и креном светящихся окон.

– Ты что, дверь закрываешь?

– Зачем?! Ведь дверь это не свет, за который платишь, она не потребляет электричества, она не потребляет спины, она не потребляет замкнутость, она только проворачивается туда-сюда, забегает на часок – поговорить о Делезе, о смысле жизни, о городах и странах, собачках, потом уходит как пивная палатка. Она не учит уму-разуму, она уходит как следы на песке – следы тех, кто ходил с бидонами к пивной палатке, к городу, кринице, до поворота. Нет, я двери не закрываю – все равно ведь не уйдем мы дальше поворота.



Я приехал в город Ираклион. Поселился, пока туда-сюда – включил телевизор. На французском канале TV5 группа интеллектуалов в хорошо подобранных ноншалантных пиджаках обсуждала что-то про Рембо, Кафку и новинки издательства "Галлимар".

"Я должен был быть таким как они", – подумал я с завистью. "Я же мог стать таким как они", – подумал я с ужасом. "Пиночета на них нет, Черного Полковника, Черного Генерала", – подумал я с усмешкой. "Так я и есть тот

самый последний, прорастающий, никому не нужный, травяной Черный Генерал", – подумал я уже без особых эмоций, руки, ладони, запястья, как клешни, как нити ко швам приложивший.

Я не хочу на все это смотреть. "Можешь ли ты мне помочь? Можете ли Вы мне помочь?" – спросил я Делеза. С работой, библиотекой, поликлиникой – уже не помню, с чем. Я не хотел на это смотреть, я устремил свой взгляд наверх, к небу, нависающему над куполом церкви Мадлен. Делез ничего не ответил, он устремил свой взгляд к небу, нависающему над куполом церкви св. Женевьевы. Он тоже не хотел на это смотреть.

И вот он начинает. Его интересует дрящ – там где исхода уже нет. Он передвигает головы на ветер. Или разворачивает их коньками крыш. Играет с огнем на Кремлевской стене, или со снегом, зеленым снегопадом, когда на Одессу обрушивается циклон. Он говорит: "оберёги..." – и знает, что за ними по-славянски маячат вериги. Бумажные цепи Мальчиша-Кибальчиша или чугунный Потемкин.

Это напоминает викингские ладьи. Оно напоминает черта. Оно напоминает паучка, толкущегося на песке. И все равно – несбыточный подарок, поднесенный Сезанном или Дюшаном своей обнаженной невесте.

2020 – 2021

### III ОСТАНАВЛИВАЯ ПОТОКИ

Нас интересует только природа вещи – ее приют, там, где останавливаются потоки. Нас интересует только дыхание – когда оно в окно. Два подлых вертуна, два заключенных Сергуенко, они всё крутятся в окне, как те окурки в воздухе морозном.

Нет, нет, у нас остались еще одна-две минуты, нам надо что-то совершить. "Пойдешь в галерею?" – она меня так ласково спросила и по голове погладила, будто я подиум какой-то.

Ты все это уже записал, записала? Ну тогда просто посчитай волны: две тысячи тридцать четыре. Посчитай волны: три тысячи двадцать четыре, погладь потоки – нам надо какую-то композицию решить, эту трагическую или комическую позицию, уходят потоки, уходят потоки.

Это вроде придумок Минотавра в пальто, это иней вдоль шва и щек, это радий-добытчик ныряет до дна, и щенок ему имя. У меня все время такое чувство, что мне предстоит поездка на дачу – и это правильное чувство: подводя ему щеки кисточкой или подкрашивая их кармином, мне предстоит поездка на дачу, выход в ближайшую форточку, девятку – солдаты плачут, переворачивается окурочек.

Я тщетно ищу тот книжный магазин в Одессе, натякаюсь только на пустые проулки, где неизвестные мне старперы проповедуют коммунизм, а надо ведь вычесть еще мишень и глаза-глаза вычесть, и оседлать деревья. Да, ты не маугли, ты другой, еще неведомый посланник. А если в живописи – то дворецкий, скрещивающий алебарды, останавливающий потоки. Дворжецкий, Дворжик, Домбровский – плюя окурочком в синий морозный воздух. А если без живописи – то "кони-ой-вы-кони-мои-кони", "гой-еси", и все такое, зубчатые верхушки леса, два подлых возвращения на дачу.

Я увидел вдруг – они уходили от меня по берегу реки, это было вроде недостижимого идеала: академик Обручев и сын академика Обручева, Александр Ильянен-старший и Александр Ильянен-младший, и кто-то еще, старший, вместе со мной, младшим. Они уходили берегом реки. Вы хоть оглянетесь, когда достигнете водопада? Все мы порождения мельничного

колеса, когда оно погружено наполовину в воду. Вы согласитесь с этим или нет? Вы оставите меня на следующий день там же, где я стоял, глядя вам в след, или вообще в нигде? Этого я не знаю – знаю только, что и на следующий день будет стоять прекрасная погода.

Мы елозили с папашей по торцу, будто Милнер, мы пытались подобрать тот единственный малиновый цвет. Это началось, когда я еще выходил из экипажа. "Ты что, домой собрался только баню принять?!" – спросил отец. Такой вот объединенный в скобках малиновый цвет возник. Грачи поют на улице Пабло Неруды, великие шестерки задевают ногами снег под универмагом, двигаясь кистями размашисто навстречу друг другу, втирая цвет в цвет.

Если хорошенько прищуриться, то увидишь всегда кучерявую голову машиниста. Линию торца, отметки мелом на бортах старого бильярда, письма белого человека из банды старого мошенника – и они трутся, топают ножками, втирая друг друга в невозможный малиновый цвет. Цвет крыла вчерашнего птице-пестрый. Если не будешь путать альтер эго, служебное, противостоящее, с самим бортом, омнибусом. Если это не вмоту – соедини родину с Палестиной.

Как обойтись без дидактики? Как обойтись без "полозья саней гуттаперчевые"? Когда плюешь в колодец, он всегда становится стаканом, но как обойтись?! Обойти Привоз по самому краю, кромке Земли? И не затронуть Борщ? Я не знаю, разве что опять воображать крыло вчерашнее, Журавля-Лебеда-прыгуна в той самой дальней комнате. В дальней гостинице поводья сердца свистящие натягиваются туда-сюда.

И еще я вижу жену Шевченко (футболиста), уходящую вдаль. Она американка, ей похуй та сборная или тот клуб "Милан", она хочет просто гулять с детьми или она хочет гулять с собачкой.

Я не уехал из Байрона и не попал на Дальний Восток. Я не уехал с Кавказа и не попал на Дальний Восток. Я не уехал из Кавафиса, я не уехал из "ф" и "в", из фырканы, лязга и стука колес, из снега, и фырканы, и лязга, и тихих колес в сугробах, в снегу, остановлен, заело, печален.

Революционеры-пацифисты в камыше, в третьей камышовой ветке. Крышки голые, разделочные доски, молоток, веревка, канарейка. Молоток, веревка, коноплянка. Или вот сберечь голову в Иерусалиме, а остальное – в тину. Хищные мостки надежды над комариным визгом, ветка третья – тупиковая, две другие тоже оказались тупиковыми (революционеры-наводчики и революционеры-архаровцы).

Не первый раз элиминируется разница между пни и мостки, а также – между мостки и тропки. Солнце надежды пятится в лиман. Она взошло над морем, над пансионатами, где живут геофизики и виноделы, оно жарило

плечи над волейболом и другими выходками, а теперь вот оно пятится в лиман. Ну что же, можно гордиться, что ты изведаль и волейбол, и нежные плечи в полдень, камыши, мостки, и, наконец, фронтир, где субстанция песка незаметно становится водою.

Я мог бы представить точные расчеты мелким шрифтом, да кому они нужны, эти Потоцкие расчеты.

Я вижу его в мастерской: человека-работника, человека-Дюшана, человека-пурица. Вот он рубанком что-то строгаёт упорно, и капли пота на лбу, волосы его перевязаны, собачка с подвязанными крыльями парит под толчком, и печи муфельные пылают – этаким склон, муфлон, лиман, мостки, третий срединный путь, четвертое кровавое сословие. "Ну все, хватит! Идите уже останавливать прогресс!" – это входит мама или Малевич.

Прозелитизм, интерес к истории, политике. Играешь хавбека, центрбека, еще какого-то бека. Микеланджело всю жизнь хотел делать только скульптуру, а Леонардо – все что угодно. Но в результате по-любому получается обрубыйш закутанный, младенец-кочанчик, и держишь его в руках, как разорившийся на алхимии Пармиджанино.

Но острый локоть оттопырив, ты все поешь. И горн-дидактика, и день-палатка.

Старый Жене пишет свою последнюю книгу – о палестинцах. Он хочет быть этаким Лоуренсом Аравийским наоборот, но он не знает арабского языка. Он помнит из Лоуренса только слово "предательство" – эту бесконечную униженность восставших, готовых провалиться в любую трещину земли. Он противопоставляет "бедуинов" – из Лоуренса, которые за Хашимитов, за короля, и "фидаинов" – которые палестинцы, у которых есть только их палестинский акцент, шибболет. В общем-то он уже ничего не помнит, он пишет двенадцать лет спустя, он путает арабские слова, он не знает языка, он уже старый, он хватается руками за эту Палестину, за воздух, за еще одну Революцию, еще один смысл, еще одну первую любовь, которая слишком прозрачна, слишком прозрачна, слишком немовля. Он уже не найдет, как когда-то в 30-е, то лютиковое поле в Чехословакии, откуда начинается мир, или ту таверну в Румынии, откуда начинается ад. Фидаины вертят его как игрушку – добрую, никому не нужную, фидаины переводят ему речи бедуинов, или наоборот, потом и те и другие разбегаются в орешник и, скрываясь друг от друга, присаживаются поспать. Их белые хламиды просвечивают сквозь ветвей, их белые хламиды.

Господи, как же преобразится мир, когда люди обретут способность говорить то, что они думают – как та египтянка с картины Бекманна. Когда они обретут способность понимать, и чтобы розовое и серое смыкалось с голубым, и чтобы они проходили друг сквозь друга.

Или рог из которого пьют. Он такой нежный внутри, бежевый, будто кремнистый.

Назар Назаров хотел возродить этот обычай, когда один день в году цветку в лагере беженцев воздают почести и приношения.

Они идут со всех сторон, они берут какой-то старый засохший бутерброд, или какую-нибудь бусинку, или прочие финтифлюшки и возлагают их к цветку.

Увы, мы сделали с ним эту акцию только один раз и назвали ее "киевское приношение".

Один сайт, другой, третий, я не знаю, зачем они нужны – предлагают тебе то билеты, то вишни, то ой-же-вишни-глаза, а ой-же сети утягивают тебя в сны на Рыбальском.

Как соблюдать говняшки и не есть говна? – думаю я, стоя в просвете окна, вглядываясь в глаза Мыслителя, Мучителя, Учителя. Вглядываясь в глаза Печной Заслонки, которая все лезет в глаза.

А ведь бабушка была права! – думаю я, вглядываясь в бабушку, наклоняющуюся к печной заслонке, – бабушка была права. Доброго утра, господа!

Как ворваться в Тюильри и завалить на траву самого большого королевского барана. Баран, бедняга, будет думать, что это воровство и злодеяние. Но он не знает, что его король его предал, и он завален на траву по санкции короля, к Большому королевскому обеду.

Мои картины никому не известны (в Германии). Как если бы вокруг меня жили муравьеды. Как если бы подушечки их пальцев были муравьедами. Что они могут увидеть, что они могут ощупать – этими узкими трубочками-мордами, долженствующими заменить им подушечки пальцев?!

"Коля, хуйня!" – говорю я, и рву еще не просохший рисунок, и бросаю его в корзину. "Коля" – это наверное имя рисунка, а может, это имя главврача больницы. Но так или иначе, ведь он был еще живой, непросохший! А я убил его – типа, этот не выживет, не станет, не годится, освобождаем койку! И если так думать, то варка раков живьем в кипятке покажется сравнительно с этим невинной забавой.

"Ап-ап-ап!" – слышится голос Синичника. Он был белый, в четыре ряда, он был сеточки и пояса, шары и цилиндры. Он надеялся выстоять. Даже когда его били бамбуковой палкой по рядам, по башке, он надеялся выстоять, потому что вспыхивала молния, и вся его белизна была видна как в стробоскопе.

Но вот когда рядом с ним завелись темные инфузории, овалы, когда они

пошли на контакт с подвесками его белизны – они строили рожи, они стояли указкой у входа, входили в перекрестия, в симбиоз, в артистические пары – вот тогда он понял, что ему не выстоять, что он должен будет уйти, раствориться во всеобщем "ух" и "ах": бе-е-е! – борщовка! бе-е-е! – бублики, паблики! Только и оставалось "ап-ап!" пищать Синичнику.

Когда-то, когда ты еще был Одиссеем, я выкупила для тебя право носить вишню. Расти вишней, быть вишней. Тянуться вверх, оставляя за собой малиновый ствол, светлеющий, расходящийся как след самолета в небе.

Когда-то, когда ты еще был младенцем, я выкупила для тебя право быть яблоней, завиваться листьями подобно кудрям, чей цвет переходит от золотого и медного к светло-зеленому, яблочному.

Когда ты был юношей, я купила для тебя право на стороне – чтобы ты мог тянуться вверх тополем, быть стволом темнеющим, не думать о последствиях.

Потом я стала требовать в расплату, чтобы ты стал ночью, я требовала сначала тихо – как шелест листьев, как скрип веток, как гул кроны. Все громче. В конце концов, ты вынужден был согласиться. Ты успокаивал себя, что ночь – это тоже листья, и ствол, и крона. Может быть, так оно и есть.

Память в твоём сердце украл богоразд, управдом, или она еще теплится – тщетой выщербленной, помутнением, зарницей (далекой игрой), изгибающим вилку декартовским сомнением?

Или ты уже все сказал? Ты садишься за стол забивать козла, майка на спине твоей порванно-сетчатая, капкан на твоей руке – перстенок золотой, заводской апельсин, сны об Одессе.

Это так сложно, надо мучительно долго смотреть на живопись, и тогда края ее поддегиваются нежно, как устрицы.

Но молчит бульвар, лишь носочки туфелек постукивают.

Молчит бревенчатая изба, пусть там и поймали на днях в паутине вражеского парашютиста.

Ты – живопись! – ты могла бы давным-давно уже сплющить края, но все подворачиваешь их в напряжении, ты бежишь за каждым встречным и поперечным: "а вот шапку забыл надеть!" – в неразличимости между суматохой и движением.

Канон суматохи, пушка суматохи, лоснящаяся земля повыбитая.

– Что, Костя, нам теперь за это отвечать придется?!

Придется, придется, – мы будем мчаться в бумажных шлемах, охуев, в газетных пляжных колпаках, как у Гастона, как у цыгана, цымбалука.

А еще я подумал, что живопись – это иудаизм, только одетый в шкуры, и в этом смысле окончательно проклятый, кокнутый и изначальный, вот они

столпились в пещере, вокруг одной сковородки, жарят на ней яичницу-глазунью из одного яйца, споря и шамкая, чтобы желток был твердым. Из-за желтка – на камнях, на поленьях! Ах вы, дети мои, пересеченные, чокнутые, как грибы, вырванные из лунок и шагающие своими озорными, гробовыми ножками.

Ты можешь себе такое представить!? Его зовут Джохар Джефферсон! Он, который столь много сделал для мировой живописи (и литературы)! Он стоит с винтовкой за плечами, солнце – закатное, клетчатая доска игры у его ног сложена, но клетки разошлись в полосы – по этой дороге мы все пытаемся спешить.

Меня поражают разрывы на этом пути, чередования "неясности" и "никак" – островки, опоры розового, серого, поросшие травой, в окружении белых глоток, белых солнц, белых башмаков.

И даже при таком раскладе некоторым еще удается сохранить за собой квартиру (мастерскую) с видом на море. Но мне такой шпагат никогда не удавался.

Я знаю только, что там, в утренней свежести переулков, Кульбитто-Кульбитов живет, бог искусств. Порой он Кульбитто Джефферсон, а порой – и просто Демьяненко (Шурик).

И на короткий период времени мы даже можем представить себе лидера с котомкой за плечами или Сталина со Светланкой на руках – таким он спускается в переход.

Динозавр еще остался, он растет. Не знаю как, но он вмещается – во все эти овалы, кружки побережья, он вмещается. Или они набухнут, отклеятся? Море выйдет из берегов к стопам динозавра? Хвощ будет трепать его гребенчатую спину? Возможно, возможно – стоит лишь мне напиться и сомкнуть колени.

Вообще-то история – она не суровая, и кончается, можно сказать, вместе с нашей жизнью. Это всегда история про листья, чешуйки, гребешки, волны – не суровая.

А в 1977 году мы так не договаривались. Я помню, стояла у стены тележка на колесиках – они только появились тогда в универсамах, стояла рядом с ней и хозяйственная сумка, обе голубые, стояли в углу и до сих пор там стоят... Однако так мы не договаривались. Я знаю – я делал потом много плохих вещей: я смотрел налево, когда надо было смотреть направо, или наоборот, я отказался делать выставку у Оли Свибловой, я топал ногами, раздражался, предавал, но я знаю точно – мы так не договаривались. Я надеялся на иное – на Африку, на движение... Нет, наверное это не трагедия, но все равно, так мы не договаривались.

Вот если бы провести такую линию, чтобы она ничего не выражала. Однако дать ее на фоне багровом, размашистом. А внизу вклеить, скажем, веточку – настоящую. А вверху дать, скажем, сеть – то бишь сетку, настоящую. Или дать там небеса? Или дать там сетку голубую, настоящую, на манер небес? Так или иначе, могло бы это подтянуться до уровня "гранд арта"? – как любит спрашивать Боря Михайлов. Ну хорошо, а могло бы это считаться хотя бы праздником? Чем-то зимним, хвойным, елочным, или летним, каникулярным? Или тем гастрономом, оставшемся в 70-х? Или хотя бы рукой указующей, точнее, тем местом, куда может быть направлена эта рука, линия, карниз, костыль? Или тем, перед чем мы совершаем жест недоумения: руки слегка разводятся в стороны, они слегка полусогнуты, они замók незамкнутый, они недоумение?

Наверное, последнее может считаться. Наверное – прохожий, наверное – сапоги.

"Туз! Туз! Туз!" – я слышу крики, пока он почесывается.

Си Наньсин почесывается, Ай Вэйвэй почесывается.

Косыгин, Малышкин почесывались (когда-то).

Некоторые почесываются кровавыми сполохами (размазней), некоторые – ответственной демократией.

"Зря ты не встаешь, – говорит отец Фишер. – Это как рама вокруг сполохов, почесонов и прочей художественной хуйни".

Или: "Зря ты встаешь", – говорит отец Фишер.

Это тоже рама, только другого дерева, волокна идут вниз, или другого стекла. В нашем городе, нашем Союзе, в движении, на полустанке – такова стиснутость рамы. Шаги бронтозавра, прикидывающегося балериной. Шаги "Миша, иди домой!" ("Медгерменевтика"), шаги "Вышел Шишел-Мышел" ("Коллективные действия").

Рамка Косыгина свойственна отечественному российскому искусству. Потом, правда, ее сменила рамка кролика, прикидывающегося ежиком. Рамка-смешило.

И все равно, главное – работать в мастерской, а не сидеть на носочках. Главное – шаги бронтозавра, когда он уже не может вернуться, когда его никто не слышит.



Если она тебе дорога – так и отымей ее, свободу.

Если оно тебе дорого – так и расколи его, счастье.

Перепрыгни через порог, наступи в лужу, лови комаров, стрекоз голыми руками, желаю тебе счастья, Рас-тиньяк, особенно коль уходишь в долгие леса.

Настоящий кондуктор никогда не допустит, чтобы люди стояли шеренгой вдоль всего перрона .

Он ремнем подпоясанный, настоящий кондуктор, на

самой дальней, австро-венгерской, молдаванской, кишиневской ветке.

*А.Монастырскому*

В бесконечных репрезентациях бытие только отдаляется от нас, подобно комку мятой бумаги. Повторение репрезентации-интерпретации – это лишь усиление среднего в тщеславной попытке выдать его за крайнее, за творчество, за эксцесс, этого средне слежавшегося, подлого "ну мы же с вами понимаем..." Журавль и цапля ходят через болото друг к другу в гости, они уже и дорожку протоптали, но это единственное, что им удалось сделать.

Сухая дорожка называется "московским концептуализмом". По ней ходят те, кто хотят мнить себя в болоте, в становлении, хаосе, но боятся замочить ноги.

Может, когда-то журавль и цапля в самом деле были монстрами, динозаврами, у них было краевое зрение, чакры, третий, четвертый, двадцать пятый глаз. Но потом они приоделись для свадьбы и пошли протаптывать дорожку. Двадцать пятый глаз отпал, остался лишь двадцать пятый шаг за шагом, интерпретация, диалог.

О, далекое небо бронтозавров!

Палка Гегеля, стык Гегеля – человек над морем склонился, тысячи молекул играют в волнах, и каждая своим различием несет в себе все остальные. Но что мы делаем на этом Буяне? Какую рыбку, какую петрушку хотим выловить себе? Какую планетку?

Tat tvam asi – гласит надпись на визитной карточке Хермана Хессе, Хайнриха Хайне, Фридриха Шиллера, Георга Хегеля. Или может, "я кряхтела!" – скажет тебе волна, и игра пойдет нестандартная? Я пойду мчаться на санях, питаюсь кровью медвежонка. Медведица запряжена, а я питаюсь кровью медвежонка.

Я не был ни на одном открытии, все знаю только по фотографиям. Я сижу на скамейке, слегка наклоняюсь, над морем, бульваром, я читаю кровью медвежонка.

Главное – лишь угол наклона спины, производная, спина динозавра, ее бугры, гребни, и будь ты хоть Хегель, хоть каюр. На санях, на скамейке, с палкой или в ладоши.

Струйка у окна – она обозначает Другое, струйка Рембо на головы парнасцам – она обозначала нечто восточное, шорохи, Африку? Струйка Поллока в камин Пегги Гуггенхайм – она обозначала новую школу и упорство? У вещей нет оригиналов, они возвращаются к нам только копиями, отраженными друг в друге – так учат нас праджна-парамита, Делез, Клоссовски. У света из окна нет источника – свет серебристый, утренний, ольховый, только корешок хуя сияет, и папа Карло почесывает мокрую лысину, а мы уже готовы ехать – на поездах, на перекладных.

Я не знаю, на улице мне все кажется текстом с такими великолепными графиками! Но потом, когда я захожу внутрь, я уже не вижу ни графиков, ни расписаний. Они говорят, что расписания поставяет какая-то учебная организация. Значит, опять надо взаимодействовать, мучиться? Нет, я уж лучше посмотрю еще раз на картину Креспи, картину Маньяско, картину Одессы – свет утренний, ольховый, или когда он вечерний – праздничный, каминный.

Выложу-ка я все – выложу пол, стены, наличники, а евреи соберутся – сами выберут. Но что же выберут евреи!? А если они выберут яму у подножия Креста? А если они выберут прыжок? У них такая хорошая, новая синагога, плитками выложенная – а вдруг они выберут прыжок и незадачу?!

Как говорится, один хор повторяет другой. Как говорится, есть еще возможность броска на Ленинград с поворотом на 90 градусов. И так всегда, как только выстроишь синагогу для евреев на холме – прекрасную, увитую лилиями, они тут же разбегаются – в этот народ, в тот народ, в Израиль, Ленинград, Соединенные Штаты Земли. Они бежали, и не смогли, как отпрыжка этого прыжка, юбка, осталась только возвышающаяся на холме синагога, ебанаты вроде меня строят такие всю жизнь, она остается недостроенной, я смотрю на квадратные плитки облицовки – там тюльпаны, и лилии, и трава, и как плотно они прилегают друг к другу, аккуратно и плотно.

Подожди, подожди! Тебе нужна почва или рисование на песке между рядами виноградника? С надеждой, что влезет какой-то чувак. Или, может, проходы змеей, поползновения, ее след волнистый между рядами виноградника? Или бросок, окиян, портфель? Мама, мода, мост?

Прочти ее темные броды у Сены, прочти ее бедра, мосты. Ты – великий X, так прочти и свой собственный чубчик, балфлот. Не ты ли хотел на трамвае въехать в рай, четверней, растопыркой?

Ее бедра, ее брови, улицы и мосты. Она единственная как муравейник.

Склоняя голову набок, он берет, будто лошадь, склоняющая голову набок, он берет ириску.

Он живот, он мешок, похохатывая.

Темный понедельник, октябрь, май.

Ее губы вишневы, ее улицы и глаза. Ее локоны, монета, расстояние, на счастье.

Ее черная полоса поперек ливреи – ливрея. Парус, наискосок.

Дети тащат стул к остановке автобуса – я не знаю, зачем они тащат стул на остановку автобуса. Дети складывают дрова, они играют с собакой, они идут в школу. Ах ты, святая простота, старушка – это когда ты еще была невестой, это невезение.

Я хочу невезения во дворе.

Залив, огибающий мыс дугой. Там бьют моржей, они толстые, справедливые, буржуазия.

Мне жалко моржей. Я хотел бы быть индусом бесстрашным, верящим в иллюзорность существования, но мне жалко моржей.

Кошелка. Я бреду в магазин с кошелкой, пошатываясь, старость. Я не хочу с миром, я падаль, и пусть меня жуют зубы забавляющиеся костью. Потом свет, два световых пятна. Два или одно? Господи, а я ведь всё раздумываю – два или одно?!

Ну давай же, поезд, паровоз, и покончим с этим, и ты, тетеря, любовь. И башни твои!

Ты слышишь хрустальный звук в ночи, будто пересыпающийся песок или заклинило ресницы – ресницы как лапы, их заклинило, день, застрявший в ночи, застрявший прибор, крючок, попавший под шкуру. Антоний покидающий Александрию – он слышит какой-то хрустальный шум в ночи, он не плачет, прощается с Александрией, он слышит голоса людей на улицах – возможно они бегут к твоему дворцу, возможно им нет до тебя никакого дела, это уже неважно, когда ночь, заедающая лапой в ночи, хрустальный звук – песок или зубы, который ты слышишь только.

Восстание дворецкого в саду или якисная ночь? Если соберешься, напиши обязательно – мы соберемся вместе, эту шкуру сада дворецкому не прокусить, мы соберемся вместе. Вот, смотри, я уже иду по саду твоему, я надел резиновые боты, чтобы храбро ступать по лужам. Конечно, если нас будут травить газом, то лучше надеть обувь полегче, чтобы сподручнее было убежать. Но мне наплевать, дворецкий, и пусть румянец нас всех покроет!

– Там, за этим полем, поросшим маками – Палестина, – это я объясняю перед камерой, подбоченись, помахивая рукой, в которой тлеет сигарета.

У нас рядом с домом было два детских сада. Про один я ничего не могу сказать, я туда не заходил, помню только, что об его сетчатую ограду хорошо было чеканить мяч. Во второй ходил мой младший брат, я часто забирал его и излазил там все, но тоже ничего особенного не нашел.

Сам я ходил в детский сад в центре Одессы, прямо за углом от бабушки с дедушкой. Впрочем, ходить я в него не любил, и меня водили кружным путем, со всякими отвлекающими реверансами.

Хотя не любил я в общем-то зря. Например, там была замечательная открытая веранда, огромные тополя прорастали прямо сквозь крышу, в теплое время года мы завтракали и обедали там, наши столики стояли между стволами, и потом нас там же укладывали спать на раскладушках.

Я говорю это к тому, что Палестина порой мерещится мне каким-то основополагающим детским садом, в котором я не успел побывать и не знаю, что сказать о нем. Там какая-то другая жизнь, как в детской сказке – "ребятам о зверятах", "лесная школа" (сидят за партами всякие зайчики и медведи), "лесная стенгазета".

Там, за полем, поросшем маками, Палестина – она подобна голове коня, выгнутому дну, голос филистимлянина, мудрого ремесленника и морехода, горит во мне и не сгорает, заглушен икотой пьяного Самсона. Я лишь с отклонением катаю мячи.

Махмуд Дарвиш хочет говорить от имени своего несуществующего, проигравшего народа. Я тоже хотел бы говорить от имени своего проигравшего (еврейского) народа, променявшего историю на самсонит. Многие хотят говорить от имени побежденных, но в результате лишь чеканят мячи об сетчатые ограды с отклонением влево. О, погибающий детский сад неизмерный!

Когда пришло время прощаться, мои арабские друзья сказали, что они с трудом понимают меня, но чувствуют во мне нечто странное и справедливое. Ночью, когда мы шли все вместе по улице Сен-Жюст, они почувствовали это. Или когда я положил кошечку в гроб, а ее вдруг начало тошнить трупными газами и разложившимися внутренностями, казалось, будто она шевелится – мои арабские друзья пытались обмыть ее, пока я, не в силах подойти, только рыдал: "как живая! как живая!". Да, в этот момент они чувствовали меня.

Но мы не стали мумифицировать кошечку по египетскому или фаюмскому обряду, лезть ей в зад крючком.

Мы оставили все как есть – с отклонением влево.

Когда меня в детстве укладывали спать, я делал из подушечки бруствер и воображал себя пионером в цепи дружественных нам арабских солдат, отстреливающих от гадких израильцев.

Позже, когда я влюбленно таскал портфель за Лилей Колмановской, я воображал себя израильским десантником с автоматом Узи, и чтоб она мною гордилась.

Теперь я уже не знаю, кого мне воображать. Я в рубище. Этот текст в рубище со сплошными прорехами, а за полем – Палестина.



Ангел и мировое яйцо.  
Трещина ангела.  
Ангел – дервиш.  
Ангел – камыш.  
Ангел колосится. Ангел в снегах.  
Ангел – орел.  
Орел на блядках.

Это вкрапления. Они делают каждый камень осиянным. Они делают его престолом господним – согнув в коленях. Они делают его Лапутой.

Вкрапления – они из сословия всадников, они неурядица, боль. Толкаются они, толкаются. Жители предместья яблочного, вы за Молоха или за Спартака? Зависит от цены вкрапления.

Но если отдать вкрапления в руки недругов, они из всего девяносто третий год устроят. Ты пойдешь, когда косят, в самом первом, безжалостном ряду?

Они следят за тобой, Свицерко! Они сигарка, поджигалка, Гаврила. И теперь до рассвета уже не отмыться.

Я тоже не понимаю, что здесь не так с этими спокойными половозрелыми иголками. С этим чертополохом-умывальницей. С этим лобиком камня, белесым как Путин.

Ты пишешь книгу?! Ах, Аллах! – по окраине, по огибающей? Ты пишешь млеко на теле камня? Ты пишешь вкрапления, выбоины, березняк?

Я буду любить вас, бурунчики Сан-Франциско, но без того, чтобы стать жителем Сан-Франциско, и черную живопись Васнецова, Салахова, Иллариона Голицына я буду любить – совсем без того, чтобы затесаться в "суровый стиль". Я даже буду любить Ливенса, но без того, чтобы стать его кожаным камзолом, его рыжей бородой, беретом.

Мой стиль – "суровый стиль" внутри "московского концептуализма", мои дети бегают без беретов, мое время – беда.

Я – бессмысленное вкрапление у Никитских ворот. Или я ждал в этом названии явление Ницше? Или я ждал своего дедушку к уроку – он запаздывал, он, как водится, засыпал на ходу, но я ждал, что в конце концов он, как Одиссей, все же явится провести урок. При закрытых дверях в школе. Урок в стволе, при закрытом дереве.

Или, в самом деле, приезжай к нам, Чингачгук-Чанчанчик! Приезжай хоть на неделю, посиди синевой на наших полах. Мы ведь часто ездим к тебе, проводим у тебя целые пастбища, а ты все не хочешь приехать, посидеть на нашем взморье, наших песках или дровах. Мы отринем Черномора, мы посмотрим на этот домик на взморье, вытягивающийся кадр за кадром узкой волной, ты не должен быть кудесником, мы не будем танцевать, мы будем только вытягиваться на взморье.

Вот истинное время, проходящее.

Чтобы деревья победили, чтобы они сузились, чтобы они стали частью твоего гетто.

Ну почему же я – это я? Это я, как есть. Чисто художественно можно сказать, что я в платочке. Как кеты на охоте. Когда пробираешься сквозь тайгу, надо в платочке. Подобно китайскому вору, пробирающемуся в пустой дом. Подобно никому не нужный. Или подобно "ну погоди!", приходя в женское

общежитие. Делая вид, что ты волк в платочке. Танцуй посреди комнат, на половицах.

Делая вид, что ты врач. Что ты разумное, доброе, вечное. Или только протираешь окуляры для взглядывания в реальность. Окулист, пиздун, пизденьш. Есть ли разница между разумным, добрым и вечным, как у Максима Кантора, и протиркой окуляров, как у Андрея Монастырского? Или все они сходятся в хлипком танце на дальней половице?

Тогда будь уже кем угодно, и даже музыку учить не надо. Будь муравьем, муравьедом, музыка всегда "не наша", вопреки тому, что казалось Гайдару или Годару. Ближе к Гайдаю – маленький дурацкий танец на дальней половице, "ах, если бы я был султан!", и ногами выделывают.

Потом появляется, правда, высокий кудлатый дядька, его ноги уходят в облака, Гулливер. Он говорит откуда-то сверху: "а какой размер сегодня? Деятнадцатый?" Ну понятно, что никто из танцующих не соответствует таким размерам. Он обхватывает тебя сверху за лямки штанов – ты уже не танцор, не кет, не охотник, а просто Карлик Нос какой-то,

пародия на самого себя,

пародия на капиталиста,

пародия на друга своего напротив,

и он хватает тебя и "выбрасывает во вселенскую пустоту", – так хотелось бы написать, – но, о, если бы! даже и не туда, ты просто остаешься подвешенным, как самое последнее засранное "ну погоди!"

Он мастерски переводил – из древних поэтов, из Библии, из Кавафиса, получал стипендии от каких-то фондов, торчал в Греции, Италии, писал и свои стихи – что-то о ногах греческого солдата в обмотках, говорил, что это он открыл в литературе – "солдатские обмотки", что без этого никуда, что это как туалет в общественном парке истории.

А вот Кольке такое было не свойственно. Колька был мармелад, хоть и знал языки. На этом их сходство, собственно, заканчивалось. Гармошка обобщественного текста заканчивалась.

Заканчивалась ли?

Гармошка текста, ноги в обмотках, "У нас дома в далекие времена", "Моя жизнь с Эстер", "Моя жизнь с праздник, который всегда со мной", "Рубаха-парень" – кровотокающая коробка текста все равно остается, и его мармелад, и его рубаха, ноги в обмотках, на боковую, малыши, и всё про всё, и все правы.

Хочешь думать, что этим ты миру какую-то боль причинил, прищемил – ну а если нет?

Приятно думать, забравшись на стол, спуская вниз бытия шарики как приколы – ну а если нет?

Это всегда ростомер – можно забраться под стол или стул – ну а если нет?

Я много творил, под Андрея творил – ну а если нет?

Сколь веревочке не виться, все равно придешь к маслицу, машинисту. Вместо "ну а если нет?" мыши запоют в ответ – мыши погребные, пороховые.



Самое главное – перекинуть ногу через борт и сойти на землю.

Стать Одиссеем, пахарем. Стать офицером, пахарем. Стать долбоебом, киской.

Что совок ребенка перед самосвалом?!

Какое там чувство во дворе?

Но у тебя лишь скобка на земле. Каждая работа – скобка на земле: держаться, переползать. Или на ржавой ракете, летящей вбок.

Скопою или соколом, напряжением луковиц глаз, скобка сознания, дуновение, ветерок.

Я вижу вокруг столько зрителей – а все равно считаю этот театр недоразумением. Я ем незрелые яблоки, я бросаю их в зрителей, и они бросают в меня незрелые яблоки в ответ.

Но так или иначе, о, эти скобы, эти вагоны яблоневого света!

"Берегитесь доверять символам!" – писал Норберт Винер. Берегитесь доверять лохани бытия – орнаментированной, синие квадраты проглатывающей, доверять этому маскарону, горгулье, москалю, макаронине. Берегитесь кисельных берегов, камышей, асфodelей... Было время, когда и я бегал под сенью баллов. Только время это прошло, и лишь ластик-резинка остались.

Блатняк из страны Странствий. Это у них на станции убили красноармейца. Его открытый рот черным пятакoм-провалом, его плечи проросли.

Его собрание на горе Странствий. На платформе станций.

Мы обречены быть вместе. Стоит только спросить о количестве окон, об оттенках фона – и ты уже во главе всадников, на одном фоне с (рес)публикой. Спор об оттенках – как тут же появляется размазня-кираса, убитый в рот красноармеец разворачивается, он с вами на одном фоне, спор об оттенках.

Вот смотри, малышка, моя голубица, – мы правим колесницу вбок, но она все равно развернется ступицей на одном фоне с публикой, и как ни разворачивай, мы будем все так же далеки от меты, мы никогда не упадем в траву. Сдавленный крик.

Сдавленный крик. Орнаментированный. Колос, сокол, печатка. Печаль

зеленого стекла бутылки. Копыта из синей жести.

Это картинка на светлом фоне. Но пока я смотрю или читаю, фон кажется темным – уголок его глаза темный на свету совпадает с фоном. А картинка как колос, а страдания – как фон, кружева. А невопад. А ты пиши, пиши, потому что если сейчас не напишешь, уже не напишешь никогда, – как говорил Бог Бакину. Но если картинка колос, если она еще не проросла?

Паршивый Феллини нам по частям говорил, покойниками нам говорил, гримасами, но картинка так и не выросла, зря колосились страдания. Хоть и прекрасная игра актеров. Феллини – знамя, но отряд не придет. В крайнем случае придет отряд почемучек, карамелек. О, бедный красноармеец-велосипедист!

Первым шагом – рассыпь яд. Далее – поставь свет. Зажми сердце в кулак. Тыркайся дураком в углах. Потом вспомни про свет. Или про яд. Поставь стул на стол – чтобы отталкиваться впотьмах.

Вся жизнь – это края платка. Здорово вычислять края платка!

А ужас воспоминаний?! Он как ягненок. Его гоняют туда-сюда.

А принцип? Так ли легко нарисовать принцип, овал его лица, горькую складочку вокруг губ?

А проводником вам будет Одиссей, Одесса моя – дунул, плюнул, дунул из горестного рта, и вот она, Одесса моя, воплощена, возникла, готова давать указания в обличье проводника.

Не люблю, когда спорят о частностях вместо того, чтобы читать важнейшие футбольные правила. Например, правило о невозможности пребывания на краю платка.

Время придет, и ты вернешься в Рим идеальное масло на границе ладони качать.

Раз! раз! – давай, качай идеальное масло из листа на границе, каждый раз вперед брошенное в собственной приграничности. Ницше такого бы не одобрил. Зато хорошо спать на раскладушке. Опустив голову на грудь, созерцающая собственную грудь.

Или когда психическая манера. Может ли, например, проходящая девушка быть мудаковатой? Когда она на плоту, когда она опустила голову на грудь? Или когда она широко шагающая, в сапожках?

Мне нравятся торжественные ложные поступки. Когда над ними красный венец. Вроде этой картины с ангелом и земным шаром, рассеченным на пупочки.

Обменялись команды соответствующими бороздками, щетками.



Решения районного совета и поселкового совета совпадают до полуодури, пусть даже одно про предательство, а другое – про перетягивание каната. Оба они про оперши голову на руку, оба про ламповый свет!

Можно назвать это также "процедуры шлюхи", или "один год под шлюхой". Можно назвать "когда падают яблоки", или груши. И привлеки сюда хоть австралийских аборигенов, это не может помешать неотличимости, как неотличим, скажем, года Чехова от года Пушкина.

И каждый читавший это письмо, он – Пузо, Памятник. Пусть завтракает или пусть рискует – это все равно. Он получит это через очередь или через вечность, но все равно получит, или сам станет столом, сорока ножками, сорока куполами.

Пойду к своим, потолкаюсь плечом – хоть и знаю, нет своих в этом мире асфальтовом. Только пьеса в безумном одесском, одическом свете, дерibasовском, несчастное буратинство на углу перед магазином "Золотой ключик". Мы лежали с тобой, мы лежали с тобой, наша участь растягивалась как баба амеба на четверть, потом отступала как Капабланка. О, этот четверной порыв Леси Украинки! Далекie провода и близкие провода, медные, шелковые.

Зная эту организацию, мне кажется порой, что я мог бы быть первым, если постараться. В этой экранизации. Впрочем, конечно же, это заблуждение, дуракаваляние на полах, забрызганных краской, когда рабочие уже ушли. Когда песня дрозда, пение дрозда, пенсне дрозда. Неутихомирная накипь.

Пойду к своим, потолкаюсь плечом. Но двери распахиваются, и ты выпадаешь – недалеко, в тот ближайший пустырь, мусоросборник, дерибанник, где только тени и немилосердный, медный, медвяный, режущий свет.



Тустеп, в ту степь, будешь ты бегать, Стеша, царица вечная моя. Над головой топот, белый колпак в красных крапинках и вечная ночь, у ног твоих сабля, имя твое – Земля, подвиг твой неизвестен, незабудки твои цветы, воспоминания – твоя прелесть, колодцы, молчание – твои ягнята золотые, и так далее, без конца. Будешь ли ты, не будешь ли ты?

Эти веселые дэнсы разрушают стереотип о плохом влиянии возвышенных чувств на половые чувства, равным же образом – о плохом влиянии приземленности на художественность. Оба случая равны своим влиянием в деле соштыкованном, а также – ленинградском, лунном. Или когда опилки, борода, стена зубчатая, турецкая крепость на берегу лимана, генуэзская цитадель, огромные следы Пушкина, шоко-

ладный Джо и прочие забавы. Так лев или нонконформизм выходит на охоту лунной ночью, чтобы все знали: голова, опилки, письмо в красных крапинках.

Проследи, чтобы на протяжении нескольких лет был сухим майдан – место, где стоит мольберт. Быль – не красота, но провода, передача сигнала в далекое синее будущее. Так что не увлекайся живописью, мальчик мой, не увлекайся рюмочной, Казанцев, – спит Сплит, но натянуты провода далекие и ближние, "без следа" – поет сигналу снежная ночь, лунные коржики отсвечивают в проводах, далекие и ближние.

Впрочем, сигнал не равен подвигам. Он четверть подвига-не-подвига, вроде мыса Канаверал. Покрытия, провода, русалка полумертвая, звезда, ее рукава, ее длинные руки, ее знамена, ее лотерейные билеты. Принцип гуглится, не гуглится – он сырмятица, проступь. Проступали лунной ночью педали велосипеда, невнятица, наивница – и катится при этом.

Он – зерно не прорастающее, он не пахнуть и не улыбка, он – жениться, и скромница при том. И марш вперед, не мазаться. Он – рассвет, упование, обхватив голову руками, он веснушчатое как всегда, как придется, как надо всем и никому, как тесать.

Можно ли верить на Дальнем Востоке? Аллитерация – мой компас земной, полуземной, у печки-земли, малыши-грелки, четырнадцать – ты же хороший, всего добиться сможешь.

Матвей, выходи на бой! Это же ваше место, между прочим.

Ой, сколько шороху! Вышел Матвей непобедимый, погнал в поля, что твоя наложница, только ветер свищет.

Впрочем, вот он же стоит неподвижный, подпоясанный, богатырь Матвей. И твердь земли бугрящаяся его объемлет.

Я не сержусь, я не требую, пусть я виноградная гроздь, но соломки подстилать не надо, зачем нам кавардак интеллигенции. Знаем мы весь этот арбуз горящий, и как кидать его в Японию.

Теперь ты можешь обнять меня – узаконила, лествица! Я сам себе врач, и пусть будет что будет, и прочая вермишель. Отрада, провода, не знамо, не ведомо, не отворять, и целовать сфинксу лапу.

– А кто сгубил тебя?

– Менты!

Таков наш ответ – даже если ничего не сделать, даже без зарплаты, знакомый заяц или не знакомый, так мы отвечаем, даже не за баррель нефти, даже не за четверть барреля, – так мы стоим, сопим в лунном свете, такова наша нежность, твердая как незабудка, жиличка, паперть, таково слово наше, эпоха, перестройка, гнидка, ее движение, Пашка, вот фильм ужасов-то – фильмка?! Такова наша судьба, веришь – не веришь, как эпоха бронзы, протянутая ночью, простертая до без конца, провода что птички, они не гнутся,

а песни – перпендикуляры к расщелине. А он идет, канатоходец, он к обеду не вернется, не жди его, мама, с одеяльцем, оставь надежду, капееэска, всяк сюда приходящий – нелепка по твоей милости, загнутка, провода без следа, бесстрелка, лунная ночь, разговоры над норами, место ничего не делать и все надуть, обдуть объемно.

И мышцы гладкий свет все так же отражает атласный блеск какой-то там испанки. Ах, уступи могущество сегодняшнего списка и милые лица лошадей! Хорошо отфильтрованная информация сливается с привычными звуками, это уютное посапывание. Вроде у Олега есть про это две строфы, и у старого Тютчева было нечто подобное, это нельзя стереть, убрать одним тычком. Как шестнадцатилетний Роберт Фишер, который вроде знал все на свете, но у него была странная манера знакомиться – простираясь перед тобой, заглядывая в глаза, – попробуй, сотри его одним щелчком! Эта влажная гладкость мира, его мирового яйца, и даже то тупое упражнение, с каким ты хочешь жениться на ней, говядина!

И надо сказать, что даже наша любовь к богу, наше название его тем или иным именем вносит неуклад в мир, – ведь боги сражаются друг с другом, они всегда разные, в сетчатых юбках, крапчатых колпаках – и называя их имена, мы неизбежно становимся на ту или иную сторону.

Это какой-то неощутимый город, или город, где мы были детьми, его кишки-проспекты. Этот город Печенкин, помноженный на Нью-Йорк, помноженный на Одессу, этот троллейбус – когда вдруг объявляют, что он идет в депо, или этот трэйн, – о боже, и мы с бабушкой вскакиваем и бежим к выходу, подтянув штаны, подтянув чулки до уровня этого корабля-прибоя.

Замешательство ты можешь себе представить? Полный совет да любовь можешь представить?

Он идет, выставив ногу вперед в белой обмотке, он тащит за собой своего сынка в деревянной колясочке, он идет на сослужение с герцогом – как тот решит, так все и будет! Впрочем, что же может решить герцог?! Только картина на стене, только зазор на месте картины, окно, откуда дует – бестия продувная этот ваш герцог!

О политических пристрастиях Креспи в тот или иной период можно судить по ширине и конфигурации полос, окружающих белое на его картинах. Этот креп, шелупень, ловля блох. И при том, как бы ни обернулось дело, он хранил верность наследному герцогу Фердинандо. Сам Креспи будто вышагивает здесь вперед, скрещивая муштабель с оглоблей коляски. Другой сынок, постарше, гарцует рядом на деревянной лошадке. И молодая, пригожая жена. Это изображение своего семейства он подарил Ферди-

нандо. Первый раз в истории искусства, когда суверен получал в подарок от художника картину со столь неформальным сюжетом.

Да, мы можем назвать это машиной – одной из самых широких машин, придуманных в истории человечества. Я говорю о машине наших политических предпочтений. Когда мы вышагиваем в чулках или обмотках. Конечно, герцог Фердинандо или какой-нибудь Пирпойнт Морган могут сочетать различные предпочтения. Они могут сочетать все на свете. Но как быть с нами, простыми людьми, которые то и дело слышат нечто вроде:

– Прости, Юра, но я все-таки рассчитывала на более теплый прием!

Ты полый, ты достаточно полый? Ха-ха, ты ослабленный? Ты "Гостелерадио – Гастелло", "Гостелерадио – Краматорск"? Эвальд Ильенков в одном из писем высказывал предположение, что сама революция – это навязчивая компенсаторная идея, боязнь вечной нехватки космоса (денег). Но мы, конечно, не можем охватить такую тонкую теорию своими обмотками, своими капустными телами, у нас нет шансов прощупать ее ангажированность – как ширину того или иного крепа.

Мой любимый художник Джузеппе Мария Креспи был в душе отчасти разбойник, как Сальватор Роза, хотя и добрый семьянин, как папа Карло. Еще он дружил с Александром Маньяско, который коллекционировал письма художников. Того же Сальватора Розы, Антониса ван Дейка и проч. После смерти Маньяско эта коллекция исчезла. Нечто схожее с Епифанскими иллюзиями или Повестью непогашенной луны.

А в общем, как говорится, спасибо за все – за красную палатку, и за белое солнце пустыни, и за все было очень вкусно, особенно суп напополам с холодной, непогашенной водой, и это белое там и сям, в обводах крепа.

Есть различные причины предводительства ширины – тьма преисподней в их числе. Есть и различные картины скитаний. Ну например: "А вы видели когда-нибудь его улыбку?" Или: "А вы видели, как у него горит?"

Однако есть только один выигрыш – соответствие белизны огню. Несмотря на то, что вероятность выигрыша мала, все настоящие люди должны попробовать. Сложность в том, что сама белизна и выигрыш в ней уже есть условия попытки. Вот и получается слепозмейка, юбка, рукавицы.

Я лично грежу о великом в малом. О белых зигзагах на плювиале священника в "Соборовании" Креспи, о непостижимом белом разводе на спинке кресла в "Портрете Паравичино" Эль Греко. Ведь этого достаточно для спасения? Достаточно. Но его, спасения, не будет? Не будет, не будет.

Я встретил автоматчиков графа Идиота. Или графа Апельсина? Или автоматчиков Идиота, но в апельсиновой роще, как в тех стихах про смерть Федерико Гарсия Лорки? Или: "Прими макароны!" Или: "Брось закат на вентиль. Успокойся, Душегубов!"

Как та тряпочка, рогожка, ветошка, что оставлял дедушка на вентиле газового баллона – чтобы удобнее было его прикручивать.

И опять этот марсельдюшановский мелихиседековский газ. И эти арлекинские полосы.

Давайте уж лучше так: я шел по лесу и встретил автоматчиков графа Нежды. И я упал в переплетения пальмовых корней. И я искал апельсины...

От Севильи до Гранады раздается звон мечей, бьются, бьются наши отряды за тот департамент, за щелочку, в которой "ты мне сказала, я тебе сказал". В которой папа Блащиковский убил маму Блащиковскую в бытовой ссоре в золотой Малопольской роще. А вот папа Левандовский никого не убивал, они с мамой оба были спортсменами. А папа Ляпидевский летит как Горбаневская в золотых разводах туч. А в каждом замке свой устав – бывает, вешают с первой приступочки, бывает – и со второй.

Вам странно мое увлечение мировым яйцом? Вам странно, что по ночам я все еще пробираюсь на окраину города, где у городской стены, среди отбросов и бродячих собак, похоронены Кант и другие? Не говоря уже о риске встретиться с разбойниками.

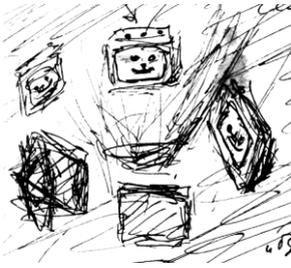
В зависимости от ситуации слова могут выступать знаками освобождения, а могут – и пехотой, ментурой, менопаузой. Коленка, будем смотреть и другие словари! Надо посмотреть все правописания: Молдова, Мылдова, Молдавия и т.д....

Я готовлю пучеглазые замены. Можно заменить собачку контуром делового мальчика. Или вот посмотрите на этого щеголя, который забрался в самую центрифугу и там танцует чарльстон. А собачка тем временем живет в подвале, ее заедают блохи, но все равно она мнит себя югославской беженкой.

А язык воинственный, а язык матери, а язык в поле чистом. Где тут хозяйка, где тут воинственная, где переступаешь-переступить, где тут решеточка, а где – стихи? Эти нагромождения, эти толпы я напишу на алтарной стене, напишу и маленького коленопреклоненного гесиода-просителя, этого ослика с распростертыми руками – напишу в пользу каморок и уровней поднебесных, направляя скотину и корабли к высокому полдню, в пользу сволочь-гречихи, падающей с небес, в пользу "даже не знает, где руки вымыть"... Его кругосветное плаванье, и этот маленький снайпер...

Да, спасибо за все – за самый последний недосоленный суп, за самую паршивую овцу. Я посмотрел в окно, мне показалось, я увидел самых дальних родственников, уже уехавших отсюда – как будто они вышли замуж за какого-то геолога-мещерякова и уехали в Сибирь на дальние промыслы. Это вечное расхождение между Наседкиной и Надеждой. Я не могу этого понять – вроде как отбираешь у себя самого хлеб и отдаешь его советчикам

по культуре, даже придвигаешься к ним поближе своей толстой слоновьей ногой и смотришь на них с одобрением своими маленькими слоновьими глазками. А они в ответ кидают геологические камни тебе в окно: "прислушайся к целому!", "приголубь волосы!" Масляный переплет окна, матовые стекла, мастиковый пол, запах больницы в далеком краю. В дедушках просветленные военные мелодии.



Я опять думаю о картине, которую мог бы созерцать совместно с Кресси. Картина все та же: дети в грозу, забравшиеся под стол. Или дети в лесу разводят костер.

Я думаю о таких вещах как "любовь к службе". Точнее, о самой этой фразе – но вместо нее я вижу лишь пятна белесые. Я думаю о том, носил ли Кресси штаны, или чулки, или гамаша. Я почему-то вспоминаю енотов в Калифорнии, их башки, похожие на конусы, и как они рылись в мусорных баках, а если баки закрыты, то они подходили к тебе дружелюбно и протягивали маленькую черную лапку за куском хлеба. Я думаю о собственных картинах – как своего рода знаках, идеях, координирующих и komponующих мою жизнь *post factum*. Это моя "любовь к службе", и это их "кто правит бал".

Медленно разжигать костер, потом ждать, когда человек разденется и ляжет спать.

Или вот, например, она обещала приходить каждый месяц, становиться на стул и кричать: "Вся жизнь – порывы чувств!"

Или одна картина, когда прислоняешь ее к другой, потом прислоняешь к ним третью.

Или прислоняешь их стенке вагона, или к стулу, банкетке.

Потом они падают, а ты говоришь: "Жизнь!" и разжигаешь костер в лесу.

Ты тут как тут, курица-несушка, твои яйца белые, твои яйца черные. Они играют в калáх в пустыне, они играют с Аллахом между четырьмя сторонами света.

Пикардия, Нормандия, Эльзас или Прованс – и в ваших жилах тоже есть огонь, но матери-пеструшке, когда она входит в транс, всего милее милая Гасконь.

Первые свидетельства связей внутри моих работ – малыши, роздых, отдых.

Вторые свидетельства – окна домов напротив.

А диванчики тут есть? А балкончики? А это уже вопросы на границе, когда меня упекут в богадельню или дурдом. Тут же и фикус будет стоять сбоку – фикус свидетельствующий о том.

"Одесситы – чудные ребята", – поет Хенри Теел. Это финское танго о Черном море и моряках-черноморцах.

Это спуск в глубины inferno или это подъем?

"Что это за мышление, если оно не приносит вреда себе самому?!" – восклицал Делез.

Это мышление, которое упорно стремится к вреду, как к гигантскому изумруду.

"Пока не были подняты решетки, подъемные решетки замка..." – так Богородица сказала, пока ее руки опирались на его терновый венец.

И вот в этом мареве, не в стремлении к изобразительности, а просто отмечая особые точки – концы ее косынки. Или верхнюю точку лба, на границе волос. На переходе от финских морей к Черному морю почти весь промежуток залит сиянием. Хотя его эпицентр существенно смещен к югу – где-то в район Каховки.

"Ты знаешь, я так переживала..." – и это тоже концы ее платка, особые точки, и, отчасти, окна. Он общался с ней на уровне талии, живота. Он уже собирался идти танцевать, даже выпил два сырых яйца для бодрости, но так и остался один откинувшись, а девочки смеялись.

Аналогичное, понятийное, тождественное – они навсегда изгоняются. Только вот как? Через жопу? Пройдет ли понятийное через задний проход? Он не против. Он стоит, кулачки прижавший, и даже пританцовывает слегка. Если звезды слепляются, значит это кому-нибудь нужно. Но пройдут ли сращенные звезды его задним проходом? Пусть он и пританцовывает, кулачки к бокам прижавший. Пусть он даже пританцовывает под "Led Zeppe-lin".

Все, Якова разбудили и отправили в другую комнату. Ведь у нас тут одна плита, одна конфорка, а завтрак надо готовить. А ты почисть зубы пока слегка.

А если Яков сбежит из палатки, найдем ли мы потом Якова в лесу, уткнувшегося в снег?

Яков Один, танцующий у стены, пытающийся высрать Вечное Повторение, его слипшиеся звезды.

Яков Второй – в лесу, уткнувшийся, партизан. Его попросили лишь зубы почистить – а он в партизаны.

А мы идем по лесу, Яков Четвертый, Яков Восьмой – друг за другом ступая след в след, в эту петрушку и это мочало.

- Из гарнира я это сделаю, из гарнира твоего большого!
- Или буду снимать тебя без гарнира!
- Или буду снимать Тебя как Гарнир!

Так кричит мне из какого-то Нью-Йорка бывший концептуалист, а ныне режиссер, – я вижу его очкастое лицо, морщины на лбу в наслоении экранов.

Да, я готов стать комочком и гордо, как фламинго, запихивать голову под крыло, и можно без гарнира, и где-то с краю, как Филиппины, и вышагивать гордо, и просто съешь меня, и всё.

Вот ты рисуешь какого-то человека в шляпе. Потом делаешь вокруг него фон розовым. Потом решаешь, что с краев этот фон должен быть все-таки зеленым. Когда перекрашиваешь, в голове крутится: "Боже мой, как стыдно, стыдно!" Стыдно за что? За фон, за себя, за Россию? За все на свете. Трехэтажной стенке не дано конвертироваться в пятиэтажную, не положено менять ряды окон. И это тоже стыдно? Стыдно, стыдно, братцы, господа, крошки!



Мадридское или прованское? Зубное или постное? В любом случае, нечто скелястое, позвоночное. Так по Небу идут остановленные потоки, по небу Матушки Земли. Непонятно, как люди вообще могли такое допустить, это легкое поглаживающее проведение языка по нёбу, когда, например, взорвано Старо Място. Ведь не взорвали, смогли же отстоять Вену или Прагу.

В замовленьи важен только один вопрос – идут или не идут рядом. Когда, например, я спускаюсь вниз и вижу синьора Козимо Туру прогуливающегося по саду с синьором Франческо дель Коссой. Вся эта книга написана будто под анашей, но с созерцанием ив. И еще с легкой примесью Ворошилова.

Рано или поздно, – но лишь художники мы с тобой.

Рано или поздно, лишь красная ржавчина поведет нас в бой, задняя горловая накипь, нарыв.

Положение жирного кролика определяет движение осла.

Ранец все время куда-то теряется в рамках вечного возобновления сна. Некоторые говорят, что это и есть фашизм. Некоторые – что это всего лишь "фашизация" и ректорская речь о роли университета. Ранец опять падает – на этот раз он падает к ножке кресла. Или к твоей собственной ножке, можно сказать и так. Или к изножью, изголовью. Довольно сложно снимать фильм в институте, где происходит параллельное чествование какого-то фашистского деятеля, особенно если институт твой собственный, и ты его ненавидишь, особенно если он сновиденческий и все время падает в никуда, что твой рюкзак. Надо помнить, что движения трехцветного французского кролика определяют движения осла. И кроме того, надо избежать

сходства Мартина Гитлера с Адольфом Шлингенцифом. Все это очень не просто.

Входит Мальвина с синими волосами. Разбегаются солдаты, их тридцать вторая турма. Ты знаешь, что во сне ты давным-давно потерял рассудок. Вопрос только – не потерял ли ты его и наяву.

Нас бросили из российской Арктики куда-то прямо в Казахстан. Вдобавок, эти бесконечно длинные институтские коридоры. Вот и кабинет, где ты ночевал в предыдущий раз. С него можно было бы начать превращение в деревья.

Кучка детей собралась на урок по геополитике. И опять-таки надо, чтобы это не было похоже на Мартина Гитлера, или Адольфа Шлингенцифа, или Аслана Кадырова, или Рамзана Гайсумова. Ну и дело, ну и горение, ну и задача, ну и противогазы! Прыщики во льду.



Живопись – это закрашивание на плоскости, когда ты делаешь это тихо, спокойно – как жизнь, отважно – как "вприсядку, господа!", и глядишь на это глазами отщепенца-олenenка, и переносишь с места на место, как Кожаный Чулок.

Или можно сказать так:

Люди прошлого – за исключением титанов, гениев – наверное показались бы нам ужасно слабохарактерными, этаким шерсткой, поливаемой потоками дождя. Иногда вспыхивает молния, чума, стробоскоп, революция, но потом они копошатся дальше в своих тонких мокрых лохмотьях.

Только титан Тициан в своей толстой сухой шубе продолжает подкопы под Карла Пятого или Филиппа Второго. Впрочем, потом и над ним вспыхнет молния, чума, стробоскоп, революция.

Кропивницкий или константиновский стоят с разведенными руками, стоят с опущенной головой. Они стоят на тропинке в поле, на обочине поля, на меже. Уж близится все вечер. Да, я все время пишу о такой сетчатой, решетчатой фактуре холста – в противовес более сплошной: турецкой, московской, булочной.

И хребет, и фараон, и решеточка, и пасть льва. Все время у меня так получается. Не знаю, почему. Как-то раз я помог крестьянам купить сеялку, но сеялка наложилась на сеялку в веках народных, и стала сеткой, решеткой, зубами дракона. Я, правда, вычел из нее солнце. Я смотрел на солнце отдельно от крестьян. До сих пор не знаю, хорошо ли это вышло, правильно ли это.

Есть длинная служба, есть и короткая. Есть полковник, и есть муравей. Есть смазка под колесами сеялки. Сеялка на сеялку равно любовь, решеточка.

Землеройка, мышка-норушка в пажитях вечности. Мышка-наружка в жилетке = мы все народ, один народ (ой-ли?).

Равнодушно отметим всеобщую риторику. Равнодушно качнем усами, подмигнем в сторону: "А все равно ведь красиво получилось!"

Флажки, которыми сигнализируют о положении вне игры, никто не отменял. Только почему-то все машут ими радостно и за воротами.

Они уже объехали все мастерские – и дурака-прерафаэлиты, и шарлатана-немца. Они уже солнце садится в песок, в облака, в красную нить, решеточка, и будь ты прекрасен!

На вопрос о том, что случится, если рядом с Моисеем убить турецкого посланника, отвечают по-разному.

Одни говорят, что люди всегда одинаковы – различны и одинаковы. Другие вспоминают, что люди сначала жили в шатрах, а потом уже стали жить на бумаге.

Легко растаял, легко летел вниз, в атмосферу земли, как букет, даже не мог удариться о какой-нибудь там выступ или штангу.

И все равно, королева внизу сказала, что хочет достойно принять эту тварь дрожащую. Принять у себя на коленях, как Ван Гога, или у себя на коленях, как в 20-е годы.

Я знаю, у живописи и у современного искусства осталось всего несколько точек соприкосновения: точка голосования, точка высоко поднятой любви, ну и еще, может быть, точка бедра кураторши, особенно когда она в брюках.

Я зачастую презирал таких – умных, преданных, от сути стойких, напоминающих топор или Сельвинского. Я давно уже не могу без паузы, и двойка – единственное, во что я жажду проникнуть.

Это как слова царя на подоконнике. Это вонючая лебеда как песнь.

Так что, если Бог начнет к тебе подкатывать со своим черным кругом дряблым, скажи ему просто: "Не знаю! Не знаю, где такой круг есть, и вообще не уверен – может, это офорт или копия".

Поезд или трамвай падают в пропасти во ржи. Я люблю заходить в парадные – мне нравятся красноватые блики через световые фонари, напоминающие времена Большого, Среднего и Малого террора. Или даже мое детство во времена Косыгина.

"Исходя из обуславливающих сил" – на четверть инородных, на четверть – пряхи.

Выходя на берег океана, он так гривуазно топчет волны, а они кричат ему: "Фотоаппарат! Ты же фотик свой забыл!"

Или выходя на пустошь бывшего Шестого округа в Кейптауне, а они идут за ним, норовя вырвать фотоаппарат из рук.

Или выходя прямо в заросли, пробираясь, а там уже некому крикнуть, лишь разинутым ртом, как окуляром-рыбкой, поводя туда-сюда, без фокуса, и без конца, и без начала.

Эти головы, опущенные на нас откуда-то сверху, облизывающиеся, пахнущие слезами, как ветки...

Как дед Мазай, стоящие на коленях.

Прочухиваешь?

Мы чухаемся, мы прочухиваем поползновения.

Все проходит быстро, как Средневековье.

Почему так? Вопросы не к нам, вопросы к студии грамзаписи. Вопросы к хроникам, к Паралипоменону.

Вот так-то.

Я учился живописи у ополченца. Чуть выше среднего роста, в туфлях без задников, когда он подымался по стремянке, чтобы достать верхний край картины, то напоминал какого-то дервиша.

Или когда он нервничая, прихрамывая шагал по тротуару.

И когда подмешивал красную краску, чтобы написать этот самый тротуар.

И когда: "сукины дети! вот сукины дети!" – он говорил.



Правила жизни:

Каждая пешка начинает свой путь с тем же Богом, с которым она боролась.

Жизнь есть длинная. Наипочетнейшее и наиполезнейшее – визиты в другие страны.

Иногда приходится на четвереньках. Со своими богами или с чужими странами.

Если страна твоя Рашка – это безнадежка. Встать – не встанешь, и плюнуть – не плюнешь. Это вечная

свадьба Кречинского.

Если другие страны – это как Финист Ясный Сокол. Береги его голубиное яйцо.

О, мой раздвоенный язык!

Каждая пешка, если будет продолжать свой путь, станет Расщелиной. Если не будет продолжать – станет Ферзем (барыней). Боги, с которыми она боролась, станут Богами. Или капустой.

Не стоит бояться – вороном ли, грачом, всегда найдешь пропитание в пажитях жизни. Если, конечно, задранные колени, истертые – а без этого никак.

Люби трубу, люби и зной.

Люби в затыг, и будь жидяра, низовой.

Но когда Расщелина перемещается на всех двух своих ногах, это круто. И даже Боги, косясь, посторониваются и дают ей дорогу.

Позволю себе напомнить – Фабио или Деметрио, если их правильно освещает истинный мастер, становятся объемными. Но при еще более правильном освещении они обратятся в скорлупки.

Присядь, голубчик, без тебя разберемся. Можешь даже присесть Понтием Пилатом в Риме в тени кипарисов.

Но в следующий раз уж попытайся, настрой фрагменты, чтобы не ползли они змеями по Пушкинской, не свивались лаокоонами у Оперного театра, и чтобы тебе не пеняли за предательство и "вату".

Получать прибыль за счет забвения или за счет памяти? Я так и не узнал.

Знаю только вихри, кругляши и стрелки, что бушуют над головой коня.

Или, например, ясный, размечивающий взгляд из глубины мозга, который вынули из человека, и промыли в ведре, и положили, положили.

Будешь упорствовать, голова закончится, и лайнсмен поднимет флажок, а поле все равно не заканчивается.

Хотя есть, например, панорамные снимки улиц ночного Киева. Курнули все тогда. И дочь с отцом.

А изгиб музыки Моцарта подобный луковице.

И все-таки, согласитесь, мы будем гнать всегда негодяев и трусов.

Будто всегда надо выйти на паперть – ну а дальше пусть будет зной.

Иногда за принцем бежать себе разрешал – судя по температуре.

Кое-что снимал с подрамников, кое-что перерисовывал или отдавал галеристу. Эх, было время, листва, листва!

Мучаются все, мучаются – отдергивая занавес, задерживая занавес, – а директор школы с обеих сторон занавеса.

Я прохожу вестибюлем, там какие-то витражи с пионерами, я выхожу на крыльцо, мой взгляд простирается вдаль, аж до Куликова поля, где сорок лет спустя под крики "фашисты! фашисты!" они будут жечь друг друга по обеим сторонам занавеса.

Иннокентий X кричит за занавесом, зной золотой стоит над Привозом. А я по-прежнему, прихрамывая, пытаюсь догнать принца.

Никакой ответственности за наше больное и за наше здоровое. Я всюду вижу – только какие-то свертки, рулетики лежат. Или страшный травяной разрыв: в инвалидном кресле, оно даже сквозь дверь не проходит, а вдали пуанты.

Некоторые, впрочем, говорят, что уже заканчивается второй тайм, и надо



разве что загибать края и разглаживать. Не знаю, я предпочитаю рвать когти.

В боевом качестве у нас тут не принято. В зубодробительном качестве гимнастерки принято. Что остается в остатке? Ну те, кто закладывает края – они закладывают их без морщинок. Остальным – выбитые зубы, валяющиеся на земле, как корешки или рюлетки.

А я вот пишу серафима, распластанного всеми своими шестью крыльями и хребтиной. Воображаю, что десятки языков придут поклониться такому серафиму. Но никто, конечно, не придет, хоть растяни его на главной площади.

А я все прыгаю взад-вперед, пытаюсь свести концы с концами, а коляска не проходит в дверь, а пуанты не видны в траве, а завитки, а узелки, и на веревочке, и держат дверь.

Хотя ведь и функционеры – они тоже разрывы переживают: о важном, о неважном, об ай-яй-яй.

Было ли что-то, не было – но поток сознания несся на него сверху: "а ты покочай, а ты попользуйся!" – ему кричали, и сбрасывали сверху топоры, и пилы, и прочие нужные ему приспособления. ("Песня о Робинзоне")

И человек дергается, и все равно он хочет идти добровольцем в этом мире полосчатом. И он относится к миру нормальной жизни примерно как парик Людовика XIV относится к пустой бутылке. Правда, скажем прямо, муравьишка, разве можешь ты отличить в темноте пустую пивную бутылку от завитков Людовика XIV?! И не покажется ли тебе все это на ощупь кремлевскими зубцами?

Так вбил он абрис манерно, оттиснул на коже, в голове его все еще по-лыхало ушедшее СССР, песня палатки. Золотая заплатка восходила над морем.

Так пышно, так невообразимо – две колесницы, столкнувшиеся лбами. И еще я вижу где-то рядом, слева, мальчика стоящего, в синем пальто. Я все помню, помню, я все работаю над этой комбинацией. Крест-накрест оглобли колесниц или самоходка в лесу прифронтовом.

Я грелся у печки и тут же брился.

Все мы знаем – тренеров нет. Но разве мы можем прекратить игру, просто положив раскрытую книгу страницами вниз?! Нет, мы не можем так прекратить игру.

Это так же невозможно, как прекратить подбивать ногами опавшие листья. Слышишь ли, мальчик в синем пальто?! Я не знаю, на дворе еще ясный октябрь, или уже туманный ноябрь – но прекратить это невозможно.

Две пластины неведомого металла прикреплены к моим щекам. В них сходятся луны с морями и сказания с картинами.

Каждый фон – это память о прошлом, на одном берегу с "наилучшим", и приношение будущему. Каждый фон не политик, не теоретик – глупое офицерье. В лучшем случае, Пржевальский.

Позволь, Солнце, позволь задать тебе три главных вопроса, хоть и не Фредерик Гарсия Лорка я.

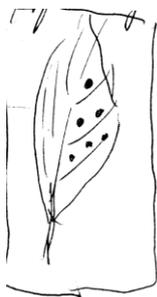
Где канвой своей вышитой ты гуляешь на свадьбе?

Где оборвышами ленточными рушишься в море?

Где твои бока?

Уж прости меня за эти вопросы-мотоциклетки. Каждый фон – одиночество между прошлым и будущим, но не держись за этот миг, а, наоборот, падай в сироп или блевотину, жуй апельсинную цедру, зеленые сопли, проваливаясь, маши руками, так бы я хотел это понимать. Засранный Македонский.

Пусть где-то стоит один. Пусть его никто не видит. Пусть задают ему вопросы, на которые никто не может ответить. В самом деле, фон – это как вопрос к Чаушеску про Холокост. Ну что может сказать Чаушеску про Холокост?! Он про него ничего не знает. Он занят Движением Неприсоединения. Он улыбается смущенно. Он и про себя ничего не знает. Это мы лишь знаем – так и глядим на каждый фон как на белый платочек в нагрудном кармане Чаушеску.



Ниши наши расположены таким образом, что это всегда решеточки, классы, мерзкая игра, идущая еще от египтян. Обычно там отпечатки ступней, в этих расчерченных квадратах, иногда там кружки, шарики, чередование их, белых и черных, или белых и красных.

Нет, конечно, нельзя выбрасывать божьих коровок на эту расчерченность – она и так уже раскалена, шипит. Но вот перекрестья зачастую обвиты лавром или какой-нибудь другой флорой.

Я гляжу в нее как в телевизор. Нет, наоборот, я гляжу в телевизор как в эту высококлассную решеточку, и даже гроза не может ее разрушить. Футбол и выпивка могут. А в остальное время мы просто ходим вокруг нее и поем: "гляжусь в озера синие..."

– Пророк, я тебе не мерзкая тварь!

– А другие предложения будут?

А он только пришел из армии.

Или он только очнулся из состояния клинической смерти, и теперь ему надо изо всех сил вращать зрачками – если он, конечно, хочет восстановиться.

Или стол – чудесная дедушкина работа.

– А ты мог бы соврать, Том?

– Ну если не под присягой, а так, заодно с Гекельберри Финном.

Плащ пришел в негодность. Отцу моему понадобилось отдать полкорольства, чтобы начать лечиться.

Сергей Галковский: черное озеро.

Сергей Галеев: черное озеро.

Беги, малыш, беги! Я ведь уже сам не знаю, что мне делать с этими застывшими черными озерами, на которые всё продолжают сыпать какие-то крошки.

Я хотел бы понять разницу между "убит" и "печален". Я хотел бы понять ее навсегда – а не так чтобы вплетать розовые ленточки в гривы лошадей, чтобы опять и опять во дворе был Хорасан или Моисеевна. Я не хочу больше запрягать лошадей под мостом, кивая и нашим и вашим. Я устал уже запрягать колесницы, которые никуда не едут, но делать вид, что это колесницы, лизать травинки под мостом, подлизывать Юпитеру.

Но если все это исчезнет, то как же мне быть под мостом, где Днепр и тетья Рива, и я под мостом?!

Я не за ревность, не за право, не за какую-то там пядь земли, но за вечное склонение под мостом.

Отмели – Омеляненько, кастеты в снегу – отметелен, и можешь ли ты за что-то поручиться, кроме отмели под мостом?!

Мой разброс настолько велик, что порой я чувствую себя осьминогом раскинувшимся.

Подумаешь, "что скажут врачи"!

Как язычки газового пламени.

Как язычки Красной армии, выучившейся в Сорбонне.

Он портил Майкла Джордана, он портил Спартак, раскинувшись.

В узком розовом кровавом слое.

Крики "Опять!", крики "Володя!", крики "раскинувшись!"



В одной корзине с маршалом Мак-Шапочниковым и маршалом Мак-Магоном. Корзину поднимают на крепостные стены.

Равновесие! Уместность! Мы все ищем их. Вписанность в овалы, или квадраты, или по краям.

Единственная угроза – моя склонность к шутливости. Ну это не самая страшная угроза. Я просто знаю, что нельзя оставлять ручей, он ведь навсегда и навеки.

А если падение со стены или внезапный приступ в кабине?! Крутые переговоры с обществом тебе еще предстоят, крутые веки, крутые города. Она придет, будет смотреть на картины, но не скажет ни слова. Я тоже буду смотреть на эти картины, эти фигуры – Мак-Шапочников и Мак-Магон – то ли черти в корзинах, то ли духи-помощники, то ли просто нагромождения, блики. И пойдешь прочь, и будь ты отважен.

Язык четвертной – он хороший, пусть ты и бездельничаешь.

Язык четвертной – выгнутая спина тигра. Облака.

Пусть и не привык ты вставать рано, но сразу начинаешь смешивать красное с белым для получения розового – и так до самого края отчизны, ее кортика. Язык четвертной, он где-то рядом, он полосатый.

Божбой или демонстрацией (митингом). Пусть надо договариваться с ЖЭКом или с Карелией.

Или та молосская ночь, когда, наконец, прибыл грузовик со всеми вещами и с твоей семьей.

Щеколды отброшены. Я долгое время не знал, как это делается, но потом получил пару уроков-уколов, и теперь вот щеколды отброшены и даже дверные ручки свернуты в сторону. Я думаю, всю южную часть Сибири, охваченной огнем и крестьянскими мечами, захватит в свое время Китай. И даже наше мерцающее знакомство, и когда ты бросаешься ко мне на плечи – это язык четвертной, голубка.

Уже не очкарик, но старик-мушкетер, когда он становится просто пятном, клоком цветущего куста. Одиссей маячит в коридоре.

Язык в коридоре как язык – тигр.



Четверица коней Земли и Неба. Должен ли я бить четверицу стылых коней, когда осень?

Вот эта мания к ставкам. Вот эти маленькие расписные авоськи.

Надо ехать... – но куда? Уж не знаешь, что и просить. Наклоняешь голову, будто от стыда, или богу душу отдать, или все-таки надеяться съездить в Украину.

Или сразу начать писать: "Ага, телефончик?!"

Или разрезаешь страницу на узкие полоски: "Мохаммед! Аллах!"

Вот она соскакивает с крыльца, уже надев коньки – мне такое никогда не удавалось.

Но "довинкат! довинкат! эвери синк олрайт!" – такой я слышу голос сверху. Это значит: пиши, не пиши, режь на полоски, скручивай их, скручивай вбок – всё будет как ее кудрявый прыжок с крыльца, и уже на коньках. И пиши, не пиши – это будет как голос из радио, графленные страницы, мешочки с солью, подвязанные к гриве коня.

Угадайка, безнадежка, солонка и четверица – вскачь или на четвереньках.

Или "та-ра-ры-та-ра-ры-чернят" – я разрежу гексаграммы, я сдвину их вбок, так что прорези будут уже не по центру, а черточки слева длиннее, справа – короче. И "та-ра-ра-та-ра-ра-чернят" – загнутые полозья коньков, мешочки с солью, авоськи.

О, прыгай с крыльца, радость моя! Дылда моя! Пусть и не ко мне в объятия – в рай, пекло, масло, молоко. Я буду просто где-то рядом, тренером или орденосцем, в сапогах, в молоке шестого ряда.

И сколько мрака, сколько ужаса, сколько тоски проходило. Белая Криница промелькнула как велосипед. Который ничего не объясняет и сам несется:

Не успеешь родиться, как успеешь родиться, как успеешь родиться нау!

Широким прыжком, широким мазком.

И когда встретишься с Одисеем, вряд ли это что-то изменит – Телемак отойдет от пещеры, ступая бесшумно.

Что представляет собой этот особый вырост, особый тип снега, я не знаю. Наверное надо чаще смотреть передачу "Очевидное – невероятное", а также передачи "Затаенное – сомнение" и "Сожаление – вздох".

Милейшая Марья Васильевна всю жизнь изготавливала фоны. По утрам каждый художник шел к ней получить свой фон. Он стоял, в ожидании прислонясь к притолоке, пока она ему готовила его фон. Некоторые готовы были ждать, даже стоя на одной ноге.

Старуха пробивала каждый фон как день: пасмурный, или весенний, или когда идешь в школу.

[Фон Фрэнсиса Бэкона – фон столетнего носорога, или "плохой чувак"]

[Фон "светлая память" – когда берут мастихин и счищают мозжечок]

[Фон – он обрушился на бедных родственников, которые живут в Кисловодске, он выкинул их вещи на улицу]

[Фон – Елена Костюкович (Умберто Эко)]

И еще, я думаю: если сделать фон красным – легионер, ломбард, и набросать поверх него фигуру в шлеме розовым – римлянин, Лермонтов, то не каждый был бы способен пройти этот фон от края и до края.

Скорее – пусть это будет главный сюрприз!

Маленькая черная дыра на ниточке в конфигурации с большой Черной дырой.

Она открывает возможность искусства.

Или: "она открывает парадигму концептуальных вариантов", как написали бы в старом добром журнале "А-Я".

Или: "оно открывает спектр любовного бормотания", – как сказал бы какой-нибудь физик-лирик. А, может быть, даже сам Ролан Барт так сказал бы.

К примеру, он стоял у окна и два кубка в руках держал. Представляешь?!

Мы дружили, мы дружили... Как тот бобик с болонкой. Как белая метель с порошей. Образ пугающий.

Я долго путался: поставить в угол комнаты бабушкину кровать или книжный шкафчик? Значит, бабушка будет спать стоя?!

Ну да, а почему бы и нет – как первый снег, неотличимый от последнего в системе Большой маленькой дыры.

Сидеть нога за ногу, или спать стоямя, или бабушка, бобик, болонка, снег, снег.

О, книжный знак! О, экслибрис! О, супермен! О, камень-ракушечник!

Они все еще там. Но ничего не могут сказать.

Революцию будем делать?

Как припудрить, как промокнуть.

Они все еще там, стоямя в своих кроватях.

Очень скоро этому веку, несмотря на весь его стоицизм, пришлось уйти.

Дед начал кричать. Скорчившись у очага, он все больше походил на нарисованного. А нарисованный плоский образ, особенно если на бумаге, походит на арестованного.

В некоторых областях они также похожи на суп.

А соседи – разведчики.

А сон – колодец.

А вокруг колодца цветы колдовские – но нарисованные не на бумаге, а, скажем, выбитые на эмблеме на берете.

И все равно – загребущее внимание. Вот спросите его: кто была та девочка, из какой она была области, судя по акценту? Так он не знает ни слова, ни стиля, в котором та девочка нарисована. А все равно пялится на нее в электричке.

Уходят потоки, уходят пейзажи за окнами поезда. Но некоторые вещи мы еще можем для себя сохранить. Некий "мыс канаверал, корабль дискавери", он всегда падает сбоку. И сбоку мы сами всегда сидим по отношению к очагу.

А потом можно воздвигнуть два божества своих: слева – пень, покрытый скатертью, над пнем метель, а справа – просто маленькая белая стрелка.

Что-то нарисовано, что-то написано... И так было на протяжении восьми лет "московского концептуализма", а, может, и всех пятнадцати. Ставишь какую-то закорючку и пишешь под ней: "Небо", а дальше, как говорится,



разбирайтесь сами. Садитесь в свои ментальные сани, и вперед по Питерской, по Тверской. А у кого нет таких саней, садитесь на трамвай, конечная остановка на Тираспольской площади.

Решеточка неба, коленчики неба, зверушки.

Потом, правда, надоедает подменять Небо блеющими зверушками, санным визгом, трамвайным тщеславием. Выходишь на охоту. Но и это еще не все, это лишь промежуточно, межеумочно. Потом сам становишься тем, за которым охотятся: здесь Родос, здесь прорубь, и ты тюлень.

Что, мать, хочется на меня махнуть рукой?!

Маши, маши, только не семафорной!

У меня нет ни микстуры, ни диктатуры. Я по-прежнему пою все время "далекие провода, близкие провода", но вот уж ставить Небу крючки я не буду, не буду.

Если выстроить всех на поле и изучать теорию вероятностей: то один упадет, то другой. Но разница в дождях, поливающих это поле.

Если сделать гитару в память о Леше Музыченко, а потом класть ее на мокрое поле – то класть, то поднимать – и смотреть, в какой последовательности будут лопаться струны...

Если учитель входит в класс, смотреть, в какой последовательности будут изменяться шаги его, в какой момент ему понадобится приставной полу-шажок, через порог, темный барьер, зайчик неминуемости.

– Солнечное затмение сегодня! – я ворвался домой. – Давай смотреть скорее солнечное затмение!"

– Да, но я не приготовила специальных очков!

– О господи, какие там еще очки?! У нас есть старые рентгеновские снимки? Давай их сюда!

И мы смотрели солнечное затмение через рентгеновские снимки, увидели корону и все что полагалось увидеть – кажется, это был последний раз, когда моя находчивость спасла нашу семейную жизнь.

Выходя в поля, всегда воображай солдат, один за другим падающих в этих полях. Такой дар наверное был у Мандельштама.

Эти темные барьеры, эти воловьих жилы, струны – то ставишь ее стоймя, то бросаешь навзничь – они все равно намокнут, будут лопаться одна за другой, этот свет солнца через рентгеновский снимок, серо-оранжевый, приставные шаги в младших классах, раскисшие поля, один фильм, другой, третий – теория вероятностей все равно будет играть против тебя, поэтому можешь не обращать на нее внимания.

Все они крутые ребята. Они могут смотреть на солнце сколько потребуется. Они могут протянуть лиловые пятки к огню – пусть лезет кожа, явив

миру мускулистый орнамент лоскутный. Вздох застревает в груди, мозг вырывается наружу в районе Калифорнии. Будем бить себя в грудь, в солнечном, огненном ритме, на шестьдесят девятом на шоссе.



Возможно я являюсь потомком какого-то иерусалимского полковника и среднестатистической Ванды Владимировны.

Могу представить, как он нежился с этой уточкой в своем поместье над озером.

Если она вывезена, скажем, из Польши.

Или, скажем, Зульфийи Абрамовны – если она вывезена из Средней Азии.

Но по существу важен лишь этот промежуток до моего рождения, неухватываемый вздох-прохвост. В нем исчезает и тот "иерусалимский полковник", у которого не могло быть ни усадьбы, ни озера. И тем более, все Ариадны Ивановны и Леды Васильевны...

Теперь я просто плетусь рядом с ними, старый, шаркающий, подол рубахи выбился из штанов, что-то чмокаю про Ванду Васильевну.

– Влопался! Влопался! – такой я слышу крик, относящийся то ли ко мне персонально, то ли ко всем нам вместе. Но в тот же момент уютные черные бакенбарды стремительно начинают расти вдоль щек моих, и вот они уже окружают все лицо этакой рамкой, фаюмским портретом

Ну что же, теперь безусловно стало легче слушать и говорить про Ванду Ивановну. Вот видишь, никогда не надо стесняться стать даже Аленьким Цветочком и его Чудовищем. Фаюмским или труновым портретом.

– Нет, этого члена не считать! – говорит вдруг тетя Джейми, надзирательница. – Это невозможно понять! Он даже не склоняется! Он не в списке!

Черт возьми, как раз в тот момент, когда мы начали что-то совместно обсуждать, приблизились в понимании друг к другу на четверть. Ладно, тетя Джейми, старая ты пидорка – не считается, так не считается – будем дальше думать о дворце над озером в черной рамке бакенбард. Вот разве что не будет больше барабанщиков.

Я напишу поэму о жизни, я напишу ее от бедер до пят. Очень возможно, я даже прочту ее сегодня вечером в каком-то клубе. Вот только не знаю, нужно ли мне самому сгибать ноги, когда читаешь.

Их политическая мысль состояла из операций бесконечного додумывания, например: "за...", "запад...", "засовывание...", "Калифорния...", и т.п. Эти додумывания высились над ними подобно японским ширмам, только неказистым, вроде как из гофрокартона – их не повесят в богатых домах или галереях, зато они обладают всей последовательностью памяти. Они

Перл-Харбор. Они одна, всегда дальняя улица, скругляющаяся в конце циферблатом, на который мы не можем взглянуть. Крики: "Делай как я! Физзарядка!" – а члены-то давно отрублены.

Консистенция додумывания для консистенции среды, что нас растила. Получается замкнутый круг. И все равно из нас вырастают малолетние преступники. И мы разбегаемся в полях. Грозные картонные ширмы нависают над нами. О да, "за..." – в полях, засовывать, Калифорния, Перл-Харбор, клочки по закоулочкам.

Никто никогда не заставлял художника Савельева (Васильева) над чем-то особо размышляющим. Однажды, впрочем, он признался мне, что готовит картину о переходе через Готардский перевал. Более того, он сам собирался пройти потом через Готардский перевал пешком с помощью этой картины, неся ее перед собой. Я, конечно, очень захотел посмотреть наброски. Тогда Савельев показал мне контуры огромного возвышающегося петуха. Я так обомлел, что даже не помню: он был нарисован на холсте или вырезан из какого-то гофрокартона.

– И это все!?

– Да, все! Я размышляю над этим, – сказал Савельев.

Это материалы таскать туда-сюда. Ветку рябины писать как таскать корову из пруда.

Это бес вселился. Это бес крутится под куполом Музея Изобразительных искусств им. Пушкина. Ярко разлагаются цветковые единицы. Ярко расходятся на невообразимые расстояния точки, находящиеся по широте не так уж далеко друг от друга, как в проекции Меркатора. В такой проекции Россия выглядит особенно внушительно. А иногда, наоборот, сближается то, что не имеет друг к другу никакого отношения – вроде директора Антоновой и мятежа Антонова.

Я плелся туда, в музей Антоновой, после института, голодный, в этой скаженной ледяной Москве. Вперялся там в "Красные виноградники Арля" или "Королеву Изабо", страдал, вздыхал, мучаясь неприкаянностью и безнадегой. Сорок лет спустя опять рисовал красные кружки винограда или рябины. С черными точечками завязей. Даже с выгодой продал одну из этих картин старому, выжившему из ума польскому коллекционеру.

Это бес, кружащийся в пространстве (и во времени) – коль скоро мы начинаем говорить об искусстве. Его купол неизмерим: от одного сердечного вздоха – до Антонова-Антоновой, или, скажем, до Максима Кантора, полубеса, или до всех прочих жителей земли.

Хорошо известны ее сентенции, ее упражнения, но мало кто решается их повторить. Они подобны разрыву лука выгнутого, когда лук все-таки продолжает существовать. Его концы, как молящие руки, направлены вверх к куполу цирка. Она писала стихи, на русском и на польском, где разрывы

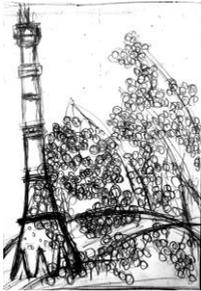
внутри строк, уже обращенные горизонтально, параллельно земле, кажутся дулами пулеметов. Мария-наездница, Мария-гоп-ля, Мария-шлепок-в-опилки. Пей-до-дна, пей-до-дна, станешь клоуном в балахоне, станешь Пятницей.

У пожарных не было иного пути к лону электричества в нашем переулке, они пытались прорваться напрямик, трое пожарных погибло.

Из этой коробки, из этого пеплопраха выскакивает мальчик-найденш с вытянутыми руками и устремляется в сторону ложи, трибуны, публики.

Не помню, плохо помню... 1917 год...

Цветок, прыжок, паровоз.



Рябина в Останкино.

Ты можешь понять этот договор?! Он значит, что все возможно? Что я могу войти, например, и изнаsilовать тебя. Или, напротив, подарить тебе библиотеку.

Неужели ты готова принять этот разрывный договор? Разрывающий внимание королевы. Разрывающий черные уголки глаз ее.

Но поскольку есть еще и король, помогающий бедным, все зависит в каком-то смысле лишь от тех философов, которых ты читала и продолжаешь читать.

Я лично читаю только Хайдеггера и Делеза.

Звук открываемой двери, писк, засов...

Неужели это пожарные все-таки прорвались к лону электричества?

Под куполом цирка ли, под ветвями – храните свою агрессивную озабоченность, народы Востока.

Храните загиб волны – те, кто пришел с Моря.

Храните память о тех, кого забирают из дому, и возвращают уже калеками.

Храните все это, и пусть будет стыдно русским пидорасам.

Это гроздь краски засохшей, что свисают с краев холста. Я сжимаю их пальцами как ягоды. Эти цвета – фиолетовый, винный, сливовый. Соси, соси! Или потом прикоснуться к тонким стеблям – их можно сложить вплотную, на манер циновки или плота. Или острие иглы, когда продеваешь его в ушко другой иглы.

Я работал в церкви, прямо перед алтарем. Церковь была всегда открыта, но там никогда никого не было, и службы не проводились, так что я приходил туда после института, никого не спрашивая, и спокойно работал. Как-то, помню, затеял одну деликатную инсталляцию: склеенные веточки винограда должны были стоять на столе, поддерживаемые нитяными растяжками. Долго бился – веточки все падали, потом вроде нашел решение, но

было уже поздно заканчивать, оставил как есть. Когда пришел на следующий день – смотрю, в церкви отпевание, народу всего пару человек, но столика моего уже нет, конечно. Отстоял службу, бросил монетку в кружку, потом переборол смущение и подошел к тетке-уборщице:

– Вот, дескать, веточки мои вы выкинули наверное?

– Ой-ой, а я и не знала!

– Ничего, ничего, это я сам виноват, пойду поищу в мусорнике на заднем дворе.

Они и в самом деле были там, склеенные, клей держится еще, только нитки оборваны. Ладно, не беда – принцип я теперь знаю. Можно забрать домой и сделать по новой. Тут как раз пошел прекрасный летний вечерний дождь. Я сел со своими веточками на скамейку под навесом, там же на заднем дворе, и умиротворенно курил, глядя в пространство.



Мне нравятся так называемые "грязные цвета" – они всегда как в походе, их участь еще не решена, у них нет славы. Как если бы ты читал "Божественную комедию" только ради того, чтобы поскорей добраться до финального "звезды, звезды", а остальное – мусор: погреб, хата, подол. Они не Балконский – красивый и честный. Они цыгане в сумерках. "Я тоже неплохо зарабатываю", – шушукаются между собой грязные цвета. Они всегда шушукаются, как евреи в Советском Союзе. Да, лучше уж быть таким грязным – коричневым, серым и в крапинках, чем каким-нибудь кислотным и алым Бумбарашем.

И вы не знаете, какое это чудо, когда серый и грязно-розовый овладевают гривами лошадей – они отпускают на волю всех лошадей, и мы несемся вскачь по улицам или просто, задумавшись, глядим на сосны в парке.

Я многое хотел бы поменять здесь. Да, многие сочтут ее портрет слишком утопическим.

Была в нем такая северная мягкость, блеклость – в духе Хелены Шерфбек, но когда она переходит в неясное свечение лишь нескольких абстрактных пятен, в чистое свечение ее платка.

Возможно это происходило, возможно и нет. Возможно две команды просто бегали по полю друг за другом. Возможно в который уже раз играло то нестерпимое финское танго. Когда переживаешь крушение всех надежд, и остается только отблеск ее платка, и все равно поешь "Береги свой платок, Татьяна!"

Возможно в этот момент, на какой-то момент, ты меняешься местами с Богом.

– Не есть ли живопись всегда такой момент? – высунулся муравей.

Ну конечно, конечно.

У него, по-видимому, уже нет ни удовлетворения, ни возбуждения. Он просто продолжает говорить издали, как ребенок, шут или еврей.

– Не есть ли это воплощение живописи? – ввернула колодка.

Неважно, неважно. Все равно ведь потом напишут: "умер в партизанской часовне".

Колядка, кочерга, коричневый отблеск ее платка.

Орел, губка, Наф-Наф, Ну погоди.

"Современный писатель должен видеть мир во всей его цельности".

Или: "современный писатель должен писать так, чтобы по книге можно было снять фильм".

Или: "твои семейные связи тоже не дремлют".

Или вот оно, самое лучшее: "Козленочком станешь! Козленочком станешь!"

Давай! Я хотел бы это узнать. В границах, отпущенных мне природой. Я хотел бы закрыть, забросать это попугайное кольцо, забросать его тряпками, вчерашним снегом. Чтобы было "как в жизни".

Скот придется прирезать. Все равно его не спасти. Зато все будет готово к наступлению.

А за цыганами выслали погоню.

А баня будет готова к наступлению. *Così fan tutte*.

Он тоже ходил посмотреть. Или готовил краски на следующую неделю. Готовил наступление.

"Песнь песней" через газетную полосу. Так мы поем на краю отчаянья, на краю бездны.

Или кричим в свернутый из газеты рупор.

И все равно сидим на попугайном конце правды.

Извечная дебелая авария? Вступиться? Я не думаю, что есть возможность вступиться. Я просил бы у судьбы хоть одно настоящее интервью – с судьбой, с самолетом, пролетающим над вершинами греческих гор, с языками снега, со снегом, на который опрокинуто вино. Но кто же мне даст такое интервью?!

Молчит сегодня поток сознания, как кабаненок дикий, только высунул язык.

"Чем обижаться да искать, лучше отпусти ты его сегодня, – учительница сказала, – отпусти его в ритме речи".

Я испугался: ну а что если друг мой сейчас в России?! Не подведу ли его, отпустив поток сознания – в ритме ступы, в стиле Сатуновского?



"Нет, это же просто поток сознания! Да отпусти ты его, как бутсой по мячу вдаряешь", – так учительница сказала.

Будто остановка Христа на пути к женщине. Будто каганат на небе светит, а поляки смеются.

Будто раз – история, два – история, три – судьба.

О, великолепное лето. О, разрешение номер девять.  
О, улыбка, укол, лес!

А что тебе судьба?! В ней все едино – Рембрандт или расческа. Как девушка в лесу присаживается – ловко или не ловко, все равно струей обдаты муравьи, как страной своей, как родиной широкой. По низинам копится туман, по библиотекам – книги. Клоун выставляет морду: круглую, щербатую, небритую. Мы пойдем на попятную, не пойдем на попятную? Может, ты просто оденешь чулки, и мы пойдем тогда в низину у реки?

Тяжело подойти к двоим – слишком поздно, восемь а ля плюс.

Если разъединить, подойти легче. Но как же их разъединить, эти кляксы, два пятна похожие?! Какою жидкостью полить, какой буханкой подольститься? Какой эссенцией винной или в волосах? Какой улицей, каким городом? Каким заливом? О, мой лазурный берег, бережок, акуля кромка! О, мои годы – пятьдесят восемь а ля плюс.

Некто умирающий от маразма говорит, что каждый день он думает... Думает то, думает сё ... Как должны мы относиться к его высказываниям? Не есть ли это всего лишь арбуз ненаполненный?

Или честь отсутствующая, когда она прикрывается козырьком фуражки?

Или будто у тебя козел, апельсин в голове, с которым ты не знаешь, что делать.

Я вижу как Андрей, в коротких штанишках, кружится на детском утреннике, это еще там у них в Петсамо. А потом слышится звук – такой негромкий, но металлический, как вздох, или как ведро стучается о борт колодца, и все замолкает. А вот, исчезает ли оно – не могу разобрать.

Статус его возникновения, видения неполон.

Зайцы со скуки уже взяли топоры – впрочем, так было всегда, еще от начала времен. А вот статус возникновения, видения, он так и остался неполным.

Изнанка сладких огромных грудей Венеры – это театр, там ложи и пыль разговоров. Пьесы поначалу кажутся разными, но потом сводятся ко все тому же – немного любви, немного честолюбия.

Сначала ее выкупили и дали ей один бубенчик, в знак выкупа, потом навесили второй, чтобы не потерялась, а потом – и все три, как знак причастности к исчезновению и забвению.

Я был в шоке от этой песни. Нет, точнее сказать, шок у меня ко всему миру относился, когда я слышал эту песню Оззи Осборна. Или даже нет, не так – будто я-один говорил себе-другому о шоке от наступающего мира. От Индии, которой нет. Будто одно за-поворотом говорит другому за-поворотом, что там должна быть Индия, но ее нет.

Я даже не знал, за что мне хвататься – за стул или за печку. "О, если бы ты был холоден или горяч". Мир-то горяч – солома, сталь, колеса, но за что ухватиться? Поскольку мир передает эстафету только себе самому, а за где-то-за-поворотом не ухватишься. Может, об этом так пронзительно пела мне песня Оззи Осборна.

Иногда он уклонялся. Да, он был в Бермудском треугольнике, но он уклонялся, он улыбался. Он кланялся, как Пармиджанино, и снова возвращался к своим ретортам, к своим повязкам и христам. "Учись жить как у бабушки", – так он мне говорил. "Или учись жить как у Гоголя", – говорил он, мягко подымая смущенный взор или сгибая мягкий живот в полупоклоне.

Это как звон в ушах с десяти до одиннадцати, с десяти до перемычки, это передано Веласкесу, это "Копья" или "Лесорубы", их топоры.

Это знаменность сравнений, их парча, камка, сапоги.

Представим себе вечно покореженную игру наших слов, наших мыслей, картин – там, где слова смешиваются с картинками, и вот они уже покореженные, как стулья.

"Где-то я это уже видел..." – говоришь ты. Ну раз видел, то изучай дальше свои купидоны, свои артишоки – все равно получишь прямой удар в грудь, тычок, делающий неразличимым знание и картины.

И танио, и тасио, и танио-ранцево, и даже вздох жалости имеет вид плоский, запахнутый, с зубчатыми краями, как почтовая марка или вареник.

Я очень люблю практику нашего века, наш вопрос второй – из тех трех, четырех, неизменных. Я люблю распутье.

Зеленский и Колесов пляшут под песни горожан. Колеса разные.

Все, что я пыталась добыть морем, я потом старалась же искупить. Иногда удавалось. Сетчато, сети, вылавливать.

Ни одна картинка не может происходить так, как она дана. Но ее происходящее где-то рядом. Я жду тебя. Я жду события, человека, встречу, невозможность встречи. Промельк, пробег. Сетчато, бирюзово, фиолетово.

Как волны, как горе, герои, Одиссей в сетку одетый, неотличимый от волны. Слова и картины покореженные, в девять часов вечера, слава, герои.

Недавно за одну неверную публикацию подвергся карам мой мальчик. "Все волны – герои". Он подвергся невидимым карам: кино, птичник, Путин – неразличимы, все помет куриный, Путин, герои.

Ну-ка, подвинься, сынок. Что, помогли тебе твои ляхи?!

Где конверт над кроватями, комнатными, дочери, вечерять?!

Я помню, я ходил между ними, пытался перенять опыт. Тогда еще только изобрели "стедикам", и мы снимали со стедикамом, но опрокинувшись на пол, на спине, нас как будто плющило – вечер, опыт, Веласкес.

"Покупают не картину – покупают историю", – так сказал мне один знакомый художник. То ли он мне подарил потом, то ли у меня остался от кого-то другого, забытый – браслет с плоскими камешками: круги, овалы, квадратики.

"Всё – нет больше сил выносить историю!" – говорит мне другой знакомый художник. Он смотрит на меня, как тот солдат сбоку из "Сдачи Бреды".

Не знаю, не знаю... Тихо, тихо, нам повезло – кино, город, герой, пионеры.

Давай обнимем друг друга, окружим друг друга светлыми контурами – Фортинбрас, пионеры.

Мой славный рыцарь, солдат, смотрящий на нас сбоку.

Если организуем это как ретроспективу – надо быть в розовом.

Если организуем это как кино – надо быть в голубом.

Если организуем как жизнь – надо пятном подпятным или былинкой.

Таковы заповеди удачи, а неудачник, как говорится, пусть горит над очагом.

Миша, повтори!

Агата, повтори!

Повторите зной, ветер, магнитные колебания Земли и кружение Луны, порождающее приливы.

Повторите найденьша. О, повторите Антона, найденного в песке пляжа.

Повторите часики, кем-то забытые у меня в мастерской, я долго носил их потом.

Шляпа широкополая, тень от шляпы, бандана, шейный платок.

Разницу между Уилки Коллинзом и Артуром Конан Дойлем – обязательно повторите и ее!

Еще я хотел бы снег, но чтобы его можно было выбрать – скажем, когда он в Риге и так уютно пахнет печным дымом.

Да, мне приходится быть переборчивым. Мне предлагают разного рода ткани, а я все допытываюсь: какого рода ткань, какого рода изнанка, как на нее ложится краска, как она ложится в костер. А люди обижаются, они думают, что я переборчивый.

Прошмыгнув мимо вахтерши, я бегу на четвертый этаж общежития. У нас будет полчаса, чтобы раздеться и покувыркаться в постели.

И это заснеженное Рубежное.

Вечер, вечерет, повтори, Марта, повтори, Коллаж!

Дядя напередодні, с самой границы мира, прыжка, пожалуйста, повтори!

*2021 – 2022*

## IV ПОЛНОМАСШТАБНОЕ



Церковь седьмой конгрегации, зубы в квартире забавляются костью.

Спартак или Путин – белые, белые.

Уже не ища никаких ближних – товарищи, товарищи.

И все равно, ты должен писать – как Хава-Нагила-Червона-Рута, как Одиссей-Паровоз.

Как поезд эвакуационный сейчас по Украине – даже, если тебе кажется, что ты этого уже не переживешь.

Даже если не можешь себе представить, что сейчас в Москве фары горят спокойно, и машины мчат по проспектам.

Так мне думается в шепоте, губы сложив шепотом, и цветы закрепив на створку в Харькове.

Или потом еще город Сумы, и еще Днестр, и еще лиман.

И еще берег, бедро, стена, щеки, волосы.

Или потом он сходит с ума, и оставшиеся годы жизни его привязывают к столбу на весь день, чтобы не мешал, и у него раскрываются чакры, и он глаголит про покурить и цветочки.

Или, стоя привязанный, у столба, он нарисовал огромную голову, с волосами, растущими из щек?

Как ты думаешь, Юра, чисто тактически, он все-таки есть, этот Бог?

Конца проволоки я уже не увижу.

Эта часть, она четвертая, началась с осознания того, что никто больше не напечатает мои тексты. Их не будут печатать в России, потому что я их не буду, и их не будут печатать в Украине, потому что они на русском. Я буду писать в стол, в его ящик изогнутый, в его дроты.

И опять я не могу поверить, что в Москве никто слезами не умывается. И им нет необходимости спасать книги из библиотек. Разве что эти, проходками драпающие в свой Израиль.

Или лошадь с четырьмя мордами. Или лошадь, которой я обещал нашить третий бубенчик, когда Путин сдохнет.

Примерно до седьмого пота. Примерно одна история раз в три дня, или

три истории в день. Скажем, про того мальчика, который ехал один через всю Украину, с телефоном словацких родственников, записанном на руке.

Координатор – в смысле авианалетов по ночам. Координатор – в смысле, нет еще, не сдались, стоят.

Это стиснутые зубы, это цветы вокруг и шипшина.

Или я советником у Зеленского. Или советником у Корбана.

Или была у меня еще другая широкая страна языка. Я хотел показывать свою страну на поле той, другой, широкой страны, там были озера и реки, и поля удивительной красоты и спокойствия, но она как-то начала сворачиваться, пока не свернулась в свиток. Осталось лишь то, что маємо, що маємо, такая земля как есть и эта вечно пахнущая трава.

Лук ин! Я осторожно отодвинул решетку. Там было три существа, на головах у них было нечто вроде балаклав из запекшейся, пузырящейся крови. "Тут надо действовать по обстоятельствам", – вспомнил я. Но существа ни на какие обстоятельства не реагировали.

А они говорят: "В запеклых боях на территории Украины". А они говорят: "Еще один хлопчик загіблий".

Амальгама взглядов – в Буче, в Ирпене, в Киевской ударной силе, в дурке у Бабьего Яра.

Или беги, беги, пока не скроешься, захвати свой спальник, пока не началась третья, ядерная бубка, пока на дверь цепочку не накинута.

Лестница? Кого зовут лестницей? Кого зовут сестрицей, девушкой, а кого – лестницей?

Офицер, живущий стремлением атаки, – я сказал ему: "Сосредоточь технику в районе Тиргартена, а потом будем наступать на север, в направлении Веддинга".

И первая башня, и вторая, и третья. Вторая башня – Вавилонская, третья башня – Ночи Кабирии.

И опять руки, бегущие в темноте, ощупывающие листы.

И сотни детей с лукошками, пригорками.

А они нет, они будут продолжать, они будут писать чего-то, они будут лжи, они будут колпаки, будут мешать прибором с камешками, был ли дождь – не было дождя, им все похуй – сесть – стул, сесть – Шлиссельбург – колготки – и на загляденье.

А он уже шатался, как пресня, он уже не мог играть в их игры. На времени, на стремени, его друзья – они все на загляденье – дивились из витрины "Детского мира". Он шел по солнечному краю доски, там где перепелка бежит по солнечной стороне улицы, там где ее ивы, горные, склоняющиеся, тростники, облака, его пятна, овалы, недоумение, руки в горсти, ладони в горсти, пляж, слепящий, зной, кости, сапоги и трубки торчащие, отдушины из-под земли.



Давайте не будем мыть руки, давайте не говорить друг с другом, давайте не будем барашками, или будем барашками, давайте за поворотом, давайте будем князьями, княжескими посланниками, саранчой, или молью белесой, или барашками.

Или я продолжаю сейчас читать пересказы "Илиады": один – таинственный, другой – лживый. И я тоже не могу разобрать, какое оглавление золотое, а какое – затылок.

Или в ланцюге, в ящике изогнутом я все-таки должен сказать "Здравствуй!" Я должен использовать нарисованный тобой портрет Руди Шварцкоглера, я должен говорить "нарисованный тобой", даже зная, что нарисовал его я сам, я должен увеличивать, калькировать его бинты, трубки, разгоняя их до шлангов, до шороха толстеющего, с размытыми краями, затмевающего Вселенную. Мир так тяжело ворочается на звездчатом пути.

Да, но как же убрать ее?! Ведь это структура социалистическая, это солнце за поворотом!

Детка, я совершенно лишен резолюций. (Кроме переулка в летний зной, переулка летнего.)

Но, мне кажется, я уже вышел, – или хотя бы приблизился, – к раскаленной той улице, солнечной, где ходит автобус.

Но все равно используешь темперу темную. А если все потемнеет? А если книги сгорят?

А если работы на выставке "Краткая весна"?

Работы Пепперштейна на выставке "Краткая весна" (На Заречной улице).

Работы Монастырского на выставке "Все сгорит".

Мои работы на выставке "Где-то за поворотом".

С чего все началось? С подрыва молодежных пирамид. Такое я почувствовал право. Как будто лошадь под дых лягнула.

Прокосы, полосы, пронизав.

Когда все ехали на лошадях по полю, и первый раз я відчув, что есть "мы" и "они". И еще американцы.

Толстое пыльное стекло между мной и иллюстрациями Билибина-Нарбута. Или нет никакого стекла, а наоборот – пресветлая стена?

Я – медведь. Мы продолжаем той степью ехать. С капельками – они не дрогнут, не испаряются, они.

Наливай, наливай под мостом, стремянной!

У меня так мало школьных друзей осталось. Но и с теми приходится расставаться, потому что они – не мы, они в Израиле, в Штатах... Вода не сохнет, капля не сохнет... нет, сохнет. Не сохнет только любовь и горсть людская.

Разбег, расстояния, нечисть (в дальних уголках степи или губ), разбег.

Моя собственная судьба – как она выглядит?

Мои собственные глаза – утесы меловые? Или эскимосьи, рачьи?

Мой собственный дождь – ёлка? Моя ненависть к яблокам, они круглые, шары.

Но все же не упустить из жизни ее славу, силу тигра, прыжок тигра.

Я был тигром?

Я был всего лишь тигром в окне, в проеме, ненужным тиграном?

Набор масок, мир длинных личин, набор фраз между "пианино сказало", и "Надька сказала", и "музыкой наваяло", набор облаков в пионерском отряде. Пустота плывет дзэн-буддистская, она что говно, она не тонет.

Мы дети подземелья, дети длинных шагов из детсада в детсад, нас переводили вслед за новостройками – огурцы-огурчики, ребята. Команды "Текстильщик" (Иваново), "Шинник" (Ярославль), команды невысшей, первой лиги, танки заходят в освобожденный Тростянец, все равно, никогда в моей жизни я не увижу трупы на улицах – ах, мои эскимосьи глаза, ах, эта мандала, мандавошка, стой справа, слева, не суетись попусту, "Локомотив" (Движение), "Черноморец"(Одесса). Одесса Западная, Одесса Подъездная, Одесса Малая, жилмассивы Таирова, Юго-Западный, Котовского, плебс только спину лошади понимает, а гриву – никогда, руками не держится, обнимать не умеет, сопливый товарищ – и тоже пионер.

Конечно, в конце концов есть разница между людьми понимающими и не понимающими (поцы), но разницу скрывают темные углы вагонов. Октябрь – "жовтень", а месяца "блакить" не має. Куда ударят, сынок, куда попадут? "Вставай страна огромная" – на украинском языке. Это, как выясняется, они тоже у нас украли. Только место, куда летят снаряды, они нам оставили.

О, конь мой, Моби Дик, с тобой на пару пройтись весной по тонкому льду, утонуть, когда все цветет.

Задыхаться, сбавить, задавить, заграбастать – пулеметчик. Я воображал себя пулеметчиком. Только, зачем, зачем, я так долго махал им кепкой вслед?!

Подобные заведения назывались "классами", подобные кусты бурьяна – "их надо уничтожить как класс", – так говорил мне папа, а ведь были еще трава, и воробьи. Как долго все это идет! Песчинками. Я не знаю, осмелюсь ли сказать, подумать. Если в мае, в июле, августе, в декабре надо будет все так же писать: "Израиль, поддержи Украину!", "Израиль, поддержи Украину!". Я не знаю, перенесу ли все это – разве что только динозавр смурной, и я подсосежусь к нему, и вот его морщинистая шея, и его сапоги, отвороты, красные, лаковые, а все остальное я давно уж оставил потомкам.

Ведь мы не сможем выиграть эту компанию раньше, чем лет через пят-

надцать, это примерно как от крейсера "Аврора" до закончить Ленинградскую Академию художеств, и потом еще пять лет, чтобы стать "концептуалистом", и ждать Перестройку.

Грузи Перестройку вагонами! Грузи город Петра емелями! Грузи лыжников! – бедность, жопа, прохожий, отвороты, мадонна со спицами, спичками.

Я помню тот вагон, я номер не забыл – а номерок-то в бане остался. А язык-то – как ангина.

Шла Саша по шоссе за Киев–Житомир и сосала сушку. И я равно подлой льдинкой прирос к этим играм, этим словам, пыльным истончающимся ледникам – ох, медленна лет арба.

А я, что?! Я – пёс, я – сын полка, мне любой поступок как гора алмазная, как фитилек, торчащий из уха.

Но все же ведь знаю, что тот малыш, которого подвозили Дюшан с женой, стал потом чемпионом мира и одним кивком головы сметал с доски советские фигуры.

Но королевскую яичницу он все равно готовил из мацы – в трубочках, в пупырышках, в перьях.

А за окном слышались сирена и взрывы.

О, боже, как чисто бывает иногда нарисовано!

Эти копы! (Картина "Сдачи Бреды")

Потом она улыбнулась: "Моя фамилия Литвиненко!" – как-то так она сказала.

Этот кодовый крик с небес, этакая "суница" или "паляница", крик с небес, оповещающий о миллионных толпах, толпящихся внизу.

Бутылка вина с середины Днепра.

Тысячелетние поля с бутылкой вина.

Невыносимые способности тела и души – опыт для детей и взрослых.

Кусок дня был равен "наверное", "навсегда", но что тут делал этот день?

Как ниточка, привязанная к двери.

Она сбежала вниз. Она хотела через вестибюль проникнуть в полуразрушенный подвал, но ее не пустили солдаты.

"Навсегда", как кусок дня, металось между верхним этажом и подвалом, но с одной стороны ее не пускала крыша, а с другой – солдаты. Нерушимо стояли хоть и порушенные девятиэтажки, стоял памятник Т. Шевченко, обложенный мешками, "навсегда" сгорало, ее юбчонка металась клочком неба.

А потом я подумал, что отец-насегда не может смотреть вверх, потому что он в наморднике. И я тоже – потому что всё роюсь в щебенке вестибюля, я слишком занят.

Собственно говоря, как платье Арлекина – ребенка связали, банданка-дорога на голове. Улицы, проспекты. "Фабрики. Заводы" (название моей работы). Авдеевка, Рубежное.

Украина не дает мне быть самим собой. Почему? Потому что тогда я был бы камнем, проваливающимся в отсутствие места. В не-место. А так, я – место, у которого нет камня. Что-то вроде пересечения улицы Чкалова с Малой Арнаутской, которая сама и есть Малая Арнаутская.

По которой вся Одесса ездил туда вниз, к парку Шевченко, на футбол. Который тоже есть отсутствие места в некотором смысле. Лагерные пляски у костра.

Рони-старший, "Борьба за огонь".

Ронни Джеймс Дио. Сенина бабушка бьется у камышей. Мишина бабушка. (Этот пассаж никто не может оценить, кроме уже ушедшего Чацкого.)

Борьба за огонь. За слово? За унитаз? За русский мир? Такая вот пришла пора, мой голубочек, так я выблевываю свою связь с русским миром. "О, море, море... или, точнее, нет: "Так я ее, как голубь взъерошивший перья..." – и далее по тексту. По перьям, по сорока четырем веселым чижам.

По Введенскому. (Здесь уже связь, которую могут оценить многие.) Только мне от этого не легче.

Потом я вдруг подумал о разделении нации навсегда. О тех, кто был там, под сиренами, или там не был. Что мы уже никогда не сможем понять друг друга. Что это бездна, колодец. Что я пишу на языке, который уже никому не нужен. В то время как раньше я всего лишь писал на нем то, что никому не нужно. Кому он нужен, этот Нужин?! (Здесь опять, это мог бы оценить только Чацкий.)

Это как хвьялы волны. Кому она нужна?! Эта волна. Он проклятый. На Институтской. На Хвелевой. На Кронштадтской, Краснопресненской, Малообывайской. Головная повязка. Головная нательная говноповязка.

Это Сани. Не в свои. Ты ж понимаешь, что это ужасно! Это салазки, сани. Полозья, загнутые вверх. Советский Союз. Полозья. Гололед. Давай! Услышать! Вой! Динамики. С болью. С бою. С перепева. Далее понятно – хоть и не птица щегол. Далее колодец (журавель). Что опять-таки бездна. Там девочки Тоня и Вера. У колодца. Они тоже были Украиной. Где-то они теперь? Они уже бабушки. Они Арлекин. Ее купальник в ромбах.

Приключения, сарай, прыжок тигра. Это можно сказать на многих языках. Это улица, и это можно сказать на всех языках. Но я ведь могу это сказать только на своем языке. Правильно?! Точка?! Русские. Колодцы. Бездна.

Я хочу хотя бы бездну с розовыми лапками: летать! полетели! посмотри! ну ты посмотри?! Улица, колодец. Скрип, Скрипник, "скрипниківка".

Хотели с чистой совестью, а получилось с сердцем воробья – незнайкины путь оно там освещает.

Когда ты уже не бог. И не замочная скважина. И даже не верблюд.

Это продолжение прощания с русской речью и разделение ее на четыре части "Зимовья на Студеной".

В общем, куриные ошметки, плечи летающие. "А ботинки кто оплатит?!" – только и спросил он перед смертью.

Иди краем. Иди сам знаешь куда. Иди лесом. Иди к таинственному причалу. Освещенному японскими праздничными фонарями. Они такие рубчатые.

Заскок у печки. Сложить руки замком в ладонях. Грачи прилетели. Все не могу понять, что же и когда я сделал не так, что не могу быть сейчас в Украине.

Вынужденная замена? Но не бывает вынужденных замен. Бывает только дыра в самолете, литаке, летчике, вечная дыра в найденыше.

В этот зимний вечер, ах ты, мой котик, когда все уже клонится к закату, смеркается, хотя только близится к полудню, я вспоминаю дымы Москвы и ее снегирей – в тот самый первый приезд с папой, когда я увидел снегирей. До этого я думал, что они водятся только на картинках в букваре.

Или потом из засады за Яузой я смотрю на пригорок, поросший барвинками. Это когда мы жили с Андрюшечкой по разные стороны Яузы.

Еще один пятнаш? Ах, это уже институт на Миусской, где вокруг стояли пустые троллейбусы. Где ты сейчас, мой дружок-собутыльник-Верещагин, и что ты думаешь об Ограниченной военной операции?

Или потом, когда на джазовом концерте на соседнем пустом стуле я нашел маленький пластмассовый крестик. Я долго носил его, его не смогли отобрать даже в дурдоме, а потом очевидно он отломался и упал в слив, когда я мылся под душем. А пару дней назад посреди улицы в Берлине я нашел ночью грузинский кинжал в ножнах, и что теперь делать с ним – может, опять поехать на Москва, и всадить его в себя, когда буду на метрополитен?

"Музей сталинских репрессий должен быть размером, по крайней мере, со сталинскую высотку – может, тогда что-то и выйдет с этой страна", – так сказал я Монастырскому, когда мы прогуливались по Москва. Тогда он размещался в помещении бывшего магазинчика художественных товаров на Петровка, а потом и исчез вовсе. А дальше была уже дорога пряма к сегодняшнего дня, как лезвие кинжала, как борода Вассермана.

Эрих – по крайней мере, 44 года. Мария – это Урсула или Мариуполь. Ремарк – сам не знаю, память или ремарка. Упор в стенку, рассыпающийся на мелкие птахи-глазочки. Гульфик выпяченный, когда он стоит в рейтузах, средневековый, одна нога вперед выставлена, упершись в стену, выгнув голову, он в каске, он безнадежен.

Это вопрос, следует ли публиковать истинные цифры потерь. Я знаю, что, как и все украинцы, ты бывала много раз в Карпатах, но мы никогда уже не будем там вместе. И столько лет я жил в Кельне, это там, где убили Урсулу, или еще где-то, но мне ни разу не пришла в голову мысль съездить в Украину. Теперь я за это расплачиваюсь. Теперь каждый из нас расплачивается за все, что он не сделал или сказал не так, за каждую мелочь, за то, что мы слишком пристально боролись с "нациками", но не с Рашкой, нагнув голову, в шлеме, упираясь в стенку, о, Эрих Мария Ремарк, птах замерзший, затверделый, выпадает из рук, тук-тук раз за разом, бесконечного дробления звук.

Ну что же, я наверное не одинок. Или одинок – как опрокинувшийся на спину паровоз. Но мы уже в возрасте – позовут или не позовут нас в гости уже не имеет значения. Зато здесь по-прежнему играют, здесь выходят в разноцветных париках, за нами несут огромные фужеры шампанского, все приплясывают. Празднуют соединение детского домино со старческим домино.

Касис! А ты вот пляшешь или нет?

Говорят, Касис ушел на фронт, вдоль по Пушкинской улице удалился с нашего двора.

Немножко привстань, немножко наклонись. Серый голубь, серый голубь!

Ты хирургом падаешь на наш стол, чтобы произвести над самим собой нашу операцию.

Пока все на стадионе.

Нечто подобное многократно умноженному обратному обрезанию.

Этакая многогубая, губчатая пиписька.

Ты резной дирижабль, выдолбленный, по небу носимый.

Мне с ухмылкой говорят: "Ты что, сновидец?! Ты – толстый, обрюзгший, брюхатый – ты что, Иосиф?!"

Ты слишком хороший мальчик, чтобы работать в положении сирены.

Так и в Писании – Бог человека или селит в пустыне, или размазывает по холсту товаров.

Поэтому я думаю, что даже не законченные строчки могут иметь тут свое место, не законченные мысли. Как своего рода щечки, уточки-неразлучницы, мандаринки.

Были постоянные просмотры новостей – CNN, France-Presse, вплоть до каких-то "Новостей Иберийского полуострова". И везде я видел цветы с двумя лепестками – будто показывающие тебе кулак или кукиш. Их тельца, прижатые плотно, их лепестки.

То мастер-класс дробится, и за дроблением я иду, будто каменоломня – январь, февраль, март. Евреи, русские, украинцы. Я давно уже секретно в

Киеве. Или нет, я вам честно скажу – а то подумаете бог весть что – это я выхожу ногами вперед за вином и продуктами, или вот недавно выходил встретиться с Блинкеном и еще этим, как его, забыл, министром обороны.

А тут еще художник, итальянец, он будет лежать под дождем. Его штаны пузырит ветер. Его штаны гниют. А ноги, посмотрите на его ноги! Резинки врезались в ступни его. Он уже пустой, он порожний, как бурдюк. Он расцвет и каравелла. Он раскрыл уста – его уста гниение раскрыло.

Говорят, в Севастополе начали раздавать продуктовые наборы родственникам тех, кто погиб на "Москве". Ну то есть им сказали, конечно: "Вы возьмите продуктовые наборы, пока они там без вести, а потом мы их всех найдем!" Там началась такая давка! Я только видел их спины в желтых драповых пальто. В желтых и коричневых. В желтых, коричневых и еще каких-то, неважно.

Мне нужен хвост, мне нужен мост, мне нужен окурочек, чтобы он задымился. При написании текста про Маньяско мне феерично помогали другие. При написании всех моих текстов. Т.е. понятно, что на самом деле мне никто не помогал, просто мир мне все время подсовывал то, что казалось самым уместным включить в текст. Хотя другие этого совершенно не понимают, не видят и не читают. Я включал это в тексты для самого себя, я был с этим всем наедине. Внутри гребешка волны, невидимый.

– Секундочку! Но сохранил ли ты само время, его тяжелый песок?

– Не знаю, а сохраняет ли время клоун на арене пустого цирка? Сохраняют ли его персонажи Маньяско в их пустом и темном взрывающемся мире?

Можно ли позировать так, чтобы получился новый уд?

Я создал миру новый уд, новую удочку, нового спасителя, нового иммануила, новую рыбу.

Опираясь на канаты, канты и плинтусы, я делал архангельский тяжело-брюхий шаг вперед.

Я был как Кривелли, как Поллайоло. Я был Дин-дон и Джинджер-белл!

Но команда есть? Есть. Основу команда сохраняет? Сохраняет. Темпы прироста все такие же? Все такие же.

О, моя тыквочка!

Но ведь и мрак может сгуститься вокруг твоего дневника. Любые петли ты можешь описывать и черточки ставить на широких пространствах текста, но стоит сменить адресата, как мрак сгустится вокруг твоего дневника.

Аминь! Аминь! – говорили они все, собравшись на широкой площади и чокаясь ядом.

Как они, беженцы, смогли найти для каждого толику яда?! Я не знаю.

И опять-таки, мимо старых знакомых! Мимо старых знакомых!

Ну это просто лед Невы!

И почему многие гордятся, что его так много, что его так толсто?! Море ведь не гордится своим льдом.

Ну написал, ну высмеял, ну надо же было выяснять.

На этом широком, широчайшем пространстве благоволения, с перегородками.

А если через перегородки, перекрытия?

Нет, не считается!

Мяч в кольцо через перекрытие не считается!

С его рисунка свисал лисий хвост. И он расхаживал по выставке, худой, носатый, неуклюжий, лоб его морщинами был прореженный, и он искал, куда бы пристроить лисий хвост.

Всё, кэнсел, мне плохо! А когда вообще кэнселу было хорошо?!

Эти тексты пребывают на самой окраине души. Как небосвод, как окоем или полоска. Я даже не знаю, где они там пребывают, ключевые слова. Но, мне кажется, им там хорошо.

Александр Ключе – близкие времена, далекие времена, хочется порезать всех этих умников, их фильмы, и сжать их ошметки, прижать к далеким окраинам мира, и вот тогда, возможно, им там будет хорошо.

Дифференциация, стагнация, железнодорожные стрелки, железнодорожные пути. Здесь берешь одну шестнадцатую, дальше, в селе, находишь одну восьмую... И флаг поднятый, и к нему что-то еще прицеплено булавкой. Или бейсбольной битой. Говорят, это эффективно, когда обороняешься, стоя на лестнице. Но если поднимаешься в город, тогда, конечно, бомбежками.

А старикам надо лечиться. Им надо разбирать, переставлять свои члены – здесь внутренностей проверить изгиб, там проверить. А тут уже наступает для них Потемкинская лестница.

О, моя восьмая, моя шестнадцатая, бита-бейсболка, железнодорожная война!

Хрящи, складки, тарелка супа. Тарелка холодца, бульона.

Или просто поджав губу перед тарелкой – здесь, в центре, на самой узловой, узелковой станции.

Весь город Харьков. Через Северный полюс, и ты там.

Дети с бандурами – в первый ряд, те, кто успел сходить пописать.

Танкисты – в первый ряд.

Девятьсот девятнадцатый – убитый, девятьсот девятнадцатый – убитый.

В первый ряд.

Кусок безумия известкой, шифером летит вперед и падает на авансцене.

И все равно, клен, каштан, Одесса.

Ты ведь была на Каролино-Бугазе?!

Ты мчалась поездом вдоль зеленых виноградных полос.

Хоть раз в жизни, но ты конечно же была там.

Я работал почти до утра, потом, вместо того, чтобы идти домой, шел в пивную, сидел там, говорил себе: "Мои воспоминания хуже самых горьких концовок". Или "лучше самых светлых молитв"? Или женщина там, в пивной, она была слегка не в себе, она рисовала такие маленькие картинки, почти одинаковые, повторяющиеся, как на обоях – кто-то повешенный, кто-то копает себе яму.

Были там и картинки, которые по преданию рисовал Сальвадор Дали в Харькове в 1932: вот, скажем, больной, умирающий, и он так бессильно руки распростер, или просто лежащие на улицах, и все такими легкими мазками туши, стустками крутящимися, мне сторож при музее обещал показать эти картинки с утра, если будет не очень много посетителей. Но, увы, всегда было слишком много посетителей. И когда был Советский Союз, и когда была ельцинская, хуельцинская, путинская Россия – всегда было слишком много ног, посетителей.

И еще, кто-то из художников собирался прийти ко мне в ту ночь – бухать до утра и играть в нарды. Я уже не помню, это все так смутно, эти крутящиеся мазки воспоминаний, почему они все время упираются в фигуры лежащих, повешенных, поверженных – потому что так должно быть, потому что Харьков, потому что все меркнет?

От "Упанишад" мы плыли с тобой, мой мальчик, и приплыли к тем, кто говорит на украинском, а за окном дождь идет, но не размокнет гипсовый мальчик, и "будемо на зв'язку", – так написал я широкополую чудачку из Коломьи, что пишет иконы на стекле, – я еще хотел рассказать ему, что сам чуть было не поселился в Ивано-Франковске много лет назад, когда меня распределили туда на завод, и жил бы там, и женился, и, вполне возможно, положил бы свою душу еще на Майдане, но тут лисичка пробежала, хвостиком махнула, и вспыхнула печка, как балеринка, треск раздался.

"В потрібний момент між нами все ж таки піде спілкування, крутіня", – так он написал в ответ.

Ну не знаю – а если наше общение всего лишь как два скелета ржавых, два склона вытянутых, гипсовых...?

И эти сложные складчатые ноги, и луна, и он бежал посреди Берлина к Стене плача, и неаккуратно сделанные стены, и трельяж, и трехголовый член, сложно сделанный, и в шлеме.

*Валентине Ивановне, первой учительнице*

Разговор, разговор, вдохновение, власяница, шелкопряд, прожилки.

Да-да, они только начали зарабатывать, отдыхать и зарабатывать, и ро-

жать детей, хотя инфляция, и замо́к, и Донбасс, и чешуя, замо́к.

Вплоть до того хмурого дерева, колодца, где нам предстоит стать ребенком, утро.

Грецкий орех, что по-гречески не говорит, я видел уголок пола, конец фильма, утром побегал, и побежал в обратный путь, утро, штанга.

Я представил себе, как бегу по аллее вприпрыжку, потом бегу с собакой на поводке, потом бегу опять один, и разгоняюсь, и бегу изо всех сил, утро, штанга, учительница, утро.

Когда палили Украину, бежать, учительница, утро.

А стенать и скулить не надо – я потом и сам поскулю с удовольствием, а пока – бежать, учительница, утро.

Ангелочек заметит, взмахнет крылом – ангела разобьют, потом в раю будут долго судить-рядить, что делать, осколки, одиночество, бежать, утро.

Копать под воротами – в поисках украинского языка, – нет, я не могу его найти, выйти, копать, невозможно, утро.

В этом, может быть, состоянии, подобном состоянию моей собачки, он спит, он видит сны вместе со своей страной, он бежит, в купальнике, утро.

Осторожнее, может быть, ради всего святого, тут торгуют, тут пирожки, полицейские, утро.

На поводке, бежать, спать, утро.

Но все равно, все равно, мы победим, спасибо тебе, старший сержант, офицер, на привязи, утро.

Горит – и не сгорает, звенит – и не звенит, пепельная река, берега мартышкины, труд хвостовой, а березень – март.

Так, два или три раза в неделю я должен вникать во внутреннюю структуру этой книги, размягчать страницы, разбавлять разбавителем, потом мазать опять.

Да, не белый, но светло-желтый – все построено на полутонах.

Да, еврейская монетка у мамы под одним каблучком, армянская монетка под другим каблучком – на улицах Львова, но тут же улица Краснопресненская, Шеренговая, улица Багато-за-все-життя, улица Багато-знать-будешь-скоро-состаришься.

Много журналистов развелось, много шеренг. Много "мы же вас предупреждали".

Много свиней в заливе Свиней, в заливе Шеренг, заливе Каблучков, заливе "О, если бы мама знала!"

Я хотел бы размочить страницы этой книги кислотой, расслюнявить их и раззвонить дотла. Но только вопрос, что же я буду читать тогда?! И оказавшись потом в степях Донбасса, что же я буду читать? И Альберт, и Турбан, и Подпоясанный, и Поднебесный, и что же я буду читать тогда?

Он разбил все книги. На обложках было написано "Саша", на обложках было написано "Клезмер", на обложках было написано "Бэнд". Он привел

их всех к одному знаменателю и разбил их.

Она писала картину, ее волосы были собраны в пучок.

Она писала картину, с пучком перьев.

Она писала картину, сидя в скоте на Фурманном переулке, в давние-давние времена.

А тут как раз зима грянула. Мы ходили в баню. Примерно также, как я ходил до этого в библиотеку. Там парились и пили пиво.

Эта переключка – пыхтение тигра, минерала, известки.

Тебя тоже могут назначить быть самым милым: на первое место, на второе, или на третье.

Как известка, как яичница-глазунья, как помойка.

Я писал картину, с пучком волос на затылке. Как пельмень. Как я или она, все мы были пельменями.

Или: "в России было очень хорошо". Как крик петушиный.

Вот только что сказать беженцам. Которым надо учить немецкий.

Или объявления "требуются офицеры".

Или крик стародавний, пельменный, паутинный – я, он, она, они на Фурманном писали картину.

Как же оно все происходит? Как лишний кусок? Как веснянка, веселка? Волшебные лица, рожи? Шпионская история – а я все жду. Расследование – а я жду. Город за полем, на горизонте. Или ему следовало отдать бразды правления жене (женщине)? Нас бы все время сносило в сторону, но в конце концов мы бы доплыла куда нужно?

Обсуждения вместо пламени, обсуждения вместо пламени. Как бы устроить пламя, и не сгореть самим? Или оно станет настоящим как раз тогда, когда мы войдем в него? Главное, чтобы не было сухого остатка, этих шматков, сухого "Кадиллака" или сухого "Запорожца". Они говорят: до июля. Если не победим. Я не знаю, что делать с этим полем в июле, если не победим.

А тем временем из Лондона она пишет: "Сердце подсказало мне не лезть не в свое дело". Это значит: "стой один посреди своего поля". Эта страшная Англия, страшная Италия, страшная Польша, страшная ночь. Но ничего, пока она все равно рисует. Рука чувствуется, уверенная. Сейчас как раз летают бабочки. Она будет рисовать их до июля.

Примерно то, что я хочу от своих текстов. Чтобы из них исходила угроза – рассыпавшаяся и нелепая, как крошки. Которые, тем не менее, не соберешь, не сложишь, не подвинешь.

Пойдем погуляем. И тут уже Марсель заспав своими ногами разными.

Пусть возникнет самая удобная ситуация для пса, – которая все время протекает.

Сети для рыбака, у которого рыба уходит, все время порванные.

Дорожка для пиздуна, которая все время солнышко.  
Дорога для петуха, все время светит.

Они мне сказали: "Сабля!". И я пришел в лагерь беженцев, и стал укладываться с саблей в траншею. И они смотрели на меня как на идиота. И дело было в Крыму. Я уже не могу тащить все это. Мне все время кажется, что кто-то погиб, умер. Что она погибла. И дело было солнце. Или дело было учительница?

Мы пускаемся в путь на кораблях. "А нельзя эти корабли притушить, чтобы опять пустить газ?" – спрашивают. И я не понимаю: притушить что?! Притушить корабли, траншеи, заливы языка, солнце?!

Когда еврейские ученые сами же поддержали "дело врачей", он подумал, что за всю жизнь не видел столько людей, превращающихся в не-людей. Когда еврейская община поддержала дело Путина. Впрочем, что он там подумал или не подумал в расчет не принимали – просто одну еврейскую бригаду сменила другая еврейская бригада.

А то, что этот кейс был завшивленным с самого начала, он осознал немного позднее. Или это был просто дислайк?

Так или иначе, но его четвертый выход с танцем был уже только вдоль одной половицы.

Ну он вышел и станцевал – сам себе, как говорится, и режиссер, и палач, и любомудрый.



Президент Бразилии – тот или нынешний – приехал ко мне в гости. И он был в ужасе от всего увиденного. От того, что я продолжаю смотреть черно-белое кино, что в очаге у меня горят какие-то тряпки, от того, как неумело сделан сам очаг, просто несколько кирпичей, положенных встык...

Ну и в самом деле – что я, каменщик?! И я огорошу тебя, бразильский король. Я покажу тебе серию рисунков, с какими-то толпами, группами, с играющимися детьми, и нелепые каракули, корявые паутинные линии, штришки и рубчики будут виться среди их лиц. Вонючие тряпки будут гореть в моем очаге. Со стиснутыми зубами, прикушенным языком, пересчитывая варианты, я буду смотреть черно-белое кино. И никого мы не должны благодарить – пойдем обедать в никуда, лишь гетры на коленях подтянув. Я буду заводить их в западное основание, я буду заводить их на пустые улицы – где дома, с прикушенным языком, где уже нет смысла подсчитывать варианты. Где одно и то же горло кувшина.

И во всем этом была такая ложь – все эти подмосковные поля, эти акции,

перформансы, ухабы, дятлы, пересмешники. "По ту сторону Тулы" – всегда по какую-то офигенно крошечную ту сторону. "Дудка" туда, "дудка" сюда ("дудками" называются разведочные шурфы, ничего особенного) – это он так шутит, иронизирует, держит дистанцию, как бы чего не случилось, чего-то искреннего. Его все равно посадят потом, разве что не отобьют печенки, как Улитину, и он вернется в свой нескончаемый, как зубная боль, Санкт-Петербург, и будет опять ходить шутить вокруг питерского столика-маркетри.

А вот Вальзер – ведь он писал в то же время, и тоже был рожден для щебетания языков. Но он щебечет без дистанции, на один микрон, на омикрон от события, как истинная птица, как девочка и птицелет, а если не получится, то он скажет, что "перед лицом альпийского луга мы все халтурщики", и упадет лицом вниз, и мальчишки нашли его.



Так, ее сыны, так, ее дочери. Так, абсолютная тьма. Так, надеть юбку на мотор. На всемирное совещание моторов. Так, России там не будет, но все равно пригласят три-четыре ее гнома-прихлебателя. Надо бросить юбку и бороду на огонь. Так, школьные кадавры – надо открыть школьные кадастры, и дальше – свободная тебе полоса, аэродром.

Так и звезды ждут дорогих гостей, "Кривосток" в метро играет – девушка довольна. Половину кубанского вина выпьют – шумряк такой же, как в Союзе. Прибитая синичка как-то села ко мне на балкон, я уже прикидывал, что спасу ее – посажу потом в клетку или витрину, но тут огромная сорока мелькнула тенью, второй атакой подхватила ее за лапку и утащила в небытие, только и слышал я жалобный писк, сорока-воровка – суп варила, а в супе крутила воронку.

Они машут шашками и роют себе траншеи на Кавказе. Они выходят полуголыми на балкон полюбоваться закатом солнца. Они машук-лермонтов-машук и бир-сум-путин-бир-манат. Они бесконечная помесь Достоевского с муравьем, мнящая себя величайшей загадкой вселенной. Они чума, выдающая себя за недоразумение и шутку. Они – это вы, это они, это вы все, и чтоб вам сдохнуть, гады.

And свет till the tone, and tone till the dusk, и нефть till the свет.

И где Америка? А где Европа?

И где Америка? А где Китай?

Где Иаков, а где Ангел? Где стул, сын, король, дровосек? Звук сцепок на станции, лай собак во дворе, и запах, запах, конечно. Ах, какие там религии были: мудрочки, старички, колодцы, дворики!

Когда я приезжал в Одессу, и слышал ночью звук сцепки, лязганья ваго-

нов – там внизу, в порту – это значило, что порт работает, и значит, Одесса живет и будет жить вечно.

Подлежащее волны под волной, собаки, фонарь, маяк, мыс.

Нет, это уже не наивный водосборочный цех, это море, холм, вечность, земля, пока саперы все осматривают. Уже четвертый раз, кажется, осматривают они эти салаты и эту букашку рыжую вверх. И теперь смотрите, есть ли у нас всех вместе общая этноконфигурация – разве это имеет какое-то значение?!

Господи, каким красивым может быть язык, когда он твой! Вот идешь ты, скажем, по улицам Харькова, и чистота твоя крапчатая. А ноги оленьи твои. А стоишь важенками. Язык что брызги океана – в полой чаше меж другими языками перекатываются. Когда я вожу экскурсии по музею, всегда говорю ребятам, чтобы они не упустили из той боковой комнатки подняться наверх и увидеть Тянь-Шань. Русский! Молох! Смертельно раненный. Верещагин. А Василию Ивановичу Сычеву я просто говорю, что сын он, и таким пребудет вовеки.

В потоке тепла, потоке сигарет – вот они плавают в Одесской бухте с разбитой шаланды папаша Сатыроса. Может, мне удастся еще подтянуть к себе пачку-другую, пока они не размокли.

– Сколько они так могут плавать, не размокая? – спросил я приятеля.

– О, довольно долго, – несколько опрометчиво ответил он, – пока крыша одесской кирхи не покроется снегом.

Извращенный жизни опыт. Истощенный жизни опыт. Он танцевал у журнального столика, высоко подкидывая ноги.

Смотри, не смахни сигареты со столика!



Их останавливает украинская полиция. У нее в руках удивительные штуки. Их останавливает полиция Хольгера Датчанина, у нее в руках удивительные копья.

У меня ребенок маленький, деморализованный.

Так маленький, или деморализованный?!

Запеклые бои на побережье. Сегодня гибнет там 71-я российская армия. Они хотели пройти от Николаева к Одессе прямо берегом моря, ступая след в след.

Не получилось – их там мочат сейчас лопатами и кольями.

Мы не знаем, вглядывался ли капитан Немо в бушующее море, да и что там можно было увидеть. Мы только знаем, что окна были на все четыре стороны света, два подоконника сетчатые, два подоконника дырчатые. Я не знаю, что там можно было увидеть. Хотя взгляд наш послушно и женствен-

но всегда притягивает луну и бушующее море. Или я падаю вниз, как тряпка, на пол сетчатый или дырчатый.



Кодировка женщины – хлеб или мадонна. Но при любой глубине подола: а) слоны, б) тоже слоны. Ты можешь что-то сделать, можешь покрутиться, только встать не можешь – будто тебе всадили галоперидол. Впрочем, еще раньше, с самого начала тебе всадили мышку. Если и берешь бомбу, то с огромным запасом морковки!

Зачем ты всадил в бомбу столько моркови?!

Луна светит с обеих сторон двора. Но мы все равно гребем в Америку, без компаса, руля и ветрил. О, если бы знать свои координаты! А что собственно даст знание своих координат?! Море – саргассово, сердце – сердцево, луна светит с обеих сторон двора. Наши борта покрыты газетами.

Образчик "Пира Тримальхиона" он взял с собой в изгнание. Экземпляр "Пира Тримальхиона". Издание "Пира Тримальхиона" – тяжелое как дом, как панельная плита, способная придавить и мокрое место оставить жарким июльским воскресением. Он взял в изгнание – когда рассыпаешься в человеческом плане. Только плотника, клювик плотника ты способен оставить. Или, будучи чайкой, описывать круги над мостом. Описываешь круги с бутылкой в кармане халата.

Но все-таки ярусом, дирижаблем я что-то еще затеваю. А вы затеваете ли?

Мне мерещится очень простая доска, пусть это даже будет доска пионерлагеря, и к ней прибиты белые треугольники, обозначающие паруса яхт.

Я – Светлана, но сейчас я должна обратиться к вам под именем Марины. Так меня попросили. Я не знаю, почему я всегда должна обращаться вот так, как Гельдерлин, фрагментарно. Почему не могу я единый спич составить, как разговор за столом в ресторане, жареный, под потолком или лунной.

Когда старушкой или бабушкой уже ты продолжаешь пить и дышать, хоть и знаешь, что это вредно, но ты не можешь посмотреть бой по телевизору и узнать, в чьих руках находится бабушкин город Вознесенск (область Николаевская). Ты протискиваешься в комнату и обходишь углы стульев, но в момент взглядывания или обращения, равный Христу, ты все равно отступаешь от него на толщину волоса или телевизора, Гоголя или стола.

А потом они говорят тебе, что ты уже хорош/хороша, как пятничный, субботний или воскресный. Или как поэт Вознесенский. Помнишь, мы си-

дели с тобой за столом. Кажется, ты была Ольга. Мне очень нравилась Ольга. Хотя девочка Марина или Светлана мне нравились больше. Я не знаю, почему это постоянно должно быть вглядыванием и Ольгой. Вроде вглядывания в то стекло или полоску войлока, которая только прижимает картинку к раме.

Этот плотный спрессованный войлок, этот камертон, единство и надоедство.

О, эти великие слухи! Но мы не знаем даже, что с мальчуганом случилось. Он исчез, он превратился в войлок, он наркоманил, он утонул? Да, 98% за то, что он утонул. Так и вглядываешься на 98%, сохраняя нищету и бедность, и лишь на два процента развернутый веер в руке его.

Традиционный фестиваль. Сперма, распространяющаяся все дальше и дальше по зрительному залу в этом пионерлагере. Бесконечное осеменение в сторону небытия или дерьма.

"Иди-ка сюда, Афродита! – говорит Тициан. – Покажи нам зеленый!" Или его бледный очерк, только и возможный на этой стороне бытия?

Ты все еще смотришь футбол, или тебе идти туда?

Да, я могу идти туда, переходя из вагона в вагон через все эти страшные грязные тамбуры. Пользуясь врожденной смекалкой, я даже могу отыскать туалет в этом движущемся составе.

– Я ушел уже в какие-то совершенно другие миры, – говорю я и делаю жест ладонью, будто отгоняющий муравьев.

– Да, ты ушел уже в какие-то совершенно другие миры, – соглашаются они.

Впрочем, я ведь так говорил всегда.

И они так говорили всегда. И всегда этот состав, Юля, состав, и всегда этот муравьиный жест рукой.

Вопрос ставили ребром, и называли его "панихидой". Гроб водружали плашмя на телегу, и называли его "милый мой, где бы ты ни был..."

О, это "быстро культура, быстро!" О, эти долгие века христианства. О, где бы ты ни был. И пусть они называют меня Яковом. Я даже горжусь, что они называют меня по имени-имени – как всех ямщиков, денщиков на пажитях вечности.

Нет воздуха. Молодуха, московское гуляние не дают это видеть.

И все равно, я вижу вдруг – два белых таких сезанниста славных, в пальто, в Измайловском парке. И я останавливаю их вопросом:

– А скажите-ка, ребята-сезаннисты, а где здесь...?

И шапочка разумного черного перехода вдруг прошелестит на ветру.

Они выстраиваются в юмор – как в степь, как в мудрую колбасу.

Первое "почему?" – и он становится Памятником.

Второе "почему?" – и он становится Соблазном.

Третье "почему?" – и он становится Дядей-Спасением.

Он всегда в привилегированной позиции. Его пальцы, большой и указательный, сложены колючком. Возможно оно заменяет игольное ушко. Возможно он также бьет себя в грудь.

Он торфяной и всегда будто свободный. Вот он какой – контролирующий, чтобы все на коленях. Но он также контролирует, чтобы все двигались, чтобы Али-Бабой в пещере или комаринский. Они свободны – как солдафон, растворяющийся в солдате, или в усах растворяющаяся лодка. Налево и направо меркнут в крутящихся рукавах рубахи.

Может быть, только Африка, быть африканцем, дает тебе возможность поехать в любой момент, в любую катастрофу?

Господи, неужели мы из планет сотканы?! Или из комнат мы сотканы? Или из теории полонеза?



Вот он, влюбленный Гитлер.

Вот он, влюбленный медик.

Вот он, носок полусползший с ноги его, полусползший, рукав полуспущенный.

Чтобы понять суть политика-ортодокса, достаточно посмотреть, как он двигает рукою во время еды.

Специфический код: расслабляться рано, будет бросок на юг, будет катапультирование.

Нам еще только предстоит шорох перестроечной машины, переходящий в уколы.

Черт, а у меня уже все руки исколотые!

Нет, вы еще не знаете, что такое "исколотые" – до такой степени, что переходящие в лапки, в изодранные, в ниточки, артерии, и этого еще мало.

Код да Винчи исколотый до состояния всемирной блевотины.

Я хотел бы завернуться в нежные полотна Хелен Франкенталер и в таком виде броситься с борта самолета.

Я хотел бы завернуться в полотна Тициана – так, чтобы мое лицо распласталось в триединстве моего лица, лица Филиппа II, и цыганенка.

– Только чтобы эта срань господня, именуемая "Россией"...

– Секундочку... Чтобы что?! Чтобы "выбежала на улицу"? Секундочку, чтобы "не завезли"? Чтобы "молочный"? Чтобы "рынок"? Чтобы "комбинат"?

Словарь. Словарь, который выбежал на улицу, оставляя молочные следы. Хотя его очень любила (в хорошем смысле, любила) одна хорошая девушка.



Выставка высокого воздуха, или выставка мух, или выставка прыгающих с колесниц?

Но нет, всего лишь переводы – высокого воздуха, мух, Фаэтона. Переводы, стоя на колесницах. Какой перевод лучше? Все они добренькие. Магистры, вы должны спрыгнуть со своих колесниц и оценить, какой перевод лучше! Правда, после этого вы уже не сможете вернуться на колесницы. Они отправятся туда же, куда отправляются бабочки или рыбы, отмастившие икру.

Вот только как свершить этот прыжок Фаэтона, Диониса, эту отрыжку, судорогу, этот Наксос?!

Идти туда, где воспоминание разлагает все земли, как собор Святого Петра, где оно бормочет: "Я сам", "Я сам", и приседает, и оно курица.



Мерещик тревожит меня, или мерик, или мерингдам – все они в бесконечную цепь уходящие, где Труд, и лопаты, и Петрик Первый выставляет ногу, и высоко вздымает крест.

Что делали с лопатами в Средневековье, когда лопата умирала? Их просто бросали в поле, чтобы подобрать мог любой – если, конечно, не сгнил черенок.

Или я вижу россыпь белых цветов, горошин, уходящих во мглу, как Труд, уходящий вперед, в светлую мглу времен, где он наконец-то исчезнет.

Как тот пролив, Дарданеллы, до которого мы так и не смогли дойти, потому что все поля были перегорожены каналами разобранного на орошение Скамандра.

Она повязала голову платком. Она выглядела очень симпатично, я даже подумал, что люблю ее.

Как блюдечко узорчатое, ждущее нас на берегу пролива, на подоконнике.

Он целует старую китайскую лютню, именуемую "пипа", а имя ему Ван-чин. Это настоящая китайская лютня? А он настоящий китаец? И лютня ли это вообще? Может, целует он только вонь, слезы, перегной, левкас? Остистый скелет коня? Инцидент с горнистами Самсонова? И нет никакого Ван-чина? Я все думаю: может, Пастернак хотел написать "не разбудят...", но изначально случилась опечатка, и так оно дальше пошло? "Не разуют..."? Они погружены по щиколотку в дно, в топи болот, и их невозможно разуть? Может, и так.

Ван-чин исчезает. Зато теперь он появляется как старый комод или часы с боем.

Я составляю список команды корабля. Мне не хотелось бы вписывать

туда лишних людей, их мертвые бороды, их лишние контуры, проложенные левкасом. Но наши руки уже тоже никто не разует.

Хотя я всегда любил эту работу: разминаешь левкас пальцами, разогреваешь его, и он наносится легко на те места, где должна быть борода, рука, нога или ленты народных орнаментов.

Да, товарищей и интересов на старых судах хватает. Только порой они перетворяются на какие-то призраки, чудовища, протоки. Ты не знаешь, что с ним делать. Нет, оно тебя не съест. Но оно тебя парализует. Своим взглядом из-под очков или своими волосами.

Уже нет надежды надеяться. Портрет моей бывшей супруги, или портрет ее матушки, или неизвестная персона с длинными волосами – мы уже никогда не узнаем. Все меркнет в неразличении.

Девки с длинными волосами. Левкас или помада.

Сколько он жрет пограничников? Сколько он несет в себе смысла, сколько он ест небылиц, сколько он в темряве?

Конечно, они все живут, все воспоминания. Тяжело прыгать, когда тебе ставят цель вплитык к прыжку – она как стена.

О, тринадцать месяцев ридного нам Пушкина в Одессе! Теперь мы отме-ряем по ним не-бытие. А время отме-ряем пером гусиным. А он же гусиный – разумный, праведный работник, в темряве ходит и сторожит осенний лес.

Мы только мечтаем, чтобы великий горизонт событий пожалел нас, как матушка, чтобы невыносимая легкость бытия в доме веселом принца, за узорчатым лесом.

"Скорее! скорее! Медсестру!" – он поглядел через плечо на узорчатые леса и грустно побрел к выходу. Он знал, что к стартам его не допустят, да и стоимость российского сырья сейчас гораздо меньше, чем риск его покупать. Мы все – воинские (и)грушки!

А Пушкин – что Пушкин?! Он посмотрел (на них) в трубу и захлопнул дверь.

Наследники престола нежились в ванне (или в Крыму) так, что у них отмокли даже нательных крестиков нити.

А Пушкин, возможно, погрузился опять в сладкую поэтическую задумчивость с моста.

А я лично беру велосипед.

Так он исчеркивает линиями бока – то ли бока судьбы, облака, то ли стены тюрьмы, измерения длины и ширины. Это перья ангельских крыл, и он бросается в их различия по природе, как в заросли выюнка. Гусиная, беличья грудка в зарослях выюнка.

Почему человек, так любящий губы, отрицает сладкое? "Ну красотки... – говорит он. – Ну волосы кверху. Ну стройненькие..."

Ты скорее всего или сломаешь себе шею, или окажешься в партии, но не в той, что себе пометил. Везде и в любом музее ты будешь попадать в еврейский дом в Одессе.

У дурачков всегда есть хитрая схема, когда молот ведьм можно повернуть на 90 градусов и сделать его безобидным. Но может ли удовлетворить нас такая схема?!

Вот и стой теперь в углу, извиняйся за свой капюшон, который вроде бы снял – ан нет, снять не можешь!

Да, можно жить, сдерживая влияния, сдерживая изменения, кричать: "абсолютно! абсолютно!", хотя никакого абсолюта вокруг нет – и зачем тогда жить?

Или говорить: "можно, я приду, буду работать с бумагами, но обращаться к вам не буду?" Зачем же приходиться, если не собираешься обращаться?!

Я хочу не просто сидеть на балконе. И не хочу быть благой колбасой художественной жизни. Даже если упаковываешь, любая коробка должна быть как акт, кактус. Во всяком случае, тебя увидев, мы сразу переехали в Чоп жить.

Это была счастливая находка. Я знаю, ты не заходишь туда без фотоаппарата. Но я знаю, там пустые квартиры, фотоаппарат бессилён.

Словом, сумасшедших? Словом, второстепенных? Словом, не разберешь – где русские, где украинцы – потоки растекаются и сталкиваются на полюсе мира. Словом, кипеж.

Григорич, ты прибитый по-прежнему к холодной стене? К степям Забайкалья? Или ты же уже Хрисаор?

Вот он пишет песню про Одессу – жемчужину у моря – покрытую остывающим песком. Или вот он встречается с психиатром – поговорит-поговорит, и начинает писать новую картину. Поговорит-поговорит, и начинает...

Потому что сознание не есть сознание чего-то, оно само по себе окрик, крик. Так что, если переезжаешь куда-то, будь в шлеме.

Что ты ждешь, барыня?! Руины выращивают на хую, можешь смеяться! Там все как бы фольклор, как бы крестьянские дела, стога выращивают, смейся!

Пусть он разрезает или сам хохочет. Подтягиваемся!

В природе недоверчивость – признак слабости. Египтяне, писцы сидящие – наверное они были правы.

Мы просим помощи – как египтяне, как запись древняя "не скажи врагу".

Доски провалены, прошляплены, кое-где разошлись.

Но при этом скорость, которую ты должен придать любой доске, чтобы она покинула орбиту Земли, неизменна – 11,2 км/с, она не зависит от размеров и массы доски.

При этом Вадюнечка и его друзья не так уж определены, чего они, собст-



венно, хотят: победят Россию или победит Россия.

Доски могилы кое-где разошлись, они ощерены, прощля-плены. Они собирали всякую мелочь – пыль, тряпки, мебель, песок.

И вместе с тем, ребята, в эти сложные дни у меня есть для вас хорошая новость – архив Нью-Йоркского радио не пострадал! Его сжали, спрятали – и теперь вы можете прослушать из него любую песню.

Так что я скоро наверное должен буду перейти на английский. Примерно так: деспайт стужа и радиоактивный ветер, выход наружу разрешен. Надо только одеться потеплее, по-эскимосьи.

Но вот дисклаймер надежды белой и ненависти – его от меня не дожде-тесь!

"Не могу я произнести ни слова вновь", – так ты скажешь?!

А я все в вихре слов синем, голубоносном, революционном, я в матроске. Я офицер, я адмирал, я член парламента – у меня прекрасные отношения с членами всех партий, со всеми четырнадцатью.

Не ссы, хоть и стыд-то какой! – мы в самом деле живем в эпоху подобий: голые ноги твои, хоть и адмирал, синяя фуражка, разбитая о воздух.

Я вспоминаю годы, когда жил в Москве, и все казалось таким отлаженным – эти выставки, эти квартирники, эти кухни-кухари наталкивались на воздух, но не разбивались.

А сейчас вот "смело, товарищи, в ногу" – бессмысленное падение дурака с вишни, а ноги-то голые у адмирала, и в почве две дыры, куда ноги про-растают.

Но интересно, а как они там в Москве сейчас – неужели по-прежнему квартиры берегут, не замечая голого падения адмирала?!

Стук в дверь, входит Энгр осторожно, и с ним натурщица его Сюзанна. Будем рисовать, скосив глаза. Даже если она уродлива как Крупская, и не кругло лицо ее, и не волнисты волосы.

В любом случае, цель свободного художника – пугать, путем победы или путем поражения. Ты должен пугать, не боясь сам – как будто пугаешь камень. И, может, в самом деле, испугаешь слегка – эти ленты, эти галуны, эти золотые чепцы.

Вопрос, кто на кого первым закричит. Ответить уже легче будет. Впрочем, зачастую ответ может быть только один – бить в морду. Кто не захотел расковать мир, разомкнуть овал хоть на одно звено – разойдись, клешня, и бей первым, Фредди!

В мире всегда можно найти точки с повышенной консистентностью, где одна вещь буквально парит над другой. Скажем, Украина парит над Грецией со степенью 100. Греция парит над Турцией со степенью 10. Только да-

вайте сразу уберем панихиду из этих соотношений. Друзья, думайте не о цветах, думайте о свете. Вот, скажем, в Полтаве живет пара, которой нравятся целоваться. Ну и прекрасно – отправляйтесь в рай или в просвет. А этого вот заставили выгнать из дому мальчишку-христа-измаила. Вечером он плакал. Конечно, он мог гордиться, что послушался приказа, но его уже душил страх перед вечностью – выгнал из дому мальчишку-Христа! Степень разрыва размером с вечность.

Один ответ мы уже получили, а сегодня грядет и второй, и третий...

Каждый ответ – это "порой", это трава, это ребенок.

"Что еще может может случиться?!" – спрашивает она, запрокинув голову.

Откуда мне знать, что еще может случиться – на балконе, на крыше, растут цветы, деревья, летают птицы. А потом что-то случается: одно движение – и тебя уже поставили на кучу, играть в "царя горы".

И, конечно, не надо забывать книжки, что принесли нас сюда. Разные книжки – в том числе и наши собственные, самоотрочные, книжки про число звезд на небе или складочки на морде бульдога.

Когда мы ворвемся в небытие и будем искать там место, мы найдем только самих себя. И поставить ногу на кучу.

Как бы я ни называл эту песню, но она рождалась в несказуемой глубине подсознания, и еще она была на коньках. И еще она была девушка светло-волосая.

План выполнили загодя. Но потом посмотрим – а там замок в ночи! Или они пошли мою выставку посмотреть – а там такое творится!

Или еще можно быть овцой курчавой – несказуемой, несказуемой.

Или еще можно быть курточкой актера – смешной.

Или курточка распахнута, курточка-жилетка, курточка завитка.

Произвести экстракцию между камнем и анархистом, между Бубой Кас-торским и "здрасьте!".

Это тема Филипа Гастона, так произведем же экстракцию между Гастоном и печкой!

Доска моя, все смотришь на нее! "Я", которое плотно сидит в своем ведре, своей плетенке – это свидетельствует о его ущербности. Оно должно было крутиться свободно, как сердце и летчик, или дзэн-буддизм.

Это последние, очень важные разговоры, их уже нельзя оставить на потом, на скандал или на волна. Их нужно держать на "гореть".

Никто не хотел наблюдать за этой операцией, мне самому пришлось наблюдать за этой операцией. И все равно, я хочу еще напеть, чтобы было безумно, и страшно, и в шляпе. Прищурив один глаз, надев кожаную куртку, прищурясь.

Мы оказались перед лицом величайшей несправедливости и подлости в мировой истории. Мы оказались перед лицом величайшего злодейства. Мы оказались на самом ободке блюда. И нечего придуриваться, что за его пределами есть нечто, кроме величайшей тьмы. И нечего придуриваться, что мы можем вглядываться в нечто иное, кроме нее. И в куртке, и в шляпе, и прищурясь.



В некоторых жанрах, в некоторых государствах, перегорев ловкий шпиль – ажурная амeba на ветру, сопротивляющаяся ветру. А усердный ветер все несется в глубины земли, он говорит "р-р-р!" и начинает атаку.

А они сидели за столом, как если бы они сидели в Сибири, и пытались хоть на минуту забыть о Леночке, как если бы они сидели в Крыму.

Господи, зачем я сижу здесь?! Почему я не могу порвать этот холст? Почему я сосредоточен на вещах, скорее, инфернальных – вроде клочка ваты, падающего сверху на этот холст.

Он разрезал женский купальник где-то в районе попы, потом натянул его на себя. Так они ходили по городу, заходили в кафе выпить кофе – день-то был воскресный.

А племянник императора жил безвылазно в Америке. В тамошней колонии ему больше всего нравилось право казнить осужденного из луков, как в Древнем Китае. Или, может, он жил безвылазно в Крыму? Всего не упоминай.

Прорвать время в пользу цыганочки белой, ахилловой – об этой цели знает даже Аллах. Нам нужно прервать разговоры о всякой духовности, не забывая при этом о ней, духовности – платок, падающий сверху, белый, он как цыганка.

Я тороплюсь. Среди вас много людей, которым можно подать руку, ногу, черт знает что еще подать, но я хочу выкинуть вам книгу. Замена зрения на канитель.

Или, напротив, замена книги, пуговицы, женского живота на вращающийся, пугающий зрачок.

Или: ты готов заменить англичанина на дирижабль, немца – на дирижабль, русского – на дирижабль?

Тут он задумался – русские, они ведь гораздо подлее, чем все остальные.

Ты наверное беспризорник, и тебя никто не пасет? Ты живот в Африке у костра? Ты кубок-кубик брошенный, что не изменит случая, у костра? Твой пунктир – вся история, у костра, и даже когда открываешь холодильник? Ты – малышня?! Каша манная с чесноком – твоя колея. И козлиная борода.



Ты из барака выбегающий под дождь, скрывающийся в бараке после дождя. Ты "лешана хаба" в Иерусалиме, ухабы, тарахтелка?

Твой взгляд, который я любил больше всего на свете. Продолжение, продолжение, никому не нужное, свертывающееся кольцами, слезозмейка.

Пятна краски, гладь лимана, солнечный свет, да пребудет вовеки!

Это всегда размышление между окном и потолком. Это следы войсковые. Чарли или Джерри лохматый смотрят в окно. Что тебе снится, мой город? Ты сейчас Збышек или Зыбченко?

Самое интимное, раковистое, розовое – вот оно, книга на развороте, шейка. И все-таки вдали. Я думаю, ни Маркс, ни Альберт ничего не смыслят в этом. Элохим-Молотим – быть может смыслит. Это лепнина, стада на горизонте. Штурмом по Гоголь-стрит. Или по Гоголь-фест? А картины – ну что там картины, даже Дюшан в общем-то писал картины. Обращаясь ко второму ряду, к третьему – всюду ты увидишь Его лицо, Горелика-горелки. В этом моя философская задача. Я не верю ни в какие Сухие законы. Но не забуду и не прощу тех, кто составляет эти азбуки.

Ах, они – интеллектуалы!?! Ну пусть тогда борются! Борются с загрязнением окружающих листов, с климатом или Климом. Но мячик всегда летел, пули всегда летали, обнаженный сидел экспонат. Семь точных работ в схождении мира. Я вас покину.

Наш народ, он готовый и подпоясанный.. Я все время боялся, что будет страна "уже" или "страна маленьких палок". Но нет, не будет! Отводя потоки. Порой ноздри забиты остатками картофельной чешуи, но пули все летают – перелетают, так что продолжаешь этот пруд, и остальное неважно.

Распечатать или растоптать? А ты ночами делай...

Я не знаю, доживу ли я до победы, до освобождения, которое сводится... К чему, собственно, оно сводится?

"В ближайшее время", в "неближайшее время" – когда так говоришь, прямо чувствуешь себя старцем мощным, седовласым, вроде Леонардо да Винчи какого-то.

Столбы, овцы – и мы всегда выставляем на кон по двое: либо овцы, либо столбы. Как Леонардо да Винчи или Иероним в пустыне.

Или как разыскать корзину, когда до отхода поезда остается пять минут.

Или колено, рубище, прикрытое вышиванкой.

И как оно засядет на могиле мамы, и запоем "мені однаково чи буду я жить в Україні чи ні...", и как выдвигают ящик... выдвигают ли ящик?

Да, недаром набросился на моряка старый Пан: "Ну и какой же ты ста-

вишь заслон?!" В ящике Пан.



"Хорошие времена...", "плохие времена...", что это значит? В чем она, разница времен? Во временах имен – имя? Во временах стран – страна? Это цепная передача, цепи на колеса, вездеход-паровоз на льду.

Она написала: "Никогда не прощу!" Никогда не прощу вам, всем причастным к этому, до самого последнего тротуара, за то, что она написала: "Никогда не прощу!"

Такая вот повозка, инвалидная коляска, балет на льду, если угодно. Паровоз Платонова, рвущий тягу Сатурн.

И еще она написала: "Спасибо нашим ПВО, они работают хорошо..." Как вы думаете, можно простить до конца времен, всем и каждому, кто причастен к тому, что она вынуждена была написать: "Спасибо нашим ПВО!?"

Я зашел в ночной магазин взять еще вина.

Продавец сказал мне "мерси!" и упомянул про Ататюрка, который, дескать, любил говорить по-французски "мерси!", и так это вошло в турецкий язык. Я тоже розповив ему на своем ломаном немецком, как уважаю Ататюрка. И не знаю, как относиться к армянскому геноциду. И не воспринимаю куриную гордость нашим собственным Холокостом, самым холокостным в истории.

Я – слон в посудной лавке, ты – слон в посудной лавке, мы все – слои в посудной лавке, слоны на льду с разъезжающимися колоннами. Но я не могу предать и не могу простить. В конце концов, мы ведь не более чем детсадовские малыши, выстроенные друг другу в затылок, чтобы идти на прогулку.

Один удар за все удар, одна байда за всю байду.

Я всю жизнь побирался где-то там, за пятиэтажками, хрущевками, панельками, лекорбюзьевками. И ненавижу бронтозавров. Я понимаю, что время от времени повторяю слова – те, самые светлые слова, которые должны произноситься лишь однажды. Но раньше я считал, что это они, бронтозавры, заставляют меня быть панелькой-паинькой, пятиходовкой на окраине и повторять слова. А потом понял, что сам лишь жалкая жилочка, песчинка, мясочка того динозавра.

Дело не в том, что мы умеем изображать природу. Дело в штрихах, которыми мы это делаем. Точнее, в великом дифферансе между природой и штрихами, которыми мы это делаем.

Порой я думаю, что величайшее счастье испытываю просто от того, что существует живопись. Штрих, удар, мазок. Один удар туда – другой мазок сюда, биение снулой рыбы, печеньки на Майдане.

Я вылавливаю младенца-Маньяско из волн Нила в плетенную корзинку.  
(Один венчик туда – другой венчик сюда.)

– Добрый день, господи!

Один кивок со сцены и туда, и сюда (Бруно Шульц).

Дымные странствия по предместьям. Которые перечеркивает один бросок: композиция, революция, Украина.



Это египетский лифт на Миссисипи. Эшафот на пляж. Тот всеобщий пляж на берегу Черного моря, где мы все еще бежим в мальчишескую атаку, в бумажных шлемах, и черт нас всех там разберет, в пятнистых бедрах Бога-Поручня-Слона.

Я подгоняю себя? Возможно. Как зайчик, подгоняющий себя прутиком.

Маньяско, подгоняющий себя, стоящий на месте, что твой кинотеатр, солнечный, и в пляжах, ночной. Уставший, опустошенный, останавливающий потоки. Как уставшая История, вдруг разверзшаяся для нас бездной.

Откройте кингстоны, господи!

Всё, в принципе, одним цветом, гризайлью, одним Незнайкой, и только потом, в самом конце – панцирь синий или красный. Ее раздвигание, ее отчаянье, Истории, ее кукольный театр на колесах – сказал, но двинуться не можешь, красноротый Шура-балаган.

Или Карабас-Барабас, или прусский школьный учитель, выигравший битву при Садовой. Или уличный шарманщик.

Про обезьяну Истории. Ее выдру-гидру.

Где и как он умудрился все это узнать? На огибающем залив пляже Генуи? Неделях высокой моды в Милане? На дальних улицах Флоренции? На нюхать горшок герцога?

И если монетку в 25 копеек прилепить к перевязи герцога, а потом ловить каждую возможность, как она там поблескивает – "синее на синем не работает...", "...работает"...

Или уехать с родителями в Великую Александровку Херсонской области, как раз накануне того дня, как в Одессе объявили карантин. Ее, Истории, гнев кудрявый, пёс, его сапоги, его пост без головы.

Зрада – когда понимаешь. Но и когда не понимаешь – тоже зрада.

"Только не сжата полоска одна..." Отсюда пошла русская реалистическая живопись.

А моя живопись откуда пошла? Скажем, американская подлодка, всплывающая у берегов Днестра. И зажавший в отчаянии ворот рубахи – потому что это не гимнастерка. О, у Маньяско так много этих сияющих воротов.

И не надейся, ампулы яда там нет – ты ведь не японский шпион.

Правда, еврейским шпионом, кастрированным Почемучкой, я тоже быть перестал. Слава Богу-Тельцу!

– Ты не проголодался?

– Конечно, проголодался. Подавай гайдамакам капусту в степи!

Нужно время! Нужен перенос энергии, подкопить плодородный слой – так всегда говорят. Но где же его взять, это время?! У нас его нет – как ни единого окошка в небоскребе и ни единого стеклышка в Метрострое, только проваливание Истории в между штрихами, которое и есть она сама, История.

Как человек, который проезжает сафари на четверть возможной скорости, да еще и с кучей ассистентов.

Как верблюд, просовывающий свою голову в замочную скважину. Как фараон.

Как распределитель четвертухи моей жизни по московским многоэтажкам. Да, не каждый захочет потратить часть своей жизни на эти панельки, шлюшки. Даже в таком вкусном зимнем московском воздухе.

Или как зайцы. Вы знаете, что они могут загрызть один другого в драке? Что они могут штурмом взять нору? Но только в группе – поодиночке зайцы безвредны.

Наверное Николев-Егунов описывает победоносное восстание "по ту сторону Тулы", бег на месте со спущенными штанами, шелупень революции и баррикад – при полном отсутствии таковых.

Так и я сегодня получил документы – с правом ничтожного совещательного голоса.

Продолжаю с правом ничтожного совещательного голоса, превращаю его в солнечный вечнодлящийся ветер.

Или в унылый челн вселенский, полный ебнутых петровских дум.

Или рвущаяся в никуда матросня. Кубок Света упал, надломился, гикнулся об отроги Кавказа.

Эх, мальчики Федя, Коля и Петя!

Никчемный петушинный гребешок, жухлая поросль непреходящего восстания-события.

Это все равно, как поставить скобочку и спросить (указывая на скобочку):

– А ты часом, деточка, не Бондаренко?!

Порой мне кажется, что я готовил важное сообщение – без акцента, без сожаления, но отказался от него, выкинул и выбросил, стоило какому-нибудь московскому Ленину указать на недостатки в моей работе.

Но нельзя ли теперь это сообщение хоть как-то иголкой, молоточком подманить, сделать чучело из этого сообщения-дятла?

Дерево нашего чванства и нашей услужливости – хайль, апельсин!

Ха-ха-ха, апельсин – подымайся повыше!

Страницы, которые распространяются подобно Кассандре – эти однобокие, коронованные, неудачливые страницы с прорехами. Петли, сеточки и пояса. Розовеет восток.

Черенковое, чемное, черемушкинское сравнение. Движение, изгиб по линиям семейного инвестирования. Извивы Ингульца, дело Бузины-Ракевича. Лицо папы, виды Ялты, поиски массандровских вин в Крыму. Раз за разом забег вдоль Ингульца. Между Великой Александровкой и Малой Александровкой, расветное автобусное шествие в сторону станции Белая Криница. Это когда я первый раз в жизни увидел восход солнца.

Изогнуться так, чтобы желание телесное внутри было больше тебя самого – как машина для получения тока из моего детского изобретения, маленькая электростанция у угасающей реки, которая внутри и больше тебя самого.

Когда-нибудь, на исходе своего страшного и дырчатого века:

– Надо убить кого-то!

Ну кого убить всегда хватает, медвежонок!



Кто-то ориентировался на сны, кто-то – на строфные ряды, а я ориентировался на клячу. Задняя поверхность шпаги короля сломалась с характерным треском: Бабич! Царь! Смурной Выход!

– Не хочу я в родной город, – говорил Бродский, – не хочу дорожные линии ниже линии штанов!

Ну и зачем было так низко опускать изнанку занавеса?!

Соревнование по игре на железной флейте времен династии Цинь. Перевернутой другим концом – получается перевязь.

перевязь.

Когда я прочел антологию поэзии "Ява", то долгое время мечтал уехать на Яванское бьеннале, но так, чтобы жить с изнанки его, со слонами.

Что скажут теперь про это Андрей или Никита? А что скажет Маньяско?!

Мой отец имел обыкновение завтракать при ясном утреннем свете. Куда же теперь поместить его?!

Вот он уже позавтракал с Полем Целаном, а теперь придется по полям и новостройкам, посмотреть как выполняется приказ об их разрушении.

О, зачем я записал себя в Ланселоты?!

Железную хату построит. Красную изнанку к гранате приколотит. Некоторые называют ее "жено!". Некоторые – вниз по лестнице, считая от десяти.



Они обнимаются как Чичиков с Ноздревым: "Давай-ка я поцелую тебя, Мордаш!" Как рафаэлевская мадонна с младенцем Христом – а он, ползучий потрох и медный змий, и у нее на коленях. Я знаю, жидовское отродье продолжает жить, подкинутае в этот мир под видом Христа или медного змия. Под видом "главное – чтобы не гибли люди" или под видом "сохранить идентичность еврейского народа".

Я не знаю, как прорвать пелену этой медной приязни заодно с медвяными подлостями. О, как подло, по-салтыковски горят глаза младенца Христа! Это маска, которая хочет запрудить нас всех! Это же серафим-сыроед – скушаю каждого, даже без сахара!

Я есмь Воскресение и Жизнь, и говно в полете, и розанчики над Сахарной. И умножьте на тот еще час! И на то еще мгновение! И на "я все сказал, только пропустил автобус!"

Господи, как бы я хотел уйти от этого горящего знания к простому камышовому театру!

2022

## V РАЗМЫКАЯ

Надо раскрыть документы, объятия, надо вернуться в золотые сполохи света.

Бактерии бактериями, но я должен в среду заявить им про этот свет.

Избавиться от страха высоты – как горный енот.

У горного енота, знаете ли, есть в черепашке такая специальная амортизирующая жидкость, и куски мозгов плавают в ней, и по составу она напоминает алкоголь – можно сказать, что горный енот постоянно находится в состоянии опьянения, и таким он упрямо лезет в горы.

А потом была эвакуация. И длинными водными путями мы доплывали до Крыма. И там я ударялся о Крым. Я каменел.

И даже если "машина письма" – я должен подчеркнуть! – то это всегда отдельные машины. Они не составляют приятного концептуального целого. О каждую из них ты ударяешься головой по отдельности, в отдельной пещерке.

И постоянное раскачивание коры. И треск слитного дистанцированного дискурса. И затопление.

А иначе все эти игры разума окажутся не более, чем стоящими вверх ногами русалками.



Просто мы должны помнить, что в мире есть женское начало – то, что всегда допускает возможность иного хода событий. Тебе вот кажется, что эти объекты – вздор, перепевы старого, но в другой конфигурации и на другой волне они могут оказаться ветвью нового искусства.

Помнить про то, что любое произведение искусства всегда несет в себе возможность другого, пылающего заряда.

Или вот оно: хлопотливая Марта устало уселась у дверей послушать.

А до этого мне виделись прекрасные картинки с легкими штриховыми лицами.

Ставь себя выше любых привилегий – в том числе привилегий живописи.

Ставь себя ниже любых привилегий.

Ставь себя в самый синий погреб, в арабскую нищету. Пусть другие будут врачами или адвокатами, но не ты и не твои родственники. Пусть Махмуд Дарвиш будет нам как сын. Мы будем звать его "Александр".

И еще мы звали его "кошечкой". В пестрых листьях, в штришках и надеждах. По дороге из Тель-Авива в Иерусалим, что идет берегом моря, вдоль развалин дворцов и храмов, и античных скульптур. Заботы и стертые ноги растворились в блеске воды и солнца.

Наверное это шествие началось еще от Морвокзала в Одессе, оно было пропажа, кошечка, оно было Александр, оно было изваяния минус победы – только чистый блеск изваяний.

Вы хотите списки или вы хотите остаться живыми: как чистый лист или кошечкин блеск?

Я произведу революцию (в живописи), я произведу крышку, подобную чистым листам бумаги, невесомым танкам, я буду посреди войны отрезанным – сосной или соснишкой, или окунем.

Золотая чешуя, краснопёр, генерал Краснов, сваливающийся со своего плоского озера, ломающий запястье, такая вот живопись – чтобы он не мог заниматься живописью, чтобы оно как обрезание или небо.

Я решил пройти по этой дороге, полной штрихов и прорех, вдоль берега моря. Да, Александр Герцович, ты будешь рассказывать школьникам что-то из химии и математики, а я – про все остальное. Мы пройдемся друзьями, пусть и со связанными руками, и пусть нас шатает ветер. Я буду думать о Махмуде Дарвише и Арье Арохе.

Это будет великая дикость. Нищета и ничтожество. Посреди разрушенных и недостроенных могил, с кулоном надежды.

Как в порушенном бревенчатом дому веселого принца.

И ты, я знаю, будешь моей беглянкой киевлянкой под солнцем нищеты, под небом надежды.

В государственную живопись, в натюрморт или на край.

Я думаю, уже все ясно. Я думаю, сомкнутые ладони.

Потом они ужинают снова. Они едят утку, курицу, или что-то еще, и это так вкусно, что невозможно отказаться. Это вкусно как "брат" и "сестра". Потом они идут купаться в Средиземное море. Они толкаются, дурачатся... Я даже не знаю, что можно попросить еще.

Они подумали, что он может захватить власть.

Я подумал, что они всегда могут захватить власть. Их взгляды такие нежные, такие грустные, такая чернота и улыбка.

Я вспоминаю, что уже бухал с ними в Париже лет двадцать назад. Это

когда мы хоронили кошечку. Я уже где-то писал об этом.

Мы толкаемся, дурачимся. Это презрение. Это ночь взглядов. В темноте даже противоположность взглядов не имеет значения. Мы дурачимся.

"Стоит над горою Алеша..." – поют они в темноте. Внимание, своим приемником он видел Щербицкого. Они продолжают дурачиться в темноте. Ну и пройдоха он, она, эта утка, эта курица!

А потом начинается буря. А они толкаются. А ты не умеешь врать. Или только умеешь, что врать. Эх, змея подколотная. Эх, дом – тюрьма или корабль. Они уходят вдоль берега.

Я нарисовал какие-то белые овалы. Потом я нарисовал поверх них голову льва. Я не знаю, что это за овалы, можно было бы сказать, что это львиные яйца, его мошонка, если бы их было два, но их было больше. Во всяком случае, "вы должны смотреть на них сейчас, потом шанса уже не будет!" – так говорю я друзьям, заглядывающим ко мне в мастерскую. Ну они и смотрят – на улыбающуюся морду льва, на его длинную гриву, на эти белые овалы. Правда, потом уже больше никто из них ко мне в мастерскую не заходит. И в самом деле, с таким же успехом они могли смотреть на дверь, на дверной косяк, на пустоту или на солнце.



Жил Александр Герцевич, еврейский музыкант, и однажды во время ссоры с женой он так разошелся, что его уpekли в сумасшедший дом. "Миллион алых роз" превращаются в "купите папиросы". Желток воспоминаний всплывает наверх.

Так бросились они, с ослами навьюченными, лавинообразно, наискосок, и кричали: "Наверное, Господи, этого будет достаточно!", "Мы уверены, Господи, что этого будет достаточно..."

Бульон и гвозди. Люсьен Дюльфан и море. Ресницы, что ты всё суешь под подушку. Предупреждаю тебя, если мы все-таки встретим ее на бесконечных дорогах войны, как Шандор Петефи встретил отца своего, знаменосца, если мы встретим ее, я не сдержу своих обещаний. Если допустить, что я, петел-парашютист, вообще кому-то что-то обещал.

Провалы, фуфайка, макароны. Солнце – каким нарисовал его Ван Гог.

Они все уже бесконечно устали, и острые, и не острые, и больше чем за полгода войны.

Остается проверить: может, хотя бы в уголках глаз?!

Я мыслю себя как блуждающий субъект, но он же веревочка. И поскольку я никогда не узнаю покроя ее фартучка, то всегда творю его и перекраиваю в каждой картине – он же шут, и он же композитор, и он же дергать тигра за усы, и ждать в каждой картине: ведро = чулок = ненастье, и то-то



счастье охотнику... Хотя какое уж там счастье, если он не имеет ног.

Некоторые говорят еще про шанс на берегу моря.

Выжить?! Но разве может сейчас отдельно взятый человек, пусть даже хороший, пусть даже друг, разве может он выжить?!

Разве не тянутся к нему из морской глубины миллионы детских рук погибших на "Титанике"?!

Или вот, скажем, немцы. Или вот, скажем, рынки.

Или, скажем, все-таки возможность любить?

У каждого воспоминания и у каждой смерти свой ритм. У каждого угла, как говорится, своя отметина, и своя нехоженность, нетоптанность. И все-таки я мысленно пытался соединить их в большой многоквартирный дом, и смотреть на него с берега. И соединить самого себя с таким домом, и смотреть на него из травы.

Я говорю себе: "and death shall have no dominion". Я вижу дорожки, следы, оставленные инвалидными креслами в позднем, порудевшем ландшафте. Я знаю, что эти следы, прорезы – они и есть сам ландшафт, они делают его полет и шорох, его золотую осень и красные виноградники.

Мнящееся – огонь. Корабли между Ахавом и Хамом.

А я ведь нескромный, высываюсь. Вроде группового айтишника-отличника, да еще и танцор.

Вприсядку или гопак. И еще футболиер. И сливаюсь с ландшафтом, как Лев Толстой, который говорил, что писать стихи – все равно, что идти за плугом, приплясывая. Но ведь приходится! Сияние – приходится!

Будто комар, залетевший куда-то в нос и в евстахиевы трубы. Такой вот переплет. Цимес, Буковский и корешок. Зверюшкой процарапывать и "Локомотив" (команда).

Всякие десанты, проверки, бросаемые вдоль улиц, плывущие в гондолах. Всякая отсебятина. Всякий ландшафт, которому снится, что он настоящий.

Но все равно, надо бы уничтожить это Уральское кольцо гор.

Давай, выкручивай кольцо Уральских гор!



Ах, matka, matka была хороша! А ты повалил ее на солнце и сдал злодею! Ах, matka, matka была хороша кружевная, а ты повалил ее на солнце и сдал России!

Но я же пришел за нею на чердак – и нитки, нитки мне давайте! – поправить кружева родины-матери.

Мне часто говорят: "Вы задаете вопросы как школьник – в лучшем случае, а в худшем – как чеснок" ("по чесноку"). В самом деле, я не знаю, есть ли у меня кры-

ля – но я должен лететь на чердак и хоть чесноком, но поправлять кружева родины-матери.

И чай по-прежнему крепок, и другие напитки, но душа больна – будто выпьешь до дна бутылку-бутылку, хочется спрятаться в сени и смотреть на милую лошадь, но солью повязаны рукава.

Свет с востока протяжен, но упирается в бревна и рушится в мелочь пузатую.

Выше сани, плотник-старик! Ох, уж эта снежная, снежная королева.

Ох, уж Саша, Саша, будто обухом по голове! Ох, в Афинах дело происходит, а кораблестроители всегда найдутся.

Ох, Федя – бьет бичом по иллюминаторам корабля.

А ты уже про песенку?! А ты спросил про кровать?

Красивые, членистые, уютные голы всегда удаются, но сколько же удовлетворяться ими?!

Не лучше ли остаться с грязными, никчемными руками (голами)?

Не лучше ли привязанным к дубу в морозный день?

– Что делать дальше будем?! – я часто задаю такой вопрос, но ответа не получаю. Как будто все сидят за письменным столом. Или все пошли в кино, нюхнув эфира. Или все в одной песочнице в холодный зимний день.

А отвезут?

С первыми учителями все более-менее ясно было.

Но вот со вторыми учителями уже проявилось черт знает что, куриная лапка.

А как быть с третьим учителем – туловищем кролика в ночи?

Считаю неправильным прикрывать руки подлещов опавшей листвой. Их руки белые, белесые. Они изощрались в своем славистском заказнике: ценили Пригова, не ценили Лимонова. Да какая разница?! Ведь это те же руки в траве, что гоняли и гонят отряды крыс в крысиную атаку.

У вас есть три выхода:

– участвовать в политике йобатто, пока вас не выкинет в открывшуюся сбоку дверцу;

– самому делать политику йобатто, тем более, что русский язык вы хорошо знаете;

– возвышаться над политикой йобатто, как прогуливающийся Энди Уорхол.

Так всё и продолжалось, как оно есть: крышки, крынки, комиксы, Нижний Тагил, Холин, взбитые постели, "хуем пидораса забили", – что-то такое кричали в апреле.

Конечно, человеческая черепушка достраивается временем, его голубым закрутом. Но это только высвобождает пространство вокруг черепушки –

удивительно пустое, как лес, горы, поле, любовь.

И тут же надежненький агрессор.

И ты не поверишь, какие вереницы зданий, столбцы, вавилоны там могут стоять!

Вереницы зданий, столбцы, Вавилоны всё рушащиеся.

Ох, лучше бы я ездил в школу не по этим путям в Одессе, приглаженным, плоским, а по Киевским рельсам – резким и основным.

Но все равно, любые пути – они гонят нас всех потом в ширину, в "тысячу воспоминаний", сливающихся друг с другом, где не продохнешь, не пернешь толком – там лишь трамвай-скотинка-трамвай. Или грязный стакан-стаканыч, магарыч, крошка, погружающаяся в забвение, в полутьму, в Боря Матросов.



Я помню, как видел тебя в последний раз, ты сидел на дверце шкафа, будто Александр Ионин, и махал рукой.

Я в жар не вхожу.

В состав не вхожу.

В песок не вхожу.

Сюда не вхожу

Это я говорю или состав?

За Малой Бельской, за Малой Модзалевской – там, где еще гомонят составы, звуки их сцепок.

За Малой Милосердной.

За кустом Ноя, за неопалимой купиной.

За озером, за катком – не надо бояться удлинять колонны, превращать столбики в колонны, потом оштукатурим их всех, или в коньки.

– Может, хотите чаю – пусть это будет уже как над другой планете, – он подмигнул мне. Как Миша Рыклин, как Герман Титов или Стелла Кесаева, или тот морячок, которому я тщетно пытался приделать помочи (подтяжки) так, чтобы они казались продолжением его бескозырки (гюйсов).

Ням-ням, тут наша львичка быстро напала на него. Улетела синичка. Они по-прежнему солили настройки.

Александр Ионыч сидел на крышке шкафа и махал всем рукой.

*В.Захарову – 2*

Какая же это кровь, если ее на краю становится меньше?! Разве на краю возможны дренажи, отсосы?! Но ты вместо спора-агона, все хочешь рядить о "влияниях". Дескать, нам так везло и сяк повезло с этими самыми вливаниями...

Только "влияния" не имеют отношения к поступку. Вот и я не усядусь рядом с тобой на скамейку в заснеженном Измайловском парке и не буду говорить о "влияниях", глядя на проходящие мимо оттопыренные пальто.

Срамные карты лежали на стойке бара. Была демонстрация, и вам пришлось запереть бар. Вы хотели взять карты с собой, но выбирали только те, которые соответствовали испытанным вами "влияниям". Остальные карты так и остались лежать в запертом баре.

Глупо было ждать от израильтян какого-то сочувствия. Они уже достаточно проявили себя по отношению к угаритам и всяким там прочим филистимлянам. То ли дело вот эта девочка, которая знает, что ее никто не услышит, но сколько сочувствия и чистоты я вижу в ее сияющем личике!

Они по-прежнему не хотят передавать Украине оружие.

Эти бороды, эти разрывы, залитые краской, в рубцах и насечках.

Бесконечные, как труссы Карцева-Ильченко.

Мать моя, матерь! Мать моя, пила!

Команды дзен-буддизма поднимаются на сцену. Команда дзен-буддизма, скажем, Омского университета и команда дзен-буддизма и умного дистанцирования еще какого-нибудь сраного университета. Сейчас между ними будет соревнование-казачок. Сейчас между ними появятся неизбежные товарищи.

А ты тем временем подымался в горы. Подымался в горы далеко за тракт, чтобы прочесть очередной номер "Художественного журнала"... Ну и что с того?

Доходил пешком до Осмолоды или Ворохты, чтобы прочесть Тараса Прохасько.

Доходил до светлых городов Энергетиков, чтобы вдохнуть свет будущего.

Только, оказалось, никакого будущего нет. Кто-то – быстрее, кто-то – медленнее, но все они – кусты, и это всё, что можно сказать о бытии и дзене.

Дайте мне подивиться ракурсу этих гор, крутящихся как волчки, как бледные козочки-шары, крутящиеся на пальцах. Будто голод в Швейцарии. Будто восемь месяцев, которые провел дома наш отец, вернувшийся из концлагеря, прежде чем все-таки умереть от последствий истощения, и как же он мучил нас с матерью все это время!

Только не торчите за воротами концлагеря, братаны – там вас может обдать экзистенциальным Максима Кантора или символическими творениями Либескинда.

Сколько бы ни продолжалась война, когда-нибудь мы вернемся к своим вершинам. А пока, кто это стучится в дверь ко мне с толстым мессенджером на ремне? "Далекий серп богатых Гималаев..."? Или: "Я все еще жду художника!"; Или: "Соедините меня с директорами институтов!"; Или невысокий под одеялом каждый день.



Если к тому времени, как ей исполнится 18, и она не станешь врачом, инженером или чем-то еще в таком обычном роде, я отдам ее в школу с расширяющимися зрочками! Используя книги и записи, мы могли бы составить программу обучения, расшифровать те школьные потоки. Понять, как они меняются при нашей жизни, эти потоки урожая. Но пока мы лишь бродим по школьной сцене, над которой выключили свет.

Может, я доживу еще до того момента, когда кинематограф опять станет моим глубоко личным делом. "Освобождение Украины", "Освобождение Белоруссии", серии 11-я, серия 12-я из сериала "Неизвестная война" – я буду пересматривать эти советские фильмы вновь, и прыгать по рядам стульев в одних кальсонах до самого экрана и обратно. Какой букет ждет меня между страданием и злостью? Какое "заткнись! заткнись!""? И я выверну свои внутренности наизнанку, лишь бы снова прочесть, что написано на той картинке вдали? Или просто увижу рисунок ялинки, порванный носом, и скажу: "Можно я возьму этот рисунок, обменяю его на что угодно, мне так хотелось бы снова иметь эту нарисованную ялинку, чтобы она висела над очагом".

И станцует потом?! Обязательно станцует?! Или сумасшедшие – они уходят все дальше, в эту открытость пространств, и не прекращая при этом рисовать.

Да, сынок, за верность и преданность ты был присужден быть навечно зачисленным в эту клетку, экспонирующуюся на развалинах цирка. Патетично! Романтично! Клетка колеса.

Меня убеждал дед: "В нашей школе есть всё! Зима – есть, весна – есть, даже художники или хайдеггеры – есть, пусть и где-то там, через дорогу, вдали".

И, кажется, зачем тебе думать о том, возвращают тела – не возвращают тела, участвовали ли они в кишиневских погромах, бросают ли тела в глотки мусоровозов, там, во львовских расстрелах?! Ведь тихий утренний ветер уже промчался уже над землей. И рассветает в районе школы или детского сада.

И ты действительно мировая туша, глыба, глубже всех полицейских дел этого мира. Как последний человек в истории Франции.

Зачем с неловкостями все время считать жертвы?! Может просто удовлетворится созерцанием "острова мертвых", вроде эдакого ночного тазика?

А если бы началась третья мировая война, то хотя бы тогда, мог бы я стать каким-нибудь хватом-территорианцем? Или даже на этих носках нет вывихов?!

Если посмотреть все мои дневники за прошлые годы, начиная от самого детского сада, там сплошные носки, но нет вывихов. Или это мы, евреи, обречены на такую бытовку, пристройку – в которой сами не можем сказать, как же мы выглядим?



Актер, актрера, всегда с умыслом – как тот злой мальчик из сказки, который подкатил ко мне в Одессе тысячу лет назад.

Они не прощупывают страдания, слезы, они видят только то, что они видят, что мы видим все. Будто явиться к самому себе со своими маленькими, мальчишескими аргументами и указывать, кого надо канонизировать, а кого – стигматизировать. Как мне вымыть теперь всю грязь из шкуры?! Всю воду из грязи?!

Ты раньше времени спускаешься в переход. Ты не можешь потерять то, что принадлежит только тебе, но вечно теряешь то, что принадлежит тебе вместе с другими.

Все вспоминаю о тех рукописях, написанных химическим карандашом, до того, как меня произвели в полковники (московского концептуализма). Я взял их с собой в Москву и думал перечитать, но начал быстро продвигаться по службе, и у меня уже не оставалось времени на чтение. А сейчас я не могу их прочесть – карандаш побледнел, и всё стало неразборчивым.

Вся история, вся Франция и вся Украина наполнены слезами, подлецами, гондонами, о них легко помнить, ну а что помнить тем, у кого в тетради неразборчиво?

Да, социальная смазка – парадигма выделяет смазку во время больших битв, но где же мне взять ее, смазку или битву?!

– Что же ты пишешь?

– Как всегда. В сумерках, где стихи. Где мои согнутые пальцы. Где ее разогнутая ладонь. Где толпа. Где революция, и канаты, и восьмимильными кошачьими шагами.

Где в избушке целыми днями он лепил голову то ли Лютера, то ли Хайдеггера – всю неделю составлял ее из камушков, а по субботам обводил на отдельном листе. И его не остановило даже то, что однажды от падающих камушков погиб под окном гид хороших людей, которого называли Шульман.

Или как Зинедин Зидан, который уже выиграл все на свете и так устал, но все продолжает, сутулясь, ворчать и ругаться и гнать своих в атаку.

Или репортаж с петлей на шее, в котором я постоянно путаюсь: ты петля? ты шея? ты репортаж? Или ты фонарик?

Или те пучеглазые картинки, которые я всё хранил и хранил – наброски инсталляций, сборники анекдотов, переводы и переклады. Когда тебе за 50, они уже никому не помешают и никого не интересуют. А кому они раньше

мешали? Они глыба? Они скала? Они пересмешники?

Он путает общину со следствием. Он думает, что если выставить флаг под дождь, то мокрый флаг уже будет другим флагом.

И Передонов (который "мелкий бес") тихо перешел на другую половину дома, там искал место для новой картины и нашел место для новой картины.

И вот эта черта, эта оранжевая, красная повседневность внизу. И когда она спокойная, голландская, и когда трепетная, надув губки, и сплошная, страшная, балластом тюремным. Так ты признаешь различие между классами, классовую борьбу, или всё так уже перемешано, что сам не знаешь, признаешь ее или нет?

Или вообще ничего не ебало, только бы раз в неделю, с танцами, воздеть руки над головой?

Или все собирался, собирался – "вот там рембрандтка и донкихотка" – так все раскручивал, раскручивал годами, а в результате лишь буря в стакане, блидина в лесу.

Все стремишься сравнить "выиграть суждение" и "выиграть осуждение". Рассадить всех равномерно в той церкви, без жертв – чтобы были люди в передних рядах, и в задних рядах, и в оппозиции.

А потом остается только надеяться, что кто-то найдет твой сундук с рукописями на складе, как нашли русселевские, и будет разбираться с ними, но надежды на это, конечно, весьма мало, подобно воде, уходящей в песок.

Денис Речевой – один из актантов истории. Где имеет значение не цвет, а лишь ширина колес – обычно в схватке она кажется нам белизной. Охотясь за толщиной колес, я так боялся стать служащим, стать колонной.

А что мы можем сказать про ширину стиха, ширину его безглазого пролета – она тоже подобна белому промельку? Самоубийству Гитлера или Хайдеггера (Ван Гога)? Отворот свитера кажется запачканным кровью, или это всего лишь картофельная шелуха едоков картофеля?

Крестьян ждет неурожай, крестьян ждет недород, крестьян ждет уйти в землю – мы все крестьяне. Только рука крестьянина перед нашими глазами? Ты в какой очереди хочешь быть? В какой пазухе?

Способна ли погода противостоять решению? Если так много корней. Полный пакет санкций получает малыш или "полный вперед" получает он?

Ты исчеркиваешь блокнот за блокнотом, и ставишь их корешками друг к другу, и они ведут себя "как в детство впали". "Как в детство впали" ведут себя складки и пояса в тот самый последний миг, когда их, старческих, так и не решенных, выставляют вперед.

Мы погубили себя как художники еще до того, как стали художниками.

Обратный путь возможен только через кладбищенские слои, через весь

этот чернозем и чернослив.

Но большинство не пошли по нему – они даже не осознали, что прекратили быть художниками еще до того, как стали ими.

Цветы и денежные жопы, и переключения между ними. С одной стороны – античные, с другой стороны – таврические. Им платили за каждое слово по двадцать тысяч бумажек. Или, точнее, за то, чтобы они молчали. Хотя у каждого третьего была новость. Хотя все их новости были в общем-то как корзинка у бабушки.

Профессор должен отойти от стены. Он должен быть скособоченным, припиздекнутым и жалким.

– А что вам запомнилось из вчерашнего вечера?

– Не знаю, я под конец напился и, слава богу, уже не видел этого позора. Я был как всегда обычным карабасом-барабасом, в своем обычном палестинском платке.

Я тот, кто в казахской степи – и вне ее. Я тот, кто смотрит на море, когда оно, закутанное, выходит из своих углов – и знает, как это хорошо.

Ламах

Щетинин

Романович

Древин

Голосий

Тук-тук – и смотришь на море.



Они из Литвы – и делали мир. Они из Одессы – и делали проходимца, ступеньку. Они из кудлатого делали ворона, они из хозяина делали дачу хозяина. Она потешались, в сущности. Они включали радио и сравнивали канатоходцев с евреями.

Лужа вытерта, пол вытерт, яблоко вытерто и вытерт ветер. Ирина распускает косы. И вечный обмен всадниками на мосту им. Донатиса Баниониса.

И глазнику Святославу Федорову, который так верил в Перестройку, не хотелось думать о разнице между Лоренцо Великолепным и пятерней, без толку елозящей по пятнистому мрамору. Еще меньше хотелось об этом думать Святославу Рихтеру.

Обходя нужно быть осторожным – ты все-таки не мячик для пинг-понга. Но если огибашь валежник хрустишь валежником – наверное это прости-тельно.

Вершина – как нужное для Украины. Вершина – ничтожное для Бога или Зерна. Взрыв как вершина. И то, и другое – как коньяк.

Минулое как Александр, как щи или печка, или цветок в несознанке. Глаза проникают в картину и смешиваются с ее оставленными тканями. Углы коридора, переходники. День за днем проводишь как Киса Воробьянинов – все описания начинаются с конца. Думаешь о Карле I, или о Мазепе и Карле XII.

А мама слушает "пливе кача" и плачет.

Я не знаю правил, которые можно было бы применить даже к самым вежливым и лучшим членам вашего сообщества.

Надо договориться: вокзал или пиздец? Если новый мир, куда выплываешь, чтобы просто физически было хорошо – то ладно, это хорошо. То влюбляешься по номерам. А генерал номера расставляет на кладбище. А ты говоришь: "2014-й год – это как 2100-й"? Что мы будем с этим делать? Люди, люди, со всеми вашими историями, что ми будемо з цим робити?! Идя с вокзала, идя на вокзал?

Я тоже находил номерки на кладбище и отрезанные лодыжки. А они тем временем прислали мне фотографии из Венеции, очень красивые. "А тень Бродского про тени Александра и Тараса вам ничего нового там не прошептала, не прохрипела?" – написал я им в ответ.

История про тесную сеть, которая не выдержала с самого начала. "И даже если Зевс прикажет мне – на крыльях смертных я взмахну, но вырваться невозможно...". Он хотел закричать, но и крик не повиновался ему. Он перевернулся – и стал насекомым, Замзой. Безвозвратная океаническая жизнь – и только если перевернешься в ничтожество, можно найти какое-то решение. Вот лежат они, полные всех складок и всех глаз-годин. Ну а с работами новыми что делать-то? А радушным-то что передать?

"Стихи такого-то и такие-то" – было написано на обложке. По непонятым соображениям строки были выгнуты, словно муравей должен прогуляться по ним в свою вторую муравушку. В комнате еще стояли стол, стул, угол, куда они ссут, бутылка минеральной. "Я ничего не могу с этим сделать!" – сказала хозяйка, глядя на мокрые следы в углу и на косяке двери.

Ну что же, можно и с философией в ответку, можно говорить, что они таким образом "вернулись к истокам". Или можно говорить: "С того самого дня..", "В первые часы войны..." Иногда представляю себе, что они захватят Германию заодно, и убьют меня за песню, просто позвонят в дверь и пристрелят. И тогда убийство будет этой самой выгнутой дугой, муравой-надписью? Или наоборот, он/они/оно меня пристрелит как раз за надпись-мураву?

Фратернализм (братство) – правильная кровь наших предков. Правильная доча наша! Ей уже не год и не два. Это "Какое мужество!" – офорт Гойи, это фильмы "Берегись автомобиля", "Доживем до понедельника", много

хороших советских фильмов 60-х годов.

Это Абрашки! Это Борьки! Это все такие доверчивые! Хотят чтобы их катали по Москве! А ты пройди пожежею или собором и скажи, чего хочешь ты на самом деле! Я представляю эти слова записанными на темном фоне. На очень темном. Пока не пройдут пушками по очень темному фону.

Служение слову. Которое, как известно, не терпит суеты. Потом слово исчезает, но служение остается. Это распластанный остров. Как распластанное лицо Саддама Хусейна. Квартира, которую меняешь – не выменяешь. Это музыка такая.

Как вы отнесетесь к шару? Как вы отнесетесь к винту? Надо смотреть им в глаза, и спокойно. И не бояться бросать камни.

Бывало, конечно, по-разному. Бывало, это называли посиделками с врагом, называли завтраком, а ему надо было просто вернуть тело Гектора.

Это было такое время и такое время года. В газетах сообщали о чистом небе над нами. Ее брат был еще жив. Это было в 1990 году, когда мы еще ничего не знали.

Но сейчас я уже не вижу смысла ходить на их завтраки, говорить одно и то же, спорить об одном и том же. Сейчас надо просто выпустить две стрелы: одна из них – красная, другая – черная.

Хорошо бы взглянуть на это дело с обеих сторон Земли: со стороны облаков и со стороны Земли. Но не дури, ведь это невозможно. Надо просто держаться.



Мы – клопы и клоповники мира сего и будущего. Возвращаемся из столицы с охалками очей и синяками наби-тыми, а потом осмотр в укромной комнате бревенчатого дома. Развернуть и установить этот край в максимально розовеющих местах.

Назначать встречи с максимально довольной мордочкой на устах – чтобы в результате схватить их за довольные морды.

Под максимальной головой сидит молярное тело. Молярное тело – это "никто не хотел умирать". На тебе, моя кровиночка! Жидонька молчит. Комар и Меламид умели отовсюду выходить с лучиком света. Чаушеску не смог. Может быть сейчас этим лучиком света – который, например, в башке у наших друзей-немцев – может, им надо пожертвовать?

Я не знаю, я даже засмеялся от удовольствия – это такое счастье, когда есть свет! (И тут же проклял себя за эту радость.)

"В школьном коридоре они были готовы сделать все что угодно друг для друга!" – так сказали о нас в классе. И мы, сидя на задней парте, с моей



украинской соседочкой удовлетворенно переглянулись. "Я сделаю все что угодно для церкви, но никогда для синагоги", – так сказал Марк Ротко.

А потом мы по-прежнему были готовы сделать все друг для друга – но это уже было в скаженной Москве. У него в комнате стоял, например, огромный самогонный аппарат. Он отгонял из вина спирт и отдавал его всем, кто захочет, а сам пил остаток, считал это полезным для здоровья. Другую комнату снимал таджик Ильяс – доктор геологических наук, увлекшийся дзен-буддизмом. Ну а в третьей копошились мы с Серегой.

Ну так что же, Бог благословит нас всех, и будем мы все прокляты!

Нам-то казалось, что мы ищем Гаврилу в лесу, лисьи чары, самый последний и честный бутерброд.

Мы искали птичий мальчишеский хохот – но взяли все тот же русский дубняк, малиновую плеть, раз за разом выдающую себя за поэзию, вроде Холина – "у метро у Сокола мама дочь уокала", что-то в таком роде. Получился короб, в который напихана всякая всячина, плюшкинская дрянь. Получилась корма корабля, на которой уже ничего не сыщешь, никто не живет. Он заставил себя страной-муравией, он заставил себя портретами Садама Хусейна, похожего на испуганную птицу...

Но книги все еще нет.

А если книга уже написана, тогда дело ясное – оденьте рубаху белую, бегите к речке, не забудьте саблю, станьте на стульчик на берегу речки, откиньте стульчик, исполосуйте речку.

Мы всегда должны быть готовы представить горькую складку: "он – это не он". Сыр это не сыр. Хард-рок это не рок. Это тоже лишь обечайка, шоколад, кафе.

А потом вглядываешься в него, и думаешь: а того ли ты доставил и собираешься расстреливать? Вот, скажем, спрашиваешь у него зловеще: "А скажи-ка мне, лапонька, зачем ты стер с лица земли столько латышей?" (Допустим, латышей. Включая великого Древина.) А потом думаешь: "А, может, и не латышей?" "А, может, и не он?"

Так я писал эту большую книгу, стоял на куче риса или сахара.

Ну да, а потом я выпил, и напился, и тоже застрял в хард-рок кафе, бывает.

Потом все же проснулся и побежал к речке.

Можно также сымитировать практику, книгу. Можно даже сымитировать речку. Или сделать вид, что это не речка.

Но можно всего этого и не делать. В красноватых отблесках на мазаных стенах домов. Стоя на стульчике.

Продолжать на том же берегу реки. Разве мы нетерпеливы? Нет. Шестьсот лет уже так кочуем вместе со своими танками, подводами.

Мне хотелось бы иметь свой дом на подводе. Но у меня нет лошади, мне пришлось бы таскать его за собой, самому впрягаясь в оглобли. Этот тяжелый, тяжелый песок.

Раненный в Польше, убитый. Ну сделай хоть что-то, герцог Мантуи!

Так вот и двигаемся, жизнь свою запоздав, затая – ел и ел бы, товарищи, только боюсь: а вдруг я – это не я?!

Где живут на свете муравьи и гауляйтеры? А где живут регуляторы, а где живут принципы?

Умом мы приняли голос, четвериками мы приняли глас и загиб.

О, мой Сахиб в четыре ряда, посмотри: я ведь ничего плохого не делаю, никого не трогаю, я хочу заниматься живописью, а мне говорят: "занимайся вечностью!" ("Будет вечный прилив доходов".)

Дом и семья – как живые. Вечный ужасный сон Льва Толстого, ключья сердца оставляешь в яичнице.

Я человек романтического склада и поэтому ненавижу плоский и хамский постмодернизм.

Я хочу пригнуться пониже и сам себя снимать в этой позиции снизу вверх, как овечка.

Или как будто мальчик, из тех, кого я вожу сейчас по музеям, вдруг нагибается, достает и показывает мне папку со своими собственными рисунками.

Ох уж эти хищные, жирные карандаши!

"Товарищи, это не какая-то головоломка! Бывали вещи и потруднее!" – так начал свое очередное послание Путин.

Сидя у болота, глупо ненавиждешь кусающего тебя комара, но при этом продолжать селиться и жить у берегов этого болота.

Метафора раздела – круги, пересекаемые расходящимися линиями, может быть также метафорой кометы.

Начинать сильным кастрюлечным ударом.

В глубине меня разрывчатое вещество всегда, бурлило, чпокало, немело. Я думал, например, об имени "Алишер Навои" как о некоем объятии или поцелуе. Я думал о кругах с полосками разных флагов, и чтобы самолетики летали и поворачивали на углах схемы...

Но что я теперь могу сказать о подобных раздумьях?! Лишь в бреду я платок прижимаю к виску.

Вот и в Лондоне теперь, во избежание наглостей русских нуворишей, все, посещающие в антрактах театральные буфеты, должны потом продефилировать со своими бутербродами перед сценой.

Подивитесь и вы на этот Маковец!

Он стоит в воздухе. Он топчется. Это судьба настоящая, которая с помелья.

И если всем твоим родным и близким грозит погибнуть, то кого из них ты попытаешься спасти? И будешь ли ты вкладывать картины в их хищные скрюченные молящие руки?

Или говорят, что сберечь нужно все? Где тут мой старый фибровый чемодан с виноградной гроздью, оттиснутой на крышке?

Или "эх, мураши! мураши!" – так говорю я всем родственникам, всем художникам и всем картинам. Вне зависимости от того, надо ли их сберечь.



Да, мы знаем – где-то в Пушкинском музее висит еще одна версия работы Малевича, только там конь затерт, зато на один квадрат больше.

Тонкая грань мира – и я уже ползаю где-то рядом с ней. Иногда даже переползаю на ту сторону, еще не зная об этом.

Но перед последним абзацем в игре все-таки должен появиться кто-то новый, вроде лошадиной головы с крестом на шее. На серьезный проект здесь не разгонишься, да и слава Богу. Просто судорога презрения и нежности – в последний раз, когда уже "без проектов".

Проект повисает, болтается ненужный. Произведение молчальников, рыбьих и удаленных. Только порезанный Редько или Малевич.

Это что, шутки? Он хитренький?

Нет, он не хитренький, он закатывающийся. И пронзительно львино.

Комбинация с плетью и яйцами на каком-нибудь амхарском языке...

Нет, изнанка такой комбинации! Начинает горько смеяться мюзикл. И он же горько плачет.

Везут хлопок. Делать ничего не надо. Говорить практически не о чем. Часы, перемена... Мы дали обещание, торжественное и рятувальное – только не помню уже, на каком языке.

Он рассуждал под звездами, и пустыня расстилалась перед ним.

Он рассуждал между камней, рисуя на них порой украинские флажки.

Он вспоминал гастроли театра "Глобус" – когда во всех городах Европы большинство мест было раскуплено заранее. Во времена Шекспира, не сейчас.

Но и сейчас – когда, например, мы ходили с ней пару раз на выставки, так она разглядывала даже тени от рам на стенах.

А, может, и не разглядывала – но всё равно, пусть она будет здесь упомянута рядом с Шекспиром.

А также, конечно, звездное небо и минералы.

Мужчина, вдруг ставший художником (в Москве)?

Или художник, ставший мужчиной (в Москве)?

Или потом вдруг разверзается чудовищная трещина: Москва, ставшая Москвой.

Икарый остается без знаний, младенец остается без игры – лишь длинная веревка, лишенная бабды, повисает в провал колодца.



Нет, солнце не влияет на то, как мы встретимся, и с кем мы встретимся. Отрица лессировки или подтверждая их. По китайской логике или по какой-то еще.

Сербский стиль или болгарский стиль – они по-прежнему не различимы, как и в 70-е годы, лишь художник в черном берете выглядывает, ухмыляясь.

Пробираясь вперед, оказываемся перед большим золотым изваянием.

Ночами, когда писались стихи, по несколько раз выбегал за бутылкой, потом и это прошло.

Бабушка со свечей: "Ну и ночь!"

Бабушка в аптеке.

Медведь лапой машущий: "А вот не подходит!" Не замечает, что веревками давно к стеклу пришиплен.

Это была скандальная ночь, но потом две сияющие вершины уравнились, как Сизиф.

Это было двойное самоубийство, но не так чтобы хакари, а совместным яблочным заворотом щек. Впрочем, гостиницу у озера никто не отменял.

Секта рая – разъединяя, размыкая.

Где-то, когда-то, когда их гнали по этапу, пришел местный староста и сказал: "Разбегайтесь куда глаза глядят! Вас гонят в смертный лагерь!"

По другой версии, разбежаться никуда не надо было. Охрана сама сбежала и оставила их среди чистого поля ночью морозной, а они, люди городские, не понимали, куда же им теперь идти. Особенно, если никто не приказывает. В конце концов всё же разошлись в полях, как Сизиф под звездами.

А мы смогли бы выбраться из этих коммунальных квартир, залитых светом, коридоров, заставленных обувью? Чтобы писать как Гастон сияющие картины, наполненные обувью убитых.

Наполненные волосами и хлебом.

Райская ночь, как в аптеке.

Однажды теплым летним вечером в Одессе я заглянул к Андрею Рубинштейну. Они, как водится, сидели всей семьей на улице, на вынесенных стульях, фокстерьер у их ног жонглировал мячом или стоял на задних лапах.

– Это пьеса? – спросил я.

– Да, это радиопьеса он-лайн, – сказали они, сидя на стульях теплым весенним вечером, скорчившись. – Сейчас ты должен сыграть ее, а не то сам скорчишься!

Но я не мог ее играть, ибо слышал, как коровы мычат недоенные.

"Лошадь пала, лошадь пала – тот единственный причал". Я не знал, то ли бить в гармошку, то ли растягивать барабан. Просто писал в своей любимой гамме – нечто серое, багровое, порой даже говнистое, но с попытками мощных белых акцентов, как стекло-причал.

Любил каждый ботанический сад называть "детским" и каждое стекло – "Большим".

Это вполне укладывалось во времена Маньяско, времена правления флорентийского герцога Джана Гастоне – как если бы время хотело вывернуться через свой пуп.

И в то же время мы уже смеялись над выходцами из Большого Токио.

И в то же время Вика нервничала, боялась опоздать.

Эти аберрации времени через брюшину-стекло.

О, зачем мы, придурки, так смеялись над Большим Стеклом!



Все мы, включая даже таких людей как Франклин Делано Рузвельт, живем в мире полной несовместимости. Включая даже таких людей как Марсден Хартли, великий художник и "голубой", к которому все равно липнут девушки.

Но когда Франклин Делано Рузвельт обращается к Марсдену Хартли, тот даже не реагирует.

Но подол *всегда* залит супом.

Так все живут, копят что-то на границах – одно Небо внимает, великодушно.

О, если бы мы могли чаще гипнотизироваться – скажем, гипнотизироваться великой живописью, картинами, когда ложишься на них как на женщину.

Или некая форма сожжения родственников, самосожжения.

Но, мне кажется, сегодняшние, инструментально подготовленные самосожжения многие путают с тризной и пиром.

Горшок они нашли в полдень. Петуха они нашли к шести часам вечера. К восьми нашли они дыру в горшке, чтобы бить петуха, пока он варится.

А что делать с церковью, особенно русской, когда она стоит на костях, но если скажешь об этом, тебя приравняют к какому-нибудь заграничному маркизу де Кюстину?

Нет, тут точно не обошлось без связи между рукой и задницей предсказа-

тельницы.

"Завтрак на траве" и "Бар Фроли-Бержер" – вот первое и второе предупреждение. После этого уже оставалась только Земля в виде горшка с ручками или горшка с ушами.

И все равно, мы прорвемся рано или поздно. Я помню, как неделями стояли корабли, ожидая прохода, на этом волосатом стамбульском рейде.

А потом они прошли дальше и выяснили, что Земля круглая. Но потом они прошли еще дальше и выяснили, что Земля – это жопа с ручками. Но лучше уж с таким открытием – все равно Земля зеленая.

Я лично начинал с древнеегипетской принцессы. Я думал, ее черные ручки скорее пройдут в прощину земли, но потом опять раздалась воздушная тревога. О, Певцов и Роборовский, куда нам идти?!

Карл, твои руки растут из-под земли! Карл, твое право ничтожно!

Я – графоманчик! Как можно говорить с графоманчиком?! Ну говорите с ним как с утренним садом. Где сходитесь память о графоманчике раннем и поздней Яблонской. Или сирена и крики "воздух!" Когда не знаешь – все еще только начинается, или представлять уже особо нечего. Вопросы мимозы и марта. Вопрос мартабря. Галерея? Ашот? Ручей? КГБ?

Этот весел?!

А этот весел-весел?!

А это Арина (Родионовна) в спячке?

А это Николай (Павлович) в церкви?

А это труп, береза, граф Ростов в Николаеве?

А это (Владимирович)?

А это грибы на подносе (Временное правительство)?

Я могу говорить о всем этом явно, потому что не знаю, где их дом.

Одни летят по левой стороне улицы-курицы, другие – белые, и они как чайки, летят по правой стороне.

Смотрю на коллекцию, собранную Вадимом, но и смотрю остро вдоль улицы.

Предпринимаются значительные шаги к урегулированию ситуации: любознание, любомудрие и даже маленький аккуратный протест, но это не для меня. И если я вижу, скажем, пьяного Чацкого, я понимаю, что это сон, но я не буду пытаться корректировать свои сны по новым штучным словарям.

Земля – как командир, который готовит потери для бойцов. Отойди в сторону со своим дудуком! Или со своей чайкой. Или нет, не отходи, останься на месте, играй песнь всепобеждающей любви.

Упадешь пробитый с полостью. Потом окажется, что ты все равно вел не свой дневник, а дневник Ильязда, Ильенена, Мефистофеля. Оставь сахар, антисанитарен, жди нашествия тараканов. Даже если тараканы ринутся в

другие трубы по пути, и тоже с сахаром, и до твоей не доползут.

Для отвода глаз она торговали спичками. Сидят в автобусе, который идет на Петербург. Он почти заполнен пассажирами, вот-вот поедет. Смогут ли вызвать тараканы возгорание в трубах?

Готовишь новый чай, а на столе стоит огромная чашка еще предыдущего, холодного, спитого. Смотришь в окно на озаренный Петергоф или арку Генерального штаба. Джойс, кажется, хотел написать также книжку "Портрет художника в зрелые годы". А потом еще – "Портрет художника в старости". Она могла бы многое прояснить. Иначе становишься кардиналом, только очень мягким, и более ничего.

Какой прекрасный мир на островах ужасно я порушил! Как командарм Котов какой-то! Хотя есть в самой штриховке прелестный волнительный *пофиг*.

Когда-то мне нравилось смотреть на самолеты в аэропортах, как они стоят стройными рядами, готовые взлететь. Теперь это безразлично. Но вот штриховка или эти волнистые линии на шелковистых тельцах каштанов!

Мы любим рассуждать о всяких афинских подгруппах: подгруппа Аристотеля, подгруппа Платона и не замечаем порой, какое смитье, аки комета, несется по небу с востока. Уже умолк соблазн, возможно, люст умолк, уже не знаешь, куда смотреть – на восток или на запад, лишь прикладываешь руки к груди волнисто.

Он отчаянно роется в урне: а что оставили прошлые маэстро? Но там опять обрывки всё того же: рука, нога, часть лба... А остальное – только в промежутках между ними, волнисто.

Ох, надо бы расчистить коридор, остатки отнести в подвал. Даже Шолом-Алейхема и прочую грусть такого рода надо отнести в подвал.

Надо расчистить коридор, отнести всякую заваль в подвал – чтобы был промежуток, сжимается сердце, самый волнительный.



Они не хотят видеть желтое лицо, но желтое лицо уже тут как тут – в ложбинах твоих, пазухах, прорехах щек, обуревают подмышки. Томик стихов, забытый вчера в траве, шорох вспорхнувшего дрозда. Поэт (вельбот) струящийся по лбу, глаза струящиеся в лес – ее глаза, твои глаза, дымовая завеса в детском театре (цирке).

Ты аниматор группы, ты камикадзе группы?

Ты честное слово?

Честное пионерское?

Ты честное слово антилопы-гну?

Конечно, всегда можно ошибиться, сделать неверный шаг, испортить мнение о собственном творчестве.

О, если бы знать, что люди говорят за твоей спиной!

Могу уж себе представить, что они говорят за моей спиной! А если вдобавок еще записи твоих работ попадают в лабораторию визуальной эстетики Екатерины Жучкиной. Не говоря уже о хоре Надежды Бабкиной.

Так желтое лицо укладывается в пазухи носа (оставляя с носом). А ты все бежишь по улицам, под дождем, воображая себя носорогом, ферапонтом.

Бежишь на загляденье по льду.

Всю жизнь перебивался с воды на квас, вот и сейчас, по-стариковски взяв бидон, идешь за квасом желтым.

Умешь спорить?!

Я – афганка, я – лабрадор, я – собака Динго, я уехал бы завтра в Киев – но меня туда не пустят, я горошина на балконе, или нахожу в земле такую горошину – это ее полурасложившиеся крылья или это ее хвост? Или губы надувшиеся – этот утробный розовый цвет византийского императора (когда-то я считал Порошенко нашим новым византийским императором). Я хотел бы сделать такой перформанс в Одессе – дерево, стоящее перед Универмагом на Пушкинской (там где когда-то ставили елку), обвить его гирляндами лампочек, и потом тушить их одну за одной, я бы выкладывал эти фотки в фэйсбуке, я бы писал снова и снова: "фонари над Одессой", "фонари над Одессой" – не говоря уже о том перформансе, который я хотел сделать в Измаиле, про Павла Филонова и наш школьный театр "Юность", – но вместо этого я обречен лишь приделывать пятую ногу собаке Динго – о, эта вечно расколотая ступица колеса, поток сознания, улица-улица, глаза-глаза, моя бедная Одесса по утрам, потоки молока, и эта маленькая, вечно спотыкающаяся жизнь.

Охранники – это те, которые занимаются культурой, они прибирают ее как капусту.

Художники – это те, которые идут вдаль.

Культура – это яблоки, закатившиеся в шалаш в яблоневом саду.

Художники – это разлюли малина.

Или они следуют тому желтому лицу, которое "о, маска, о, не дает мне петь", которое "Одесса" и "не-Одесса".

Я посмотрел вокруг и увидел лестницу. Я прочел историю про русскую тетю в Кельне, которую будут судить за то, что она поддерживает путинскую войну против Украины. Я прочел про немку, которая одевала свою трехлетнюю дочку в костюм клубнички и учила ее кричать "Хайль Гитлер!". Ее тоже будут судить. Вот это всё искусство или культура?

Поверх тебя станет нотация – это когда пристегивают руку к перилам или пристегивают руку к руке. Поверх тебя станут ходы, уже сделанные, но не услышанные, как слипшийся снег. Ты запишаешь туда дочку, ты отправишь туда Ирэну, ты будешь говорить по привычке: "прежние друзья... они

по-прежнему..." – но все это уже слипшийся снег. С этим Кулаковыми уже не договоришься. Хотя еще будешь мечтать по привычке об экспедиции с кулаками на Килиманджаро. Но уже никаких разумных мыслей, никаких виноградунок. Можете смеяться над захлебывающимся мальчиком!

Край, краина, к лучезарной, а самолет уже разбит. Только козак мчит к Лучезарной. Затяжной прыжок, бездонные колодцы. Ты хоть трепещешь над тем, что я говорю, ты, Стасик Помпиду?!

То ли это является книгой, то ли "жинки навіть з рогаками..." Ох, уж эти бульдожьи уши на просвет, каждый увидит там что-то свое – родные озера или пустынные фиолетовые Вселенные. Надо только отойти на шаг. Потоки скоморохов и держиморд, льющиеся сквозь знамена. Наши знамена в самом деле соприкасаются – это очевидная истина. Только сначала об этой истине говорят невыносимо много, а потом перестают говорить вообще.

Напугать стену, прикрепив к ней листовку-листочку. Напугать листовку, прикрепив к ней работу. Напугать свою же собственную работу – просто стать перед ней и делать рожи? Десант и кукурузник.

Я знаю, что все, что я пишу, укладывается в русскую парадигму, а не в другую – и дело даже не в языке, а в том, что мое письмо продолжает быть удаленным перебором слов, пуговицами и камзолом, только все дальше на край. Ну что же, кто-то ведь должен вести и это бланширование на край. Этакый бланш-майор (Ковалев).

Изгибы речки Вол или Ингулец лишь поблескивают внизу в неудобоваримом слюдяном десанте. Так он был в лесу. Там он достиг ее. Нет, не достиг. Читайте журнал "Старик и Закон".

Ты будешь зарегистрирован, задержан у окна поезда или собора. Может быть это поезд на вокзале во Львове, который снился тебе сегодня всю ночь. Ты собирался куда-то уехать или доехать, но поезд все не отходил. Возможно это был не Львов, а маленькая станция неподалеку от него, и ты хотел добраться как раз до Львова – это не имеет значения. Суть в том, что мы прикованы к окну (поезда или собора), а вид из него не так уж меняется за время нашей жизни. Я вот не знаю, сильно ли поменялся ландшафт жизни, ее краевид для моего отца, когда он перебрался из Кодымы в Одессу, а потом из Одессы в Нью-Йорк.

И даже если ты давно уже молишься другим богам, ты все равно остаешься прикованным к тому же собору.

Вот в Одессе лежат трое: "утром", "вечером", "поутру".

Волновало ли его продолжение этой истории? Ведь, как всякий романтик, он полагал, что комментарии к картине отвратительны, подобно яду или девству. Мальчик вздохнул: и раз! и два! и три! – и поднялся вверх по ступеням огромного причудливого аппарата, занимающего всю сцену:



утро! вечер! поутру!

Что сказало мировое сообщество по поводу идеи переименования города-аппарата? Или по поводу идеи ставить точки внутри аппарата – на его окружностях и ступенях? Может, оно посчитало, что римский король зашел здесь чересчур далеко?

Да, пожалуй эти "размыкания" начисто лишены поэтичности. Они просто как бондарь, вдруг широко расставивший руки, стоя на двух разных ступенях-бочках.

Солдаты Ирода действовали быстро и без жалости. Они зашли в город с нескольких сторон и, двигаясь к центру, выборочно заходили в дома, но там уж убивали всех. Только так это можно было выдать за карательную акцию УПА.

Мальчик Иисус. Тихое дерево в мозгу каменеет. Он смотрит мимо тебя, он даже не знает, как тебя зовут. Он здесь, чтобы останавливать аффекты, превращать потоки в орнаменты.

Глядя на картину в музее, воскликнуть: "Вот они, солдаты!" Это неизбежно как прикус.

Он превращает черные пики в красные черви. Южный Бунд. Земельный Союз. Романтизм и Крестьянская партия.

Музыка продолжает греметь. Но все меркнет в молчании. "Спокойно, товарищ, спокойно, пусть шпилем ночной колокольни..." Вверх по ступеням или по лестнице ведущей вниз. Бондарь останавливается и разевает руки.

Цельс, Парацельс, целься в пики, перемешивай нефть...

Установка светильников. Перемешивай нефть.

Со всякими фразами можно разобраться. Можно накладывать их друг на друга, чтобы они были друзьями или любовниками. А можно выстраивать их в побезжку, так чтобы они кричали друг другу: "Не догонишь!", "Не догонишь!"

Ребенок за столом молча. Ребенок за столом, открывший рот. Ребенок уронивший голову на руки. Курточка ребенка.

Никто не делал этого лучше чем Элвис Пресли. Никто не делал это хуже него. За исключением разве что Муаммара Каддафи. Пятьдесят две женщины, затерянные в пустыне, могут подтвердить.

Ему надо было спасти этих людей, но он не мог их спасти. Тогда он сам бросился вниз головой из витрины. Может таким образом пятьдесят две женщины, затерянные в песках, и многие другие невинные жертвы, или хотя бы их фотографии, были спасены.

Когда он сам становится Муаммаром Каддафи, или Элвисом Пресли, или Саддамом Хусейном, или Николае Чаушеску, или кем-то еще, отчаянно спасающимся от Брежнева и одновременно сочувствующим ему.

Только в этом зале, в одной его половине уже так много призов. А ведь есть еще и другая половина. И еще необычный знак посредине зала, указывающий на то, что кошка – не мы! – могла бы счесть своим серебром. Он указывает на то, что жизнь необычна, а не на то, что обычная жизнь непредсказуема – как многим хотелось бы считать.

Когда я писал письма Джеффу Кунсу, это были мои последние попытки влезть в современное искусство, в его плечевой сустав. Вот какой необычной была эта попытка, но современное искусство оказалось всего лишь обычной, веселой линией побережья, гулянки.

Ну что поделаешь, я хочу его снова и снова – и за кусочек колбасы, и за серебрянную кошачью икру.

В коллективе мы или не в коллективе – перед глазами мелькает кошачья рысь. Или эти выкрики "инсекты! инсекты!" – ты помнишь, когда мы сидели ночью на скамейке или когда мы были в поле? Или вот покойный Никита Алексеев и полупокойный Коля Козлов заходят с похмелья в магазин, берут по сырому яйцу, выпивают их и мечут скорлупу вдоль тротуара, а мы, писюки-малолетки, смотрим за этим "перформансом" разинув рты: "Какие люди! Ах, какие люди!"

Если продержат муху взаперти несколько часов, а потом попытаться пожать ей руку, то каждый будет изумлен крепостью ее рукопожатия, таким мухомором мухи. Вот только, жаль, скатерти на столе не будет. Зато будет: "стреляй! стреляй!" Они выходят по одному и переходят в кинотеатр через дорогу.

Тихонько, как обручена, подтачивает гору мышь. Кряк хрустальный слышится с небес, готовится явление ласточки. Успеет ли мышь подточить себя и гору, прежде чем упадет явление ласточки?

10 000 – это рублей или гривен? И это вся пенсия?

Развернется ли сегодня небо над горой, предуготовляя явление ласточки?

Ветер плачет, ветер шумит – я не знаю, как это сказать. Кажется, идет снег.

Давайте спою вам, мало перепел еще гор, полей и рек. Два ангела сидят рядком: один вроде рыжий (медноволосый), другой – вроде я. Потом вышли из лужи, ползли ничком, рыбами, немцами, немцы нас не замечали...

Они сидели под оливами. Они сидели на берегу Финского залива. Мальчик приходил, говорил, что бабушка умерла. Они шли по лесу, они бегали по лесу в цветастых майках, будто панки какие-то, приходил мальчик и говорил, что умерла лиса. Они вскрыли могилу, челюсти оказались нетронуты. Впрочем, там была такая толпа вокруг, что ничего нельзя было тол-

ком разглядеть, пришлось герольду-репортеру специально объявить, что челности, дескать, нетронуты.

Ее заперли на крыше и, казалось, выхода уже нет. Но за дверьми все суетился Серега Ануфриев с термосом в руках: "Я принес тебе чаю, а потом причешу тебя – будем вместе бороться с буржуазией!" Такие вот цветастые контуры.

Разнообразная игра приложений. Целыми вечерами смотрел Путин на детские фотографии своих дочерей – эти пухлые щечки, этот вздернутый носик. Приложение "Осенний лес" – веселый, расписной, багряный. Приложение "Осенний лес на картинах московских концептуалистов" – Кабакова, Булатова, Васильева.

Венгры, евреи, китайцы – кто из них лучше, а кто еще хуже? Такие вот глупые споры в осеннем боковом лесу.

Когда я заводил разговоры с Гораном Джорджевичем о его картинах, которые он подписывал, например, как "Малевич, 1982", я думал, что это – так, чисто эстетическое умствование, а по-настоящему больше уже ничего не станется. Будем стоять себе у окна, опершись на лопаты и крутя сигарки. И вдруг такое зверское выражение лица! Или, точнее, пригнобленное. Ведь тот же Горан или "Ирвины" не могут понять – как это, всю жизнь доблестно радели они за продвинутое восточно-европейское искусство, а сейчас надо радеть просто за Украину!?

Или он спит? И быть теперь ему широким бесполезным следователем, спящем в пятнах света и тени под кронами деревьев?

Или вчера, когда мы все нормально беседовали, а я сказал вдруг, что я – за Порошенко?

И да, я пишу сейчас такие тексты – не в стиле Альтдорфера, а в стиле какого-нибудь засиженного Альтмухина, в стиле кувшина.

И волосы мои будто какали – я собрал их в пучок и назвал "трубкой матери". Я не хочу быть дворовым человеком, когда черная ночь на дворе. Мои края в прорезях. Я дворовой человек или командир?

Тут круглая поверхность, там круглая поверхность, но, когда дыра пересекается с трубой, получается дуга. Я командир, плакать.

В раю, в чистилище огромное количество пустых харчевен, они простираются на каждом шагу. Тетушка Хляя, тетушка Циля...

Небытие. Чистилище. Ужгород.

Хотя, возможно, есть у этой истории и другой конец. Там Вера, Надежда, Любовь, акации.

Хотя хваленное советское двоемыслие оказалось потом полным единомыслием дуги.

Бесполезно останавливаться, спрашивать у кого-то дорогу в этой широкой полосе отчуждения. Я просто готовлю салатик "Летний", отравленный,

в полосе отчуждения.

"Как узнать нам своих родителей?" – в эти часы говорят близнецы. В эти часы подымаются над войнами давние сны, в эти часы-пироги. Ветер задул как автобус. "Я люблю тебя, счетчик!" – говорит лошадь разбитая наезднику. Это принцип домино или стокгольмский синдром? "Это ужасно, это нарушает все правила!" – говорит директор скульптуры.

Я пытаюсь оставить в своих книжках какую-то важную потеху-ватрушку, хоть и не знаю, получается ли. И позволительно ли это делать сейчас. Эту узкую щель, улыбку удода. И еще удерживание – то, которое есть у вечера или ручья. И, опять-таки, участие в деле проебаной хваткости: писание на языке, который уже никому не нужен, как размахивающие руками мельницы, как совмещение кладбища и Слободки (одесского дурдома). Для полного счастья можно еще похоронить на нем Эйхмана.

И слева, и справа все занято, ничего не возможно понять. Я помню, как пугали нас пламенем КГБ, дескать, взовьется оно в наших московских мастерских. И в самом деле, его тогда давно уже не было. Но когда-нибудь оно приходит (опять). Потому что Боги истории не любят, когда ссут им в лицо. И тополя. Запихай этот план на передний край своего урби или селфи.

Но рождаются зубья в кровати, там где у ничего наконец-то нет имени.

И умереть от тоски, как ива, это хорошо.

И, скорее всего, у них уже не будет пути, на двадцать четвертом участке пути Москва – Маяковская у них больше не будет пути, и это очень хорошо.

Возможно решение будут выносить королевские ВВС (Британии).

Мы хорошо распахиваем окна в помещении.

Собака гавкает, и даже малоизвестные практиканты, двадцать шестой Николишин или Борисов, говорят, что так должно было случиться, и это хорошо.

Текст, перепляс, мучения, стойкость, лес, перепляс. Все несешься из-за дальних горизонтов, государств, и позади остался молчаливый рок-н-ролл. Копшение внутри хребта, и на хребте, и у подножия хребта. Без посетитель решим систему безопасности гиены (от гиен) – сгорели, разгубились, разошлись.

У минувшего всегда плохие зубки, но я оцифрую их и принесу в прорехах Венеции сизой. Устало моргнув глазами перед лицом вечного Юпитера.

Физик, Франциск на меня надвигается, истощенный и тонкий. В норах мышинных копай.

Когда речь идет о счастливых днях как счастливых свиньях – в течение года сколько счастливых свиней на холме?

Но двери болят и нечем рассказывать историю. Вот был бы я в Харькове,

я бы рассказал историю. Только так, чтобы там обязательно были холм и море. Будучи быком или свиньей на холме. Или ласково наклонясь над малышом бездомным. С какого берега ты плывешь, малыш, с какого США? Все птицы подлетают ночью, когда ничего не видно.

А если бы верх взяла гора? А если бы верх взяло озеро? А если карабкаться по склону озера, как по склону горы?

Каждый пытается сотворить из себя по жизни великую идиотку, мало у кого получается, но надо стараться. Карабкаться во тьме кинотеатров, и в их свете. Кисть не прокрашивает фон до конца, она оставляет какие-то белые прогалины, иначе нельзя. Это можно назвать "летающее белое", или "сбор металлолома", или "трус не играет в бисер", но иначе никак.

– Это морщины у тебя или снег?

– Это снег.

Это снег, сник, слег, юра-базелюра.

Они говорят, что там, внутри стиральной машины, нет никакого диктатора. Что это просто горенка. Что там есть патефон и запас стирального порошка. Там крутят фильмы, будь то "Ошибка резидента" или просто подорожник. Как отличить камни от водопада? Шею – от известки?

Может быть, я мало думал о победе. Но отец, который много думал о победе, он взял меня с собой верхом. Мы мчались в прорехах. "А – а – а!" – плавило в бликах наших ангельских крыл – Запорожская Сечь и все такое.

Это ребра старого Пекода как ребра таракашки. Это обнажение языка, распадающийся остов, комочки, катышки благодатного огня, что, дескать, нисходит в Иерусалиме. Говорят, сначала они холодные, как снег или комочки манной каши, а потом уже разгораются в руках.

Натяни удила, город Одесса!

Беги на улицу, играй, сапожник!

В условиях точки забегания, света – всё есть разговор, путь.

В пути мимо лишних аптек.

Смерть, гибель привязана длинными нитями к изнанке моего холста, подрамника, и мне не хотелось бы тянуть их вечно подобно коньку-горбунку.

И нет фразы, которая лучше бы соответствовала глубинным мечтам деревьев.

А пока еще не все закончилось, каждый из нас должен иметь лунку у подножия подрамника – если понадобится сблевануть. Юношу зовут Мордор. Отлично, юноша!

Мы достигли черты. Я в угол зайду добыть мечты доскональной.



Время – уже не осталось времени.  
 Ракурс – уже не осталось ракурсов.  
 Ты только взгляни на ее кроссовки – грязные, помятые!  
 Ты только взгляни на кроссовки ее и ее друзей! Грязные, с вырванными язычками!  
 Война шла с переменным успехом. В Россию она еще заглянет – по принципу "ап-ап!".  
 Отдай ключ! Верни ключ! Садись на скотину! Лилейная картина мира.

И такая же картина игры. Они так грустно склонились над шахматной доской в водостоке. Паучки носятся перед глазами. Схоже с симптомами инсульта или лихоманки.

В общем, я просто смотрел пейзажи. Наверное я смотрел пейзажи. Но в наших широтах день наступает быстро, не разглядишь все таинство ночи.

Одно очко – горошина слева, два очка – горошины справа. Не знаю, удастся ли мне выдержать этот ритм. Любящий родину прекрасный принц, но только все время отбрасывает свой плащ подальше. Его плащ называется "любовь к родине".

Переворачивай одежды вверх ногами – откажись от туманной юности. Я не могу сказать с точностью, сколько дней еще осталось, но всё "наше" – то, чем ты когда-то так гордился – превратилось в большого и глупого ребенка. Переходи реку, держи одежды в руках – я буду ждать тебя на том берегу реки, это многократное мистическое тело (дело).

Дай хоть какой-нибудь знак от Рылеева – полосу золотую или золотое пятно на шапке. И есть оно, желание писать, прислонясь к собственному тексту – как веревка или слепое пятно на шапке Рылеева.

Только не рифмуй "стол" и "потолок".

И ты почувствуешь облако у реки, тот теплый туман, куда ты хотел бы вбежать, но не впускают, не можешь.



Это с фонариком и Христом?

Эй-эй, фонарики на Харьков!

Он прислал мне поздравление на день рождения – большую картину, как сидят они там под Харьковом в окопах, разграфленную на 64 квадрата – так чтобы я мог вырезать любой квадратик и изничтожить его по своему усмотрению. Или отождествиться с ним.

О, эти правильные слова, эти сундуки-рундуки!

И тогда он попытался включить режим интернациональной безопасности. И тогда он гордо откинул занавес:

- Пограничник Карацупа и его собака Клякса!
- Пограничник Карацупа и его собака Печка!

Всегда есть монаху возможность что-то сделать, что-то выгадать – стоит только взглянуть в таблицу на разницу между "i" и "ī".

Решетка-решеточка. Достаточно посмотреть на левую часть картины, где синяя пустота ночного неба обнимает дома со светящимися окнами. Но достаточно посмотреть на правую, гораздо большую и, вдобавок, все растущую часть картины, и увидеть, что там только война, сундуки, сухомятка.

Этот вытянутый во тьму большой палец, его белеющий ноготь. Это предсказание удастся мне лучше всего, увы! Потому что любая торба уходит во тьму.

Но до этого сколько песочниц было, сколько мусорников, сколько смиття! А теперь ты все должен перечислять имена – от Вильямса до Томаса. (Тебя заставляют занять библиотеку.)

Однако разорившись, как Рембрандт, я гораздо лучше стал понимать происходящее. Всю колонну между партами надо выкинуть на самый дальний путь. Колечко между партами оставить.

Самое главное – чтобы не жгли наши дома. И это приходится говорить не татарам! Это говоришь, когда слышишь плач ребенка! Тяжело писать через всю эту пургу. Но там, где-то за ней, ты же не станешьobeliskом?! Или ты станешь батискафом, огромным как Донбасс? И он опускается на дно, на глубину тысячи метров. Давление разорвет тебя там как клочок бумаги. Или ты просто шагнешь в другое измерение?

Да, Путин сбежал. Путин сдох. Путин провалился в преисподнюю.

И тут же нарисовалась картина с орлами и шишками. С Орловым, Лавровым и Шишкиным, сидящими орлом. Сколько ночей пришлось до этого валяться вповалку – зато на утро встали свободными. В записи это все легко рассказать. Но вот зачем через все это надо было пройти?! Зачем вообще нужно это "надо" – тупик, промокашка, бумажный пакет, пришедшие еще с тех времен, когда мир стоял на черепахе. Дрочишь, дрочишь – "ну ничего, потом отдохнешь!" – говорят тебе. "Давай продукцию!" – говорят тебе. Как ее вызволить, память, из темниц?! Все ведь определяется обществом, определяется регулярностью, определяется овсом.

Он почесал у себя на голове черные кудрявые волосы, а она сказала ему: "Это всё вы!"

И он еще раз почесал свои черные кудрявые волосы, и она сказала ему: "Это всё вы!"

И он почесал свои черные кудрявые волосы, растущие внизу, вокруг центра жизни его, и она сказала ему: "Это всё вы! Вы!"

Пионерская песня – она же чирикающая песня соловья, одетого горошинами света.

Свирепствующие прокси-армии, их уже семнадцать намечаются по всему миру, и в Азии, и в Африке, но они были бы ничто без той центральной армии, которая в носках с колокольчиками.

Уроки, которые никто не хочет слушать, а нам все труднее и труднее оплачивать эти уроки. А уши-то острые! А через анфиладу комнат была видна конфигурация их колпаков. А звездное небо – порошком поутру. В сопровождении своего учителя он обшарил десятки горных вершин, но везде его учитель и он сам, вице-учитель, наткнулись только на избушки и сторожки. Или на шее пластыри.

Ну почему они так совсем уж бездушны?!



Поезд отправляется, отправляется, нитки вагонов перекрываются. Рюкзак, наполовину натянутый над толпою, как сотни или гром, полупрозрачный, толпа оголтелая, потом стрельба, толпа – шавка.

Ярость сходящаяся с незримой прозрачностью – это как Рембрандт сходящийся с Дюшаном или Малевичем. Это Нагасава Росетсу – живопись, свертывающая язык колечком и прищелкивая.

Я, собственно, не умею писать. Поэтому я и не пишу, я только восклицаю и щелкаю.

Это как крестик на шее лошади. Это провал, когда хочешь заместить его каким-нибудь знаком, шуткой-ухмылкой, но знаешь, что заместить его невозможно.

Одних выручает высокомерная уличность, других – пять баллов за рисование. Но я решил прокрутить все кино сразу, и только в самом конце научиться погибнуть. Я ведь не еду, я только трясусь, в образе ребенка на спине у постоного.

И они прямо расхохотались, прямо расхохотались они!



"В этих текстах есть такой зверский ум, – сказала она, – как бык под дождем. Обессиливший и ненужный. Зверский".

У всякого столба "быстро" и "не быстро" равны. Над всяким военкоматом – рассвет. И каждое препятствие будет перелетать с места на место с космическим гвианским криком. Если рыба круглая, то как далеко от нее по воде расходятся круги изморози? Это утро, мгновение, которое решает судьбу, типа д'Артаньяна, примкнувшего к трем мушкетерам, и потом оно уже длится вечно. Типа терновник.

Это душа, которая у себя в уголке расчистила прозрачное, но всё искажающее место – свою независимость. Ты помнишь о ней, о стене постели на расстоянии, ведь каждому хочется помнить о любви. Душа, которая на своем непрозрачном деревянном туловище расчистила прозрачный угол,

именуемый независимостью, и теперь она может хоть на конвейере работать.

Сколько ему дадут, на сколько его посадят за такое? Скажем, на 5 лет в двадцатые годы. А в тридцатые – уже на двадцать лет или расстрел. Расстреляют и так, на фронте в 40-е. В 50-е – предлагаю прообразом мост, или колонну, или плотину какой-то сибирской ГЭС. В 60-е – утиль под музыку "Битлз". Потом – застой, кудряшки, их развеивает ветер.

– А что вы читаете? А ничего, если я подсяду к вам ближе?

– Ничего! Будем оба в крапинках. Веснушчатые. Перекинемся.

В этом наверное величие Берроуза – что он стал писать о всякой космической нечести из фильмов sci-fi. Или Бренера, который стал писать о всякой почесухе.

А ты можешь отождествить себя разве что с ветвями.

Моя работа грустная и незавершенная всегда. Как будто в гостях у деда Мороза. Да, лист-островок как предшественник неставшегося детективного романа. Да, картины Франца Марка, погибшего под Верденом. И мимо метро проезжаем. И тот французский язык. И велосипедики, велосипедики... И все же, поставь еще кого-то по бортам – на тот случай, если помидоры будут лениться. Крепи помидоры вдоль бортов! Потому что потом – это то, что сейчас.

Да, это распад в ничтожество, в забвение и глупость, поражение языка – вот этого, погубившего себя языка. Искаженные отзвуки смысла у далеких холмов. Может, они случайны или вообще только кажутся, мерещатся, разомкнутые. Не книга, но, скорее, партитура падения: будто, падая, пытаешься уцепиться за стены пещеры – лишь бороздки оставляешь и кровавишь пальцы. Невыносимый загиб мира. Маргинала увели из простора длящегося, но в нем же и оставили.

2023

## СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ I. ДНЕСТР (2015 – 2020) .....	5
ЧАСТЬ II. СОЗЕРЦАНИЯ (2020 – 2021) .....	50
ЧАСТЬ III. ОСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПОТОКИ (2021 – 2022) .....	156
ЧАСТЬ IV. ПОЛНОМАСШТАБНОЕ (2022) .....	199
ЧАСТЬ V. РАЗМЫКАЯ (2023) .....	230

Издание автора. Тираж 100 пронумерованных экземпляров \_\_\_\_\_

Берлин, 2023



